

М.А. ДМИТРИЕВ



Московские элегии

*Московский никогда не умолкал Парнас,
Повсюду муз его был слышен лирный глас.*

А. А. Палицын
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ К ПРИВЕТУ»





М.А.ДМИТРИЕВ

Московские элегии

Стихотворения

•
Мелочи
из запаса моей
памяти

Московский рабочий

1985

Р1
Д53

Составление, предисловие и примечания
Вл. Б. Муравьева

Художник
А. Лепятский

Д $\frac{4701020100-123}{M172(03)-85}$ 202—85

Р1

© Состав, предисловие, примечания и оформление издательства
«Московский рабочий», 1985 г.



БЕСПОКОЙНЫЙ АНТИКВАРИЙ

Литературная судьба Михаила Александровича Дмитриева — поэта пушкинской поры — полна тайн, недосказанностей и роковых стечений обстоятельств. Слишком часто он представлялся людям не тем, чем он был на самом деле, и его сопровождала репутация, относящаяся не к нему, а к тому образу Дмитриева, который выдумали сами создатели этой репутации. Самолюбие и гордость удерживали Дмитриева от выяснения недоразумений, на критику (а иной раз и на просто грубую брань), направленную лично против него, он никогда не отвечал. Трезвый взгляд, избранный еще в юности девиз: «Платон мне друг, но истина дороже» и острый язык в соединении с такой типично русской чертой, о которой пословица говорит: «ради красного словца не пожалеет родного отца», также осложняли ему жизнь и повлияли на представление, которое должно было сложиться о нем у потомства, так как потомство судит, основываясь на свидетельствах современников. А даже ложное свидетельство современника обладает совершенно определенным психологическим эффектом — оно вызывает доверие, потому что это свидетельствует современник.

Дмитриев очень высоко ставил литературу, литературный талант. Он был уверен, что потомство вспомнит его за то, что он литератор. «Есть люди,— писал он,— которые могут делать все безнаказанно; это, во-первых, те, для которых нет общественного мнения; во-вторых, те, для которых нет потомства. Но стихотворец, самый плохой, не уйдет от его суда. Если он только печатал, то вспомнится его имя, а имя напомнит, что он был. Даже о Тредьяковском, а в наше время о графе Хвостове, писали и печатали; а кто напишет и что написать о худом губернаторе? Да и не позволят! От того-то стихотворцы, вообще взятые, лучше дру-

гих людей; они у всех на виду, на них есть суд современников, для них есть потомство!»

Размышляя о принципах исследования жизни и творчества писателей (он написал несколько интересных и ценных работ о писателях конца XVIII — начала XIX века), Дмитриев вывел такое правило: «Надобно рассматривать писателей в отношении к их времени: иначе приговор наш будет всегда неверен». Будем следовать этому правилу и в отношении к самому Дмитриеву.

Михаил Александрович Дмитриев родился 23 мая 1796 года в селе Богородском Сызранского уезда Симбирской губернии в родовом поместье. Его отец, гвардейский полковник, был приятелем юности Н. М. Карамзина. Девяти лет мальчик остался сиротой, и заботу о нем взял на себя его дядя Иван Иванович Дмитриев — поэт, ближайший друг Карамзина. Узнав об этом, Карамзин пишет Дмитриеву: «Поцелуй от моего имени любезного племянника; и я любил отца его».

И. И. Дмитриев определил мальчика в Благородный пансион при Московском университете — лучшее в тогдашней России среднее учебное заведение для дворян. Пансион давал глубокие и разносторонние знания, его воспитанниками были многие выдающиеся люди России первой половины XIX века: Жуковский, Грибоедов, Вяземский, В. Ф. Одоевский, Чаадаев, Лермонтов, декабристы, государственные деятели, ученые.

Хотя в пансионе серьезно изучались точные науки, ведущим все же было, как пишет сам Дмитриев, «образование литературное». Литературную, творческую атмосферу пансиона он всегда вспоминал с теплом и благодарностью.

В 1812 году пансионеры были вывезены из Москвы и вернулись летом 1813 года, когда еще свежи были следы пожара. В 1812 году все особенно остро ощутили кровную связь старой столицы со всей Россией, ощутили ее народной столицей. Дмитриев пронес это чувство через всю жизнь. Три десятилетия спустя, вспоминая о 1812 годе, он вновь горячо переживает волновавшие тогда москвичей чувства: «Наши потомки будут завидовать нам, что мы жили / В славный двенадцатый год, что историю видели в лицах!»

После окончания пансиона Дмитриев был принят студентом в университет и одновременно зачислен на службу в Архив иностранной коллегии. Дворянские юноши, служащие архива, или, как их прозвали, «архивные юноши», занимали в культурной жизни Москвы заметное место, они выделялись образованием, талантами и главное — стремлением к новым знаниям. Пушкин упомя-

пул их в «Евгении Онегине»; в набросках незавершенной повести «Мы проводили вечер на даче у княгини Д.» он так писал об «архивном юноше» Вершневе: «...один из тех юношей, которые воспитывались в Московском университете, служат в архиве и толкуют о Гегеле», «один из тех людей, одаренных убийственной памятью, которые всё знают и всё читали и которых стоит только тронуть пальцем, чтоб из них полилась их всемирная ученость».

В 1815 году, выйдя в отставку, в Москву из Петербурга переезжает Иван Иванович Дмитриев. Он поселяет племянника в своем доме. Дом И. И. Дмитриева становится одним из центров московской литературы, а поскольку литература была основной формой культурной жизни дворянского общества, то у И. И. Дмитриева собиралась «вся Москва». «Тогда стихотворство,— пишет М. А. Дмитриев,— было в ходу; оно проникало во все круги светского общества».

Дом И. И. Дмитриева посещали все известнейшие русские писатели того времени: Карамзин, Жуковский, Батюшков, Вяземский, Шаховской, В. Л. Пушкин и многие другие, позже в московском доме у И. И. Дмитриева бывал А. С. Пушкин. Конечно, на этих собраниях М. А. Дмитриев более наблюдал и слушал, нежели говорил. Но зато в своих комнатах он и его сверстники-студенты, сослуживцы по архиву, такие же, как и он, любители литературы, разговаривали и спорили всласть. Это было время громкой, захватившей и литераторов и читателей борьбы сторонников нового стиля — карамзинистов и архаистов, объединившихся вокруг петербургского литературного общества «Беседа любителей русского слова», возглавляемого А. С. Шишковым. Карамзинисты свой кружок называли «Аразамасским Обществом Безвестных людей», в их полемике с архаистами главное место занимала шутка, пародия.

Встречи друзей у М. А. Дмитриева, на которых преобладали литературные интересы, естественно, приобретали хорошо известную и привычную форму литературного общества. «Вздумали и мы, московские студенты, завести подражание Аразамасскому обществу и учредили «Общество громкого смеха»,— сообщает М. А. Дмитриев в воспоминаниях.— Собирались у меня, в доме дяди. Меня выбрали председателем».

Среди членов общества были сильны вольнолюбивые настроения, несколько человек из них позже стали участниками тайного декабристского общества.

В годы существования «Общества громкого смеха» Дмитриев приобретает известность как автор остроумных эпиграмм.

Обмен эпиграммами входил в литературный быт времени, поэтому паряду с чисто литературными проблемами в них содержа-

лись намеки на вполитературные обстоятельства, допускались даже непечатные выражения. Современник рассказывает, как происходил обмен эпиграммами между Грибоедовым и Вяземским, с одной стороны, и Дмитриевым и Писаревым — с другой. «Эпиграммы перепосил из лагеря в лагерь известный Шатилов, зять музыка Алябьева. Он, например, приходил в ложу Кокошкина, где сидели Писарев и Дмитриев, получал эпиграмму и нес в кресла Вяземскому и Грибоедову, потом шел опять в ложу и говорил: «Завтра будет ответ».

В этой полемике эпиграммы Дмитриева и Писарева оказались удачнее и острее эпиграмм их противников. На стихи Грибоедова и Вяземского в водевиле «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», стихи действительно плохие, Дмитриев пишет эпиграмму:

«Вот *брату* и *сестре* законный аттестат:
Их проза тяжела, их остроты не остры;
А вот и авторам: им Аполлон не *брат*,
И Музы им не *сестры*».

Грибоедов упрекнул авторов адресованной ему эпиграммы в молодости:

«Зачем же врете вы, о дсти? Детям — прут!»

Закапчивалась его эпиграмма прямым оскорблением:

«Студенческая кровь, казенные бойцы!
Холопы «Вестника Европы!»»

Дмитриев отвечал, обыгрывая упрек Грибоедова:

«Мы дети, может быть, незлобием сердец,
Когда щадим тебя, репейник Геликона,
А, может быть, мы, наконец,
И дети Аполлона».

Вяземский, как сообщает современник, обозленный, что верх остался за Дмитриевым, «возил показывать эпиграммы М. Дмитриева дяде его Ивану Ивановичу, а свои от него скрывал, и дядя ужасно рассердился на племянника, так что даже перестал принимать его». М. А. Дмитриев не стал оправдываться.

Впрочем, у Дмитриева и особенно у Писарева сочинение эпиграмм часто переходило в повод продемонстрировать свою виртуозность в этом жанре. С. Т. Аксаков рассказывает, что однажды М. А. Дмитриев и Н. М. Шатров в Обществе любителей русской словесности читали свои переложения псалмов. Спросили мнение Писарева об их стихах, он тут же написал эпиграмму:

«Шатров и Дмитриев, Полимнии сыны
Давида вызвали из гроба.
Как переводчики хоть тем они равны,
Что хуже подлинника оба».

Первое литературное произведение М. А. Дмитриева появилось в печати в 1815 году; это был перевод басни Флориана. Затем его оригинальные стихи регулярно печатаются в московских журналах.

Стихи Дмитриева обращают на себя внимание. А. А. Бестужев в статье «Взгляд на старую и новую словесность», открывавшую собой первый выпуск альманаха «Полярная звезда», писал: «Полуразвернувшиеся розы стихотворений *Михайла Дмитриева* обещают в нем образованного поэта, с душою огненною». К 1823 году относится начало знакомства и сближения Дмитриева с кругом «Полярной звезды». В воспоминаниях, относящихся уже к шестидесятым годам, Дмитриев писал: «В 1823 году, от 28 апреля, получил я в Симбирске письмо от издателей этого альманаха — Бестужева и Рылеева... Они отыскиали меня в моем уединении и просили моих стихов для будущей книжки своего альманаха».

В «Полярной звезде на 1824 год» были напечатаны два стихотворения Дмитриева «Лес» и «Песня» («Сын бедной природы»). Во «Взгляде на русскую словесность в течение 1824 года и начале 1825 годов» А. А. Бестужева, напечатанном в «Полярной звезде на 1825 год», имеется краткий отзыв о прологе Дмитриева «Торжество муз», написанном для открытия Московского театра: «В нем хотя форма и очень устарела, есть счастливые стихи и светлые мысли». Подготовленный, но не вышедший альманах на 1826 год «Звездочка» включал в себя также одно стихотворение Дмитриева.

В начале 1824 года К. Ф. Рылеев рекомендует Дмитриева в члены «Вольного общества любителей российской словесности», он считает, что Дмитриев может быть полезен обществу как действительный член, т. е. сочинениями, и как «цензор поэзии», т. е. критик. На заседании 4 февраля 1824 года заслушали две элегии Дмитриева «Спокойствие» и «Монастырь», каждое из этих сочинений было «одобрено» и «избрано единогласно».

Сохранилось очень мало сведений о связях Дмитриева и Рылеева. Но совершенно ясно, что они не ограничивались сугубо деловыми отношениями автора и издателя. Их сближал общий отрицательный взгляд на спор и разногласия литературных школ, который Дмитриев высказывал в статьях и, видимо, еще определеннее в разговорах, а Рылеев еще более определенно сформулировал в статье «Несколько мыслей о поэзии». Знакомство же Дмитриева с произведениями Рылеева, в том числе с неопубликованными и запрещенными, обнаруживается в его собственных

стихах, иногда как совпадение мысли, образа, иногда в виде скрытой цитаты.

В конце 1822 года, накануне вступления в тайное общество, Рылеев написал думу «Державин». В ней он, вопреки распространенному в то время представлению, что поэт в своих произведениях может утверждать одно, а в жизни поступать по-другому, и, как сказал поэт, «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он», провозглашает необходимость единства поэзии и жизни поэта, утверждает, что уже сам поэтический талант обязывает его обладателя быть достойным своего таланта:

«Святой великий сан певца
Он делом оправдать обязан».

Дума «Державин» не принадлежит к числу известных и читаемых, поэтому развитие ее идеи Дмитриевым в стихотворении «Поэт и люди» (1843) говорит о том, что он был внимательным и памятливым читателем Рылеева.

Возможно, это стихотворение посвящено памяти Рылеева.

Настоящую литературную известность в 1820 году Дмитриеву принесли не стихи, а участие в полемике по животрепещущей тогдашней литературной проблеме — сущности романтизма, его проявлении и роли в современной русской литературе.

В конце 1823 года Пушкин, издавая «Бахчисарайский фонтан», просит Вяземского: «Пришли к *Бахчисарая* предисловие или послесловие». Вяземский исполнил просьбу Пушкина, поэма вышла с его статьей «Вместо предисловия к «Бахчисарайскому фонтану». «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова», в которой он говорит не столько о поэме, сколько о романтизме вообще, пытаясь дать его определение. Страстный сторонник романтизма, Вяземский называет романтизмом все лучшее, что было в мировой литературе, даже у Горация он находит черты романтизма. Год спустя Пушкин напишет Вяземскому: «Кстати, я заметил, что все (даже и ты) имеют у нас самое темное понятие о романтизме». С критическими замечаниями на статью Вяземского выступил Дмитриев. Вяземский отвечал ему следующей статьей. Poleмика шла по частным вопросам, она так и не выяснила природы романтизма. Кюхельбекер, перечитывая ее в 1833 году, записал в дневнике: «...обе стороны переливают из пустого в порожнее». Эта полемика важна тем, что она поставила вопрос о романтизме и открыла собой его исследование. Кроме того, для Дмитриева она знаменательна тем, что на его статьи обратил внимание Пушкин. Он отметил и справедливость некоторых положений Дмитриева, и его критический талант,

Полуждаемый Вяземским вмешаться в полемику, Пушкин написал «Письмо к издателю «Сына отечества», в котором ответил на одно-единственное замечание Дмитриева, да и то относящееся не к литературной сути спора. Прочитывая реплику из статьи Дмитриева, в которой тот сожалеет о том, что «разговор между Издателем и Антиромантиком» был напечатан «при прекрасном стихотворении Пушкина», и высказывает предположение, что «сам автор об этом пожалеет», Пушкин опровергает доводы критика, говоря, что он со своей стороны, наоборот, «очень рад, что имеет случай благодарить князя Вяземского за прекрасный его подарок».

В своих статьях Дмитриев, отмечая художественные достоинства произведений Пушкина, упрекает некоторые из них в незначительности содержания. Особенно возмущал его восторг, с которым публика принимала «Черную шаль». Эти отзывы не повлияли на отношение Пушкина к Дмитриеву, возможно, он находил в них долю истины.

Пожалуй, самое убедительное свидетельство отношения Пушкина к критической деятельности Дмитриева — строки его письма к Вяземскому от 7 июня 1824 года. Отвечая на предложение Вяземского о создании собственного журнала, он пишет: «То, что ты говоришь насчет журнала, давно уже бродит у меня в голове... Мы одни должны взяться за дело и соединиться. Но беда! мы все лептяй на лептяе... Еще беда: ты *Sectair* (сектант. — *Вл. М.*), а тут бы нужно много и очень много терпимости; я бы согласился видеть Дмитриева в заглавии нашей кучки». По контексту следует, что Пушкин прочил Дмитриева в издатели, т. е., по понятиям времени, идейным руководителем журнала. Но журнал создать не удалось. Впоследствии, по возвращении Пушкина из ссылки, Дмитриев встречался с ним, участвовал в хлопотах по изданию некоторых его произведений. В стихах и воспоминаниях Дмитриева встречаются мысли, которые содержатся в набросках, неоконченных заметках и письмах Пушкина, близкие порой даже словесно. Видимо, здесь вольно или невольно отразились их беседы.

В том же 1824 году в альманахе «Русская Талия» были напечатаны отрывки из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Полный текст комедии не пропустила цензура, но ее списки уже получили широкое распространение, и она была известна публике целиком. Идеи комедии отражали воззрения декабристов, они были близки всем передовым и мыслящим людям тогдашнего русского общества.

На появление в печати отрывков из «Горя от ума» откликнулся хвалебной рецензией журнал «Московский телеграф». В «Вестнике Европы» ему ответил Дмитриев статьей «Замечания на суж-

дения «Телеграфа». Статья Дмитриева вызвала около десятка ответных статей, в которых опровергались его положения. Возражали ему А. А. Бестужев, О. М. Сомов, В. Ф. Одоевский и некоторые другие близкие к кругу Грибоедова литераторы. Их возмущение вызывало не столько содержание замечаний Дмитриева, сколько сам факт критического выступления против комедии.

Наибольшее возмущение вызывала характеристика Чацкого, данная Дмитриевым. Он называет Чацкого «сумасбродом», утверждает, что он «умничают», «словом: Чацкий, который должен быть умнейшим лицом пьесы, представлен... менее всех рассудительным».

Но в разгар полемики А. А. Бестужев получает письмо от Пушкина, в котором тот дает сходную характеристику Чацкого. Таким образом, получилось, что направленные против Дмитриева возражения адресовались Пушкину. М. В. Нечкина в книге «А. С. Грибоедов и декабристы» пишет: «Мне представляется это место статьи Сомова ответом на пушкинский упрек Чацкому в известном письме Пушкина Бестужеву о «Горе от ума».

Пolemика вскоре прекратилась, ей положили конец надвигающиеся исторические события, приближалось 14 декабря 1825 года.

В литературной судьбе Дмитриева журнальная полемика о романтизме и «Горе от ума» сыграла странную роль.

В первой он приобрел явную и шумную репутацию хулителя Пушкина и романтизма, архаиста, старовера и в то же время тайную симпатию того же Пушкина.

В результате второй он прочно и вплоть до сегодняшних дней считается злобным врагом «Горя от ума», хотя пятнадцать лет спустя В. Г. Белинский в статье «Горе от ума» строит свою концепцию образа Чацкого на мысли Дмитриева и даже упоминает его в этой статье: «Глубоко верно оценил эту комедию кто-то, сказавший, что это горе,— только не от ума, а от умничанья». Этот кто-то — М. А. Дмитриев.

Восстание 14 декабря 1825 года, последовавшая за ним расправа над декабристами и реакция царствования Николая I в судьбах целого поколения положили границу, которая разделила их жизнь на две половины, отличающиеся одна от другой, как день отличается от ночи. Это поколение Пушкина, Грибоедова, Одоевского, Вяземского, к нему же принадлежал и Дмитриев. Им, сложившимся, имеющим определенные убеждения и этические понятия людям, новый режим был откровенно враждебен, и режим также относился к ним враждебно, так как понимал, что вытравить из них всё, что составляло их сущность до 14 декабря 1825 года, он не в силах.

Для поколения «декабристов без декабря» с николаевским цар-

ствованием началась как бы двойная жизнь: тайно сохраняя верность прошлому, жить во враждебном ему настоящем.

В конце жизни Дмитриев писал о царствовании Николая I: «С самого начала царствования Николай Павлович смотрел неблагоприятно на литераторов как на людей мыслящих, следовательно, опасных деспотизму, а вследствие этого почитал опасною и литературу. Бунт 14 декабря 1825 года, произведенный заговорщиками, имевшими в рядах своих лучших и просвещеннейших людей России, так перепутал его понятия о просвещении вообще, что оно не отделялось в его голове от мысли о бунте, а бунтом почитал он всякую мысль, противную деспотизму. И потому малейший повод к толкованиям служил уже к подозрению, а жандармы и другие услужливые люди не упускали случая наводить его на такие подозрения из желания услужить его любимой мысли, угодить его тревожной подозрительности и доказать самодержцу, что они берегут его особу».

В 1826 году Дмитриев поступает служить в Московский надворный суд, где раньше служил И. И. Пущин. Служба в суде была для него исполнением морального и гражданского долга; как пишет он в одном шутилом послании к другу юности, его судьба — «...наш суд продажный / В суд правды божьей превращать». Окончилась его служба, как и следовало ожидать, конфликтом с начальством и увольнением.

В 1830 году Дмитриев издает собрание своих стихотворений, продолжает печататься в журналах. В 1840-е годы он примыкает к славянофилам, но в полемике с западниками отвергает крайности и тех и других. Во всех спорах с западниками и славянофилами Дмитриев отстаивал свою идею самобытности русского исторического пути, уважения к прошлому, необходимости социальных преобразований.

Почти вся жизнь Дмитриева прошла в Москве. С Москвой, «с детства мной любимой», как писал он, связаны и его литературная, и служебная деятельность, и дружеские связи. В одном из стихотворений, написанных во время поездки в симбирское имение, он признается:

«Я еду к заботам, тревогам;
А сердце всё бьется Москвой!»

Москва для Дмитриева — исторический символ России, «зерно, возрастившее древо России», ему же принадлежат слова, афористически точно раскрывающие огромную роль Москвы в истории страны и в то же время создающие образ города:

«Улицы узки у нас; широка у нас летопись улиц!
Кривы они; да Москва и на этих Руси прямилась!»

Это строки из сборника Дмитриева «Московские элегии».

Стихи этого сборника писались в 1845—1847 годах. Они создавались в преддверии большого праздника Москвы — семисотлетия первого упоминания ее в летописи, такое празднество предпринималось впервые. Сама его идея была эхом Отечественной войны 1812 года, которая показала, что именно Москва является национальной и народной столицей России. Мысль о праздновании семисотлетия Москвы родилась в кружке М. П. Погодина как результат оживления интереса к изучению истории Москвы (кстати, к этому времени относятся и первые работы по истории Москвы тогда молодого канцелярского служителя И. Е. Забелина), так и реакция на крайние высказывания западников, выражавших презрение к Москве и к ее исторической роли, вроде такого утверждения, что «домик на Петербургской стороне, дворец в Летнем саду, дворец в Петергофе стоят не одного, а многих Кремлей».

«Московские элегии» сам Дмитриев характеризует как «собрание небольших картинок Москвы и замечаний о ней, составляющих нечто разнообразное и целое». Это, действительно, ряд зарисовок Москвы и начала XIX века, и середины, мысли о прошлом и настоящем, сатира на смешные крайности западников и славянофилов, и повторяющийся много раз призыв к уважению отечественной истории, обычаев.

В 1854 году Дмитриев издает книгу воспоминаний о писателях конца XVIII — начала XIX века «Мелочи из запаса моей памяти». До этого он выступил с воспоминаниями на страницах журналов, напечатал книгу о писателе XVIII века И. М. Долгорукове, которая также в значительной степени основана на личных воспоминаниях. Но воспоминания о прошлом не закрывали от Дмитриева настоящего.

По его воспоминаниям у некоторых критиков сложилось впечатление о Дмитриеве как о чуть ли не враге всего нового. Он много писал о прошлом, и вполне естественно, что, говоря о прошлом, надо говорить о нем, а не о настоящем. Кроме того, восхваление Дмитриевым прошлого имело под собой вполне определенную подоплеку, не замеченную критиками, а объяснить им их близорукость Дмитриев не мог: он противопоставлял николаевскому самодержавию декабристскую эпоху, и в этом ключ к пониманию его обращения в прошлое.

Отдельные высказывания Дмитриева прямо говорят о его отношении к современности. «Идти за людьми своего времени — великое искусство, которое не всякому дается и которому не все поддаются», — заметил он однажды. О науке 1850-х годов он пишет: «Мы сделали великие успехи», о литературе: «Напрасно «Современник», журнал, прекрасный по составу своему и достойный

уважения, упрекает меня в том, что будто я обнаруживаю нелюбовь мою к новой нашей литературе. Нет! Всякий просвещенный человек знает, что литература изменяется вместе с ходом времени; что она не только не может стоять на одном месте, но и не должна. Я, с моей стороны, не только признаю в нынешней литературе все, что встречу хорошего; но, может быть, никто, моих лет, не восхищается с таким жаром всем хорошим. Немногие, может быть, читали с таким увлечением и радовались так, как я, читая *Записки Охотника* и романы *Обыкновенная история* и *Львы в провинции*. Знаю, что ни в Карамзинское время, ни в первые десятилетия нынешнего столетия не было и не могло быть таких произведений; но знаю и то, что в то время не было тех уклонений от изящного вкуса и от истины суждений, какие встречаются ныне».

В одном он не менялся: в отрицательном отношении к самодержавию и его деятельности. На реформы 1860-х годов, недостаточность, половинчатость которых отмечали революционные демократы, а правительство оправдывалось, что это, мол, только трудные моменты переходного периода, он откликнулся ироничным стихотворением «Нынче время переходное».

В последние годы жизни он вспоминает о тех, о ком не мог рассказать на страницах изданных воспоминаний: о декабристах, Чаадаеве, М. Ф. Орлове — и беспощадно клеймит николаевское самодержавие: «После 30-летнего царствования государя, которого при жизни называли в глаза великим и мудрым, не остается ни одного государственного человека, ни одного генерала... После Николая остались финансы, которые держатся поборами со всякой мелочи, с табаку, с сигар, с путешествующих в чужих краях, осталось расстроенное земледелие, народонаселение, уничтожаемое ежегодными рекрутскими наборами, бедность дворянства от низкой цены на хлеб, упавшего от новой системы винной продажи; ничтожность талантов от угнетения ума цензурою и страхом правительства, разрушение всех связей от боязни доносов и шпионства; словом, убит дух, убиты доходы, убиты таланты».

В 1865 году Дмитриев издал в двух томах свои новые стихотворения.

Умер он 5 сентября 1866 года в Москве и похоронен на старинном кладбище Данилова монастыря.

Творческий путь Дмитриева-поэта охватывает более полувека: с 1810-х годов до 1860-х. Его поэзия в своем хронологическом развитии отразила в себе всю эволюционную последовательность русской поэзии с конца XVIII до середины XIX века: в юношеских

стихотворениях — сентиментализм, в 1820-е годы — романтизм, в конце тридцатых — начале сороковых годов намечается заметное тяготение к реализму, в котором с годами усиливается критический элемент, еще дальше — в конце пятидесятых годов — такой чуткий к поэзии критик, как Аполлон Григорьев, находит в стихах Дмитриева черты сходства с обличительной поэзией «Искры» (правда, относясь и к тому и к другому отрицательно).

Выход первого стихотворного сборника Дмитриева в 1830 году подвел итог большому и значительному периоду в его творчестве. Тогда же Н. А. Полевой откликнулся на этот сборник Дмитриева рецензией, в которой отметил, что «форма, лад стихов у него старые — *Карамзинские*, если угодно», но при всем своем неприязненным отношением к автору вынужден был все же признать, что его поэзия не застыла в старых формах, что в книге отразилось и ее развитие: «Где же переход к новому, к полу-романтизму? Вот где: оды М. А. Дмитриева являются в разнообразных куплетах, в смеси с элегическим».

А. И. Кошелеву — писателю, публицисту, одному из «архивных юношей» и деятельному члену кружка «любомудров» — представлялось, что Дмитриев «был самый обильный и известный в свое время классик, последний и самый твердый устоявший упадавшего классицизма». Д. И. Хвостов — сам поэт классицизма — не признавал Дмитриева литератором своего лагеря, он его считал с самого начала *романтиком*. Для А. И. Герцена Дмитриев не классик, не карамзинист, а только романтик: «романтик à la Casimire Delavigne» (в стиле Казимира Делавиня — французского поэта-романтика первой половины XIX века, воспевавшего национально-освободительную борьбу греков, писавшего трагедии, в которых выражал антидеспотические идеи).

Каждое из этих мнений содержит в себе долю истины, и ни одно из них не может быть принято целиком, ни к какому из этих литературных направлений Дмитриева нельзя причислить без оговорок. Друг и, пожалуй, самый близкий в литературе Дмитриеву человек, Ф. Н. Глинка, размышляя о своей принадлежности к тому или иному литературному направлению, писал: «Я не классик и не романтик, а что-то сам не знаю, как назвать». В таком же положении находился и Дмитриев.

Стихи Дмитриева 1810-х годов действительно вызывают в памяти общее настроение и стиль сентиментализма поры его расцвета — конца XVIII — первых лет XIX века. Но их нельзя назвать стилизацией или подражаниями, в основе которых всегда лежат лишь литературные образцы, за стихами Дмитриева ощущается жизнь, конкретные события его биографии, его собственные раз-

мышления, и в них, несмотря на их стилистическую архаичность, содержится свежесть первооткрытия.

В начале 1820-х годов стихи Дмитриева приобретают романтические черты. Представленная в «Вольное общество любителей российской словесности» элегия «Спокойствие» — типичный образец романтической элегии.

Наряду с романтическими элегиями в творчестве Дмитриева 1820-х годов довольно большое место занимают шуточные стихи в стиле салонных произведений эпохи сентиментализма с их изысканной игрой слов и каламбурами. Но в отличие от обычных сочинений подобного рода, ограничивающихся незамысловатым поверхностным сравнением, стихи Дмитриева стремятся к более глубоким выводам и обобщениям. В шуточном стихотворении «Игра в вопросы» наряду с темой галантной любви, насмешкой над глупостью возникает социальная тема: «недостойный вельможа», которому

«...вопросов много б сделать можно,
Да совестно сказать ответ»,

появляется мысль уж совсем не для шутки:

«Вся наша жизнь — вопрос мудреный;
Узнать ли нам когда ответ?»

В критических выступлениях Дмитриева начала 1820-х годов постоянно проводится мысль о том, что главное в литературном произведении — содержание, идея. Об этом он писал и много лет спустя, в 1840-е годы:

«Но не верь, что мысль в поэте
С вдохновеньем не сродна!
Мысль без звука — тонет в Лете;
Звук без мысли — то волна!..

Краски, мысли, чувства, звуки:
Вот поэт!»

(«К. К. Павловой»)

В стихах самого Дмитриева мысль становится главенствующим их элементом. С конца 1820-х годов тематика его поэзии расширяется и углубляется.

Если в начале двадцатых годов, задумываясь о вопросах социального и экономического неравенства в современном обществе, он разражается в стихах того времени негодованием против неких «неправедных судей» и «недостойных вельмож», то в тридцатых — сороковых он приходит к пониманию, что зло заключается в самой государственной и экономической системе. Не он один отразил

возникновение и развитие в России капиталистических отношений, но он по-своему показал, изобразил, разоблачил и заклеил их уродства: отношения, основанные лишь на выгоде, безжалостную эксплуатацию, разрушение старой морали, безправственность дельца.

Резкими, сатирическими чертами рисует он нового, капиталистического «героя»:

«Без нужды он не сделает ни шага!
Без выгоды — руки он не подаст!
Витийствует, сулит народам блага;
А ближнего — и купит и продаст!»

Сатирически Дмитриев изображает и тех, кто находится на нижних ступенях социальной лестницы, но стремится вверх и с почтением и обожанием относится к хозяевам:

«Он тем кадит, кого он трусит,
Кто платит золотом за честь;
Чья милость в том, что не укусит,
Когда бы мог и вовсе съесть!»

Сатирические произведения Дмитриева привлекали большее внимание современников, чем его лирика. Гоголь в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» отметил «талантливые пародии Михайла Дмитриева, где желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием». Сатирическое направление в творчестве Дмитриева также с годами претерпевало изменения, углублялось: эпиграммист двадцатых годов развился в гневного сатирика. Изменился и стиль его сатиры, прежде он строил юмористический эффект преимущественно на игре слов, в сороковые и особенно пятидесятые годы он строит его на столкновении понятий, выявляя гнусное несоответствие явлений действительности и слов, их покрывающих, как, например, в ядовито ироническом четверостишии, начинающем стихотворение «Кнут»:

«Скажи мне, двигатель народный,
Символ народной простоты,
Какой рукою благородной
И занесен откуда ты?»

Несколько его стихотворений, в том числе и «Кнут», печатаются в нелегальных изданиях Герцена.

Уже в 1828 году Дмитриев распрощался с романтизмом в сатире «Люциферов праздник», которую снабдил знаменательным подзаголовком «Романтическая карикатура». В сатире, являющей-

ся вольной фантазией на темы трагедии Гете «Фауст», изображаясь шабаш на Брокене, на котором присутствуют Фауст, Мефистофель, ведьмы, литературные критики, поэты, литературные персонажи, разная нечистая сила — как иностранная, так и российская — лешие, домовые, баба-яга. Дмитриев издевается над критиками, которые сами признаются, что не понимают романтизма; над образом «романтической красавицы» — «подруги жизни педо-зрелой», над «классической красавицей» — героиней трагедий, которая не бросилась в бездну, потому что

«...много бездн я находила,
Да все не очень глубоки!»

В конце сатиры устами Люцифера автор закрывает излюбленную тему романтиков — Фауста, давая ему освобождение от земных мук и приказывая, чтобы

«...ни один поэт отныне
Его тревожить не дерзал»,

таким образом как бы считая романтизм направлением, себя исчерпавшим.

В творчестве Дмитриева с годами все сильнее проявляются черты реализма. С какой суровой, прямо некрасовской простотой описывает он весну в деревне:

«Весну, весну поют старинные поэты!
Но не картина здесь, не радость она!
Растает лед в пруде, и грязная волна
Помчит навоз, прорвет у мельницы плотину,
Сломает старый мост — и кончила картину!
А там — настанет труд, труд тяжкий, потовой:
Пойдет соха; пройдет клячонка с бороной,
И выгонит пастух в лохмотьях стадо в поле...»

Большой, состоящий из пятидесяти стихотворений цикл «Московские элегии», написанный в основном в конце 1840-х годов, по работе над которым Дмитриев продолжал до конца 1850-х, стал тем произведением, в котором смогли проявиться все грани дарования поэта: и лирическая, и эпически-описательная, и публици- тическая, и сатирическая.

«Московские элегии», как подчеркивал сам автор, представля- ют собой единое целое, он чувствует, что его сборник являет собой что-то новое в жанровом отношении, не похожее на существующее в современной поэзии и формально, пожалуй, противоречивое: с одной стороны, ряд отдельных, законченных произведений, а с другой, несмотря на свою самостоятельность и законченность, неотторжимых друг от друга. Он не знал, как назвать этот новый

жанр, потому что сборник «Московские элегии» действительно стоял у истоков нового жанра: поэмы в стихотворениях, который только в начале XX века в книге А. А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме» сложился в законченную, классическую форму.

Говоря о тематике произведений поэта, всегда рискуешь упустить что-то важное, ведь, по сути дела, каждое стихотворение — своя тема, а часто и свой мир, поэтому приходится ограничиваться лишь упоминанием общих направлений творчества. В 1838 году Н. В. Станкевич пишет Т. Н. Грановскому: «Пожалуй, Баратынский и Мих. Дмитриев, Шевырев и т. п. очень много рассуждают в своих стихах». Примечателен круг имен, в котором упомянут Дмитриев, и примечателен упрек. Оставим в стороне вопрос о пределах и норме количества разума и чувства в поэтическом произведении, хотя этот вопрос для русской поэзии важен принципиально, и дискуссии по нему время от времени возникают до сих пор, как шли в XIX и начале XX века, отметим, что современники отнесли Дмитриева к «поэтам мысли».

Многие познавательные, этические, эстетические, одним словом — философские в широком понимании проблемы занимали Дмитриева в разное время. Напомним, что в юности он был близок к кружку «любомудров». Главное, что дало Дмитриеву знакомство с философией, — это ощущение себя, человека, частью Вселенной. Сейчас мы это называем космическим сознанием. В его время этого термина не существовало.

«Прислушайся к звукам природы», — призывает он в стихотворении «Голоса природы», и природа предстает у него не средой, предназначенной лишь для использования ее человеком, а самостоятельным феноменом, и он восклицает, счастливый своим произрением:

«Итак, ты жива, о природа!
Не мертвая машина ты!
А я и не слышал твой голос
Среди городской суеты!»

В стихотворении «Две феи» Дмитриева есть удивительные строки, удивительные в то гео- и антропоцентрическое время о подчинении Земли и Человечества общим законам Вселенной:

«...те ж законы
Вам отражаются и в ней,
По коим над главой твоей
Миров вратятся миллионы!
Они не пали, и тебя
Закон поддержит бытия!
Что сам ты в сем кольце вселенной,
Какое ты в цепи звено...

Твой круг Природой очерчен,—
Ты действуй в нем, обширен он!»

Из современников Дмитриева «космическое сознание» мы находим только у одного Тютчева.

В своем творчестве Дмитриев как бы связывает XVIII век — карамзинскую эпоху с последней третью XIX века — эпохой шестидесятников. Можно говорить о влиянии его воззрений на судьбу романтизма в России. Его поэтические произведения пользовались успехом у читателей, об этом свидетельствует включение их в популярные альманахи наряду с произведениями известнейших поэтов того времени, они встречаются в рукописных альманахах любителей поэзии. Не обходили вниманием поэзию Дмитриева и литераторы, даже отрицательные отзывы говорят о том, что она занимала определенное место в литературной жизни. Значение поэзии Дмитриева, наверное, гораздо глубже, чем мы представляем себе — ведь изучение его творчества фактически только начинается, и поэтому сделано еще очень мало наблюдений.

Можно говорить о знакомстве Лермонтова с сочинениями Дмитриева (об их личной встрече на именинах Гоголя известно из воспоминаний С. Т. Аксакова). В юношеской драме Лермонтова «Странный человек», написанной под влиянием «Горя от ума», в реплике одного из персонажей — Арбенина — он почти точно цитирует Дмитриева: «Со мною случится скоро горе, не от ума, но от глупости». В «Демоне», начатом в 1829 году, в ритме, фактуре стиха есть сходство с опубликованным в 1828 году стихотворением Дмитриева «Две феи» и — главное — в теме невозможности забвения: «Я мог привести в успокоенье / И душу, бывшую в сомненье, / И сердце, полное тревог, / Но что узнал, забыть не мог!»

Некоторые пейзажные стихотворения Дмитриева как бы предваряют настроения, ритмы и образы пейзажной лирики А. К. Толстого. Видимо, А. К. Толстой знал сатирическую поэзию Дмитриева: в «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» он развивает мысль и идею его стихотворения «Когда наш Новгород великий», иногда вводя в свой текст его отдельные выражения. С достаточной долей уверенности можно предполагать, что А. К. Толстой был знаком с Дмитриевым лично.

В сороковых годах начинают появляться в печати воспоминания Дмитриева о литераторах XVIII — начала XIX века, которых он встречал в доме дяди. Внимательное изучение их творчества позволяет ему сделать вывод, казавшийся тогда нелепым, но сейчас являющийся общепризнанным: «Наша литература последней половины прошлого века была не так слаба и бесплодна, как некоторые об ней думают. Она ограничивалась не одними цветочками, но приносила плоды, которыми в свое время пользовались и

наслаждались». В середине пятидесятих годов в послании к С. Т. Аксакову он называет себя «антикварий литературных наших дел», вспоминая времена Державина, Карамзина, Жуковского, когда

«...и Пушкин, цвет прелестный,
Зацвел, и с первых дней известный,
Ревнуя опытным орлам,
Уж порывался к облакам!..»

Книга «Мелочи из запаса моей памяти», изданная в 1854 году, вызвала и большой интерес, и благожелательные рецензии.

В «Современнике» была напечатана статья Н. Г. Чернышевского, в которой он писал: «Записки г. М. Дмитриева, в которых сохранено так много интересных и даже довольно много важных воспоминаний, обращали на себя вполне заслуженное внимание журналов, когда помещались отрывками в «Москвитянине». Все отдали должную справедливость их занимательности, живости; все хвалили и благодарили почтенного автора за то, что он поделился с публикою своими воспоминаниями о Карамзине, И. И. Дмитриеве, других писателях карамзинской эпохи, которых коротко знал, и прежних литераторах, рассказы о которых слышал от своего дяди». Далее критик говорит о большой ценности для истории русской литературы сведений, сообщаемых Дмитриевым, в том числе и о второстепенных фигурах, на первый взгляд анекдотических, как, например, Хвостов, но, пишет Чернышевский, «без Хвостова не существует ничто в старинной литературе».

Наиболее обстоятельный разбор книги дал академик литературовед Н. С. Тихонравов, специалист по эпохе, в ней изображенной. Он писал: «Мелочи из запаса моей памяти» будут в настоящее время настольною книгою у всех занимающихся историею русской словесности». Это замечание Тихонравова остается верным и в настоящее время.

Но, кроме того, что «Мелочи из запаса моей памяти» — ценный и достоверный исторический источник, они представляют собой замечательное произведение художественной прозы. Несмотря на то, что книга составлена из отрывков, Чернышевский увидел в пей «вполне законченную книжку».

Книга Дмитриева имеет свой план, строгое построение. Она разделена на главы: глава о писателях, которых сам Дмитриев не знал, но слышал о них от дяди, глава о читателях той поры, глава о Карамзине, глава об И. И. Дмитриеве, глава о Ростопчине и так далее, между главами вкраплены размышления автора по различным поводам, более или менее связанным с повествованием. Эти главы и отступления-размышления создают внутренний

ритм книги и объединяют фрагменты в единое целое. Внутренне завершены и каждая глава, и каждый фрагмент, входящий в книгу. Собственно говоря, это даже не фрагменты, а маленькие рассказы, краткие, но необычайно точные по отбору материала. Несколькими штрихами, одним эпизодом Дмитриев изображает тип, характер.

Находя характерное, типичное в конкретном историческом лице, Дмитриев изображает эпоху. Его «Мелочи» при всей их конкретности обладают качеством художественного обобщения. Хотя в предисловии Дмитриев обещает рассказать «кое-что о нашей литературе или об наших литераторах», его повествование гораздо шире: он рассказывает о месте литературы в жизни общества, ее взаимоотношениях и связях с самыми различными его слоями и учреждениями. Рассказ о литераторах, как в романе, развертывается на фоне эпохи.

В русской литературе у Дмитриева были предшественники в том жанре, в котором написаны «Мелочи» — прежде всего, тут нужно назвать Пушкина и его «Анекдоты», напечатанные им в «Современнике». В том же ряду стоит и замечательная «Старая записная книжка» П. А. Вяземского. Однако ни Пушкину, ни Вяземскому не удалось завершить свою работу, Дмитриев же завершил, и поэтому создание целостного художественного произведения из мемуарных фрагментов, изобретение нового жанра — делом его заслуга и его большое художественное достижение. В этом отношении можно провести некоторую параллель между «Мелочами» и «Московскими элегиями».

В раннем стихотворении «К стихам моим» Дмитриев сказал: «Безвестность — тяжела; тяжелее — забвенье». Формально говоря, он не знал ни безвестности, ни забвения, его имя постоянно и широко упоминалось и упоминается в работах, связанных с литературой первой половины XIX века, в связи с Пушкиным, Грибоедовым, Аксаковым и многими другими именами русской литературы и культуры вообще. Но в то же время представление историков литературы о самом Дмитриеве в течение многих десятилетий оставалось поверхностным и искаженным, так как практически никто не обращался к его собственным сочинениям, не переиздававшимся более ста лет. (Исключение составляет небольшая подборка стихотворений в книге Большой серии Библиотеки поэта «Поэты 1820—1830-х годов». Л., 1972.) Наверное, такую память скорее можно назвать забвением. Сейчас, когда наблюдается обостренный интерес к документу, наступило время для объективной оценки жизни и творчества Дмитриева. В статье, опубликованной в сборнике «Литературное наследие декабристов» (Л.: Наука, 1975), исследователь, ознакомившийся с мемуарами Дмитриева, делает вы-

вод: «Обращение к этим мемуарам заставляет пересмотреть пространенное представление о Михаиле Дмитриеве как панегиристе самодержавия и ретроградном литераторе».

Обращение же к его поэтическим произведениям даст возможность нам, читателям, открыть для себя еще одного интересного и талантливого поэта.

Вл. Муравьев







МИР ФАНТАЗИИ

Друг и неги и мечтаний,
Верный Музе с юных лет,
Я в страну очарований
Направляю свой полет!
Там светлее день весенний
И с безоблачных небес
Сладострастней ночи тени
Покрывают дол и лес!

Там источника журчанье
Слаще с эхом говорит;
Легче Циттии сиянье
Мирт прибрежный серебрит;
Воздух в грудь вливает сладость,
Как амврозия богов,
И Зефиры веют радость
С расцветающих холмов.

Все, что сердцу счастьем льстило
С лежковерных юных дней,
Там свой образ сохранило
В прежней свежести своей!
Все надежды обещастья,
Сердца первая любовь
И погибшие мечтанья —
Воскресают тамо вновь.

Нет ни вадиха там, ни стона,
Ни забот, ни страха нет!
Для желаний — нет закона:
Исполнение — им во след!
Все восторг! все наслаждение!
Не заметен бег часов...
Прошлых горестей — забвенье
И на будущем — покров!

О Фантазия-богиня!
Ты царица сей страны!
С небосклона темно-синя
Лишь заблещет лик луны:
Ты повсюду рассылаешь
Легкокрылый сильфов рой
И любимцев похищаешь
Тайно в светлый терем свой.

Но пикто, веков с начала,
Не открыл туда путей:
Лишь певцов ты допускала
Искони к стране своей!
Чаще всех сей мир забвенья
Посещал Анакреон —
И все дней его течение
Было... легкий, сладкий сон.

1818

НАТАЛЬЕ

В день именин твоих молился я душою,
Чтоб ты столь счастлива была,
Сколь ты прелестна, сколь мила
И сколь любима мною:
Кто в счастье тогда сравнился бы с тобою?..

1818

СОВЕТ

Четыре молодца — купец да дворянин,
Пастух да царский сын —
В час грозный кораблекрушения
Успели на доске спастись от потопленья!
В волнах погибло всё. Но кто не любит жить?..

Спокоясь, обсушась и побранивши море,
 Раздумались они, что делать в общем горе.
 Составили Совет. Принц начал говорить
 О бедствиях людей, рожденных для короны,
 О бедствиях *своих*. Пастух на эту речь
 Сказал, что жалобой несчастья не пресечь,
 А лучше от судьбы искать им обороны
 Работой и трудом.
 «Работой, господа,— он говорил потом,—
 Не только здесь себе мы верный хлеб найдем,
 Но и до родины дойдем!»
 На умные слова нельзя не согласиться,
 И решено — трудиться!
 Купец науку числ и счет торговый знал.
 «Я стану,— он сказал,—
 Хоть арифметикой кормиться!»
 — «Я школу заведу,— сын царский перервал,—
 Где будут у меня политике учиться!»
 — «А я геральдикой уж верно хлеб найду! —
 Промолвил дворянин с улыбкой уверенья.—
 Кому не нужно знать свое происхождение?»
 — «Друзья! — сказал пастух, дождавшись череду.
 Все ваши способы помочь беде и горю
 Прекрасны, я не спорю,
 Но слишком далеки!
 Проголодаться вам с ученостью своею!
 Прощайте ж, оставайтесь с нею;
 А у меня... есть две руки!»
 Окончив речь свою, пастух мой в лес пустился;
 Там нарубил он дров, связал да продал их;
 Потом к товарищам с припасом возвратился
 И накормил их всех троих.

 Чем в нужде толковать, не лучше ли скорее
 Надежду полагать на деятельность сил?..
 Так добрый Лафонтен нам сказку заключил.
 И я согласен с ним: *что ближе, то вернее!*

1818

ПЛЮЩ И ФИАЛКА

«Ты жалко, бедное растение! —
Сказал Фиалке Плющ, надменный высотой. —
Удел твой — жить в тени; что ждет тебя? —
Забвенье!

Ты с самой низкой равняешься травой.
Какая разница со мной!
Смотри, как я вокруг дуба व्यюся;
Смотри, как вместе с ним я к облакам взношуся!»
— «Пожалуй, не жалею! — Фиалочка в ответ. —
Высок ты, спору нет;
Но я сама собой держуся».

1820

БЕГЛЕЦ ОТ ЛЮБВИ

(Из Коцебу)

Чрез горы, чрез доли певец молодой
Бежал от любви легкокрылой:
Он думал, оставил ее за собой;
Но сердце любовь притаило!
И с радостью хитрой плутовка тайком
Чрез горы, чрез доли неслася с певцом.

Он надвое цитру с слезами разбил;
Он думал, что в ней сокрывалась,
Что с нею любви он гнездо разорил:
Любовь же в руке вся осталась!
Лишь в новые струны ударил он раз,
В них слуху и сердцу любовь отдалась!

Пришел он, усталый, домой наконец
И в двери легонько стучится.
Ему отвечают: войди, мой певец!
«Кому б, он сказал, там случиться?»
Он смотрит сквозь щелку: «Кто кличет меня?»
И видит... любовь уж сидит у огня!

1820

К СТИХАМ МОИМ

Зачем хотите вы явиться в шумный свет,
Вы, дети скромные мечтаний и досуга,
Свободные плоды моих свободных лет,
Тех лет беспечности, когда с земного круга
Я мог, забыв себя и позабыв людей,
Летать в волшебный мир Фантазии моей! —
Рассудок следует за резвыми мечтами,
И я... уже не столь пристрастными очами
Взираю на людей, на славу и... на вас!
Тогда — приветливый на счет ваш друга глас,
Иль похвалу певцов, дань просто снисхожденья,
Я истиной считал, достойной уваженья,
Ждал славы и венок завременно сплетал.
Венок не доплетен; а он... уже завял!
Осталось позднее лишь в сердце сожаленье:
Зачем сии часы, средь слабых нежась Муз,
Не мог я посвятить на зрелое ученье?
Тогда сии цветы, в которых юный вкус
Пленился красками, иль свежестью одною,
Сменили бы плоды, воспитанные мною,
Плоды, по коим нас потомство оценит!
Но вы? — Ваш слабый звук к нему не долетит:
Вы ждать не можете ни славы, ни презренья!
Суд современников? Он лестен нам; но ах!
Краснеясь, вам скажу па это в двух словах:
Безвестность — тяжела; тяжелее — забвенье!
Пусть критик не найдет больших пороков в вас;
Слог гладок; вкус нигде не оскорблен уродством;
Нет ложных, низких чувств, раздора с благородством;
Рассудок с рифмою согласен каждый раз:
Все мало! — Быстрый ум, жар творческого чувства,
Богатство в вымыслах, обилие идей:
Вот требую чего я в гордости моей!
Вот Гения печать! Вот торжество искусства!

Напрасно иногда, доволен сам собой,
Я взором, как отец, пристрастно вас ласкаю,
С улыбкой нежною листы перебираю
И льщусь, как в сладком сне, бессмертия мечтой!
Какой-то злобный дух или мой добрый Гений,
Средь самолюбия *безвредных* наслаждений,
Любимцев славы мне напомнит — и тотчас,
С досадой на себя, я оставляю вас!

Частавники мои! как, вами восхищенный,
Я мог струнам моим касаться, дерзновенный?
Как мог, узнавши вас, еще не умолчать,
И сильно чувствуя, столь слабо выражать?..
Нет, нет, мои Стихи! оставайтесь в скрытной доле:
Я горд, самолюбив, и вам не быть на воле!

Хотя бы, например, в замену красотам,
Вы, честолюбия избрав другую мету,
Блистали резкостью обидных эпиграмм:
Будь личность, но остра, она хвала Поэту!
Тогда бы ваш успех стократ вернее был:
Насмешники бы вас почтили громким смехом;
Враг оскорбленного вас всюду б распустил;
Пристрастный друг меня с Вольтером бы сравнил,
И слава бы моя была бесславных эхом!
Сам журналист от вас невольно б трепетал
И нехотя в свои листочки помещал!
Как весело! — Но нет, Стихи! остерегитесь.
Я заблуждаюсь сам. — Вы тем-то и гордитесь,
Что участь вам не столь блестящая дана,
Что в вас, как в зеркале, душа певца видна!
Что в верное стекло смотреть он не боится:
Краснеет слабостей, признанья не стыдится!
Ни сладострастия, ни тонкой клеветы,
Ни лстивой похвалы счастливым гордым мира
Не пела никогда моя простая лира:
Ей нравились одни лишь думы и мечты! —
Что сердце трогало, что дух мой возвышало,
То прямо, без труда, мгновенье выражало;
Нередко, вместе с ним, след чувства исчезал:
Я заблуждаться — мог, притворствоваться — не знал!
Но с отроческих лет — мне сердце в том свидетель —
Любил я истину, любил я добродетель!
И если б мощный дар мне послан был в удел,
О пей бы я одной на лире возгремел
И к ней сынов земли, с пределов дальних мира,
Как братьев созвала б властительная лира!

Кто ж знает! Может быть, чудесною судьбой
Мне суждено пройти путь жизни не безмолвно;
Быть может, средь толпы в суждениях хладнокровной,
Внимание привлечет и слабый голос мой,

Как отдаленный звук, не столько слуху вятный,
Сколь сердцу нежному знакомый и понятный!
Быть может, что друзья, чрез много, много лет,
Раскрыв сии листы, подумают о друге:
«Каков в стихах своих, таков был в нашем круге!»
Итак, мои Стихи, ступайте в шумный свет!

1821

ПРЕДЧУВСТВИЯ ЛЮБВИ

Et, rêvant mon sort mystérieux...
Dès mes plus jeunes ans, je te vis dans mes cieux.
*Hugo **

Напрасно я мечтал о почестях и славе
И хладный труд ума предпочитал забаве;
Напрасно в тишине, предавшись легким снам,
Неверно пробегал рукою по струнам,
Или, бежав от вас, мои поля родные,
Пылал желанием узнать страны чужие, —
Всё тщетно! Ты, любовь, звала меня к себе!
И с тайной радостью покорствуя судьбе,
Отринув навсегда тщеславия порывы,
На розы я сменял и лавры и оливы!
Я знал: жизнь наша сон! Да будет же она
Фантазий, тишины, забвения полна.
Душа, спокойное вкусив отдохновенье,
Приятней, думал я, найдет и пробужденье!
Я верил счастью! И кто вотще внимал
Тому, что тайный глас природы предрекал?
От самых нежных лет и тихий свет востока,
И воды звонкие дубравного потока,
И шепот в вышине трепещущих ветвей,
И бледный свет луны из облачных зыбей —
Во мне задумчивость роскошную питали
И негу и любовь в грудь отрока вливали!..
О юности друзья! Я слышал ваш укор,
Когда рассеянный, задумчивый мой взор
Недвижим был среди забав и ликованья!

* И, размышляя о моей таинственной судьбе... с самых юных моих лет, я видел тебя в своих небесах. *Гюго. (франц.)*

Не знаю сам, куда влекли меня мечтанья,
Но звона ваших чаш вокруг не слышал я,
Но песнь веселости была не для меня!
Повсюду предо мной был идеал прелестный,
Знакомый лишь душе и сердцу лишь известный.
Об нем я в тишине безмолвно тосковал,
Когда луч утренний долины озлащал,
О нем в час вечера, о нем в ночи глубокой
Нередко, сна лишен, мечтал я одинокой!
В нем юный музы друг любил воображать
Улыбку кротости — небесного печать,
Спокойствие лица — души изображенье,
Любви чувствительность и дружбы снисхождение,
Беспечность детскую с веселостью живой,
Взор целомудрия, столь ясный и простой,
Блаженства ангелов душе моей свидетель,
Пред коим и порок признал бы добродетель!
Сбылось! И счастлив тот, кто сердца в простоте
Вверял желания всевидящей мечте,
Спокоен, как дитя, на лоне у свободы!
Всё изменяет нам, но не дары природы!
Видал ли кто весну без Флориных даров,
Без тени летний зной и осень без плодов?
Так сердцу чистому вселенная с начала
Любовь весною лет еще не изменяла!
И кто виновен в том, когда ряд лучших дней
Провел над златом ты или в алчбе честей,
От коих горький плод раскаянье готовит?..
Цвет счастья... дар тому, кто счастья не ловит.

1822

РАВНОДУШИЕ

Кто властен удержать молодой души движенья,
Когда любовь к земле и к жизни в ней горит?
И кто потухший огонь ей снова возвратит,
Когда угаснул он от раннего мученья?..
О равнодушие! Сколь часто я зывал
К тебе, волнуемый моей кипящей кровью,
Как бы предчувствуя, что счастливой любовью
Коварный рок меня на гибель прямо мчал!
Без тучи грянуло несчастье над главою!

Шум стих, я поднял взор — и ты... уже со мною!
Но ты не тот беспечный бог,
Спокойный, радостный, ступающий на розы,
С которым жизни путь столь ровен и отлог:
Ты отнял всё, отнявши слезы!
Отдай мне их, отдай назад!
Пусть вновь их пламень жжет мне грудь хотя
однажды,
Пусть сердце вновь томит неутолимость жажды,
Несносен для души бесчувственности холод!
1823

ВЕСНА

Светлее солнца луч играет над прудом,
Луг зеленеющий смеется,
Кругами ласточка летает над гнездом,
Воркует горлица и жаворонок вьется!..
Всё... счастье и любви!
Лишь мне нет счастья и любви!
Я молод, но весна моей не греет крови:
Моя весна не придет вновь!
Не для меня красы природы,
И свежий аромат цветов,
И вдохновение свободы,
И вдохновение стихов!..
Мне боле нравится густая тень лесов,
Кремнистые стези, пещеры дикой своды,
Осенней ночи мрак, стихий нестройный бой,—
Лишь в них я внемлю глас понятный и живой!
Не мне в их мятеже почувствовать смятенье:
Любви, молодой любви моей
Я видел с жизнью последнее боренье,
Я видел, как тускнел свет милых мне очей,
И научился видеть тленье!
С тех пор не трепещу следов уничтоженья,
Дивлюсь желаниям людей,
Надежды их не понимаю,
Не радуюсь весне в холодности своей
И не жалея провожаю!..
1823

К НЕПРАВЕДНЫМ СУДИЯМ

Аще воистинну убо правду глаголете,
правая судите сынове человечести.

Псалом 57

Всегда ли правду вы творите,
О судии земных сынов?
Всегда ль виновного вините?
Всегда ли слабому покров?

О нет! Вы сердцем беззаконны,
И злодеянье на весах;
Вы с детства были вероломны
И ложь сплетали на устах!

Как змия яд, ваш яд опасен!
Как аспид, глухи вы! Над ним
Труд заклинателя напрасен:
Закроет слух — и повредим!

Пошли ж, о боже, день невзгоды
И тигров челюсти разбей!
И да иссякнут, яко воды
Под истощенною землей!

Да их губительные стрелы,
Как преломленные, падут,
И, как зародыш недозрелый,
Да в свете тьму они найдут!

Да праведник возвеселится,
Омывши ноги в их крови;
Да мщенью всякий изумится
И скажет: «Бог — судья земли!»

1823

ЛЕС

Свежо и прохладно
Под тенью густой:
Сколь дышешь отраднo
Здесь в тягостный зной!

От липы душистой
Какой аромат!
Сколь весело чистый
Сияет закат!

Источник дубравный,
Сквозь темных ветвей,
Горит своенравный
В багрянце лучей;
На влажные гроты
Нависли листы:
Нигде глас заботы
Не будит мечты!

Лишь звонкой свирели
Из тонких тростей
Забытые трели
С младенческих дней,
Лишь песнью далекой
Беспечный пастух
В тиши одинокой
Мой трогают слух!

Здесь первая младость
Вновь душу живит,
И прежняя радость
Со мной говорит:
Игры и забавы
Пленительный рой!
И сельские нравы
С своей простотой!

Когда же туманы
Встают над землей,
Певец, обаянный
Волшебной луной,
Мечты чудотворной
Здесь слушает глас,
То важный, то вздорный,
Все новый рассказ!

В дичи запустелой
Чуть шорох пройдет —

Зверок ли несмелый,
Иль птицы полет;
Все мнится, виденья
Мелькают в листах,
И звук вдохновенья
Дрожит на струнах.

1824

ПЕСНЯ

Сын бедный природы
Так песню певал:
«В давнишние годы
Я счастье знал!

В давнишние годы
Был мир веселей,
И солнце и воды
Блестали светлей!

В то время и младость
Резвее была,
И долее радость
Нам кудри вила,

И лес был тенистей
Стыдливой чете,
И розы душистей,
И люди не те!

Тогда к хороводу
Сбирались скорей
И пели свободу
Средь диких полей.

В то время с весною
Любовь нас ждала...
В то время... со мною
Подруга жила!»

1824

НЕДОВЕРЧИВОСТЬ

Не огорчай меня сомнением
И ложью правды не зови:
Пожертвуй мне хоть снисхождением,
Когда не стою я любви!
Слова... для сердца звук ничтожный;
Язык очей... я мог забыть;
Но для тебя опять возможно
Меня в мигу научить!
Тебе опасно заблуждаться:
Ты слишком любишь свой покой!
А мне... позволь хоть ошибаться,
Чтобы я мог дышать тобой!

1825

ПРИЗНАНИЕ

Я не могу, я не умею
Признаться ей, что я люблю:
Я близ нее всегда робею,
С ней о безделках говорю;
Но я постиг моей душою,
Я понял сердца в глубине,
Что если счастье Судьбою
Хранится в будущем и мне;
То с ней одной всю жизни сладость
Еще я мог бы испытать,
С ней возвратить и сердца радость
И вдохновенья благодать!
Веселость нрава, взоров томность,
Чем хочет, власть ее сильна!
Но для чего сия же скромность,
Которой столь мила она,
Признание сердца отдаляет,
Ласкаться взорам не велит,
Свиданью важность сообщает
И равнодушья ложный вид?..
Иль суждено, чтоб недостойный
Ей напевал любви сны,
Кто смелый, хладный и спокойный,
Не будет знать ее цены!

1827

В АЛЬБОМ

Ал. Ф. В-ой-3-ой

В альбоме дамском для поэта
Писать невыгодней всего:
Привыкли мы к шептанью света,
Журнальный крик нам ничего,
Известно всем, что их сужденье
Или пристрастно, или вздор;
Но вкуса женского решение
Опасный самый приговор.

Видал нередко я, как трудно
Простую истину найти:
Рассудок — вождь пребезрассудный
На темном жизненном пути!
Что самолюбие, то мненье!
Но чей суд верен так и скор?
Лишь чувства смелое решение
Есть неизменный приговор!

Кто хочет счастья, тот напрасно
Ведет с фортуною расчет:
Пройдет, где думал, что опасно;
А где не думал, упадет!
Но лучше, бросивши сомненье
И не входя с собою в спор,
Дать выбор сердцу на решение
И ждать от сердца приговор!

Я пел доселе не для славы;
Но все не равнодушен к ней!
Скажите ж мне хоть для забавы:
Довольны ль лирой вы мосей?..
Тогда простое Музы пенье
Не поразит ничей укор,
И будет ваше ей решение
Без апелляций приговор!

1827

ИГРА В ВОПРОСЫ

Игра в вопросы и ответы
Жива, забавна и умна!
Как кстати тут даешь советы!
Как лезть и правда тут видна!
Как часто сердце открываешь,
Кому до сердца дела нет;
Как часто важно ожидаешь
И с смехом слушаешь ответ!..

Тут беспрестанные ошибки,
И мудрено их избежать:
Хоть ум имей как хочешь гибкий,
Да неудача отвечать!
Не то ли наши все поступки?
Не то ли самое наш свет?..
Одно различье: там не шутки,
Как вялый вынется ответ!

Иной претрудные загадки
Вседневно счастьем задает;
А все ответы скоры, гладки!
Одно к другому так идет!
Другой, как лоб себе ни гладит,
Как ни умен, удачи нет:
С одним вопросом век не сладит
И то не разберет ответ!

Когда я вижу — недостойный
Вельможа горд самим собой,
Иль стихотворец беспокойный
Бурлит под дружеской хвалой,
Я мыслю тут неосторожно,
И то же думает весь свет:
Вопросов много б сделать можно,
Да совестно сказать ответ!

Но если страстью обоюдной
Два сердца тлеют в тишине
И только лишь промолвить трудно,
Что бредят въяве и во сне,
Я мыслю: бросьте все печали!
Труда в вопросе вовсе нет:

Сердца уж ваши отвечали;
На что еще другой ответ!

В тот год, когда восстали россы,
Когда упал Наполеон,
Какие были тут вопросы!
И ни один не разрешен!
Чему дивиться, мир, крещеный?
Так, видно, создан белый свет:
Вся наша жизнь — вопрос мудреный;
Узнать ли нам когда ответ?

Прибавление

Когда забавною игрою
Веселый круг наш занят был,
Как часто я с моей мечтою
Вопрос о счастье заводил:
Неразрешим он мне казался;
Я сердца отвергал совет;
Но кто так сладко ошибался,
Как я, узнавши твой ответ?

Тебе вся жизнь моя отныне,
Тебе одной моя любовь,
И ни о чем уже судьбине
Я докучать не стану вновь!
Тобой я в будущем — спокоен,
Теперь — меня счастливей нет;
Но точно ль я тебя достоин,
В том будь вся жизнь моя ответ!

1827

ДВЕ ФЕИ

Sie geben, ach! nicht immer Glut
Der Wahrheit helle Strahlen,
Wohl denen, die des Wissens Gut
Nicht mit dem Herzen zahlen!

Schiller*

Поэт

Ты ль, Фея? Ты опять со мною!
Но тот ли твой печальный взгляд?
Сурова ты! Почто объят
Твой взор таинственною мглою?
Отколе ты пришла ко мне?
В какой ты побывала стране,
Что возвратилась столь печальной?
Таков ли мир твой идеальный!

Фея

Я видела страну Судьбы!
Я устояла средь борьбы,
Но на челе моем примета
Осталась — чуждого мне света!
И не стереть ее с чела!
И я не та уж, что была!
Я в бездну прошлого взглянула,
Прозрела в будущее я
И в книге Вечности дерзнула
Прочесть страницы бытия!
Я не могу уже с тобою
Петь ни беспечность, ни любовь:
Они не возвратятся вновь!
Вот мой привет — встречай тоскою!

Поэт

Печален он, привет твой мне!
Что ж ты узнала в той стране?

Фея

Я зрела: есть над миром Воля
И управляет всем она!

* Светлые лучи истины! Увы! они не всегда дают пламя. Блаженны те, кто за благо познания не расплачивается сердцем!
Шиллер. (нем.)

И каждому своя есть доля,
И доля всем земным одна!
Вы ропщете несправедливо
На неравенство благ и бед:
Ни бед, ни благ на свете нет!
Равны несчастный и счастливый!
Одна в вселенной сумма сил,
В их равновесьи — совершенство!
Колеблют их лишь для равенства:
Ты пал, но их восстановил!

Другая Фея

Постой, Дух адский, Дух смущенья!
Друг прежний мой! Ты мне внемли!
Я принесла из той земли
Тебе другие откровенья!
«В вселенной сумма сил одна,
В их равновесьи — совершенство!»
Узнай же, что тебе дана
Способность их хранить равенство!
Себя возвысив самого,
Ты их приводишь в возвышенье;
Ты падаешь — твое паденье
Не восстановит ничего.
Напротив! Общее равенство,
Закон могущий бытия,
Часть общих сил влиет в тебя,
Чтоб не разрушить совершенство!

Первая

Проникла я мглу вечной ночи,
Судьбу я встретила за ней:
Там яркий свет блеснул мне в очи,—
Тебе он был бы тьмы темней!
Я мнила ваши там печали
И ваши радости найти,
И утешенье принести
Тебе из таинственной дали!
Их нет! Нашла я в тех странах:
Там весят вечные законы,
А ваши цепи и короны
Кладут в придачу на весах!

Вторая

«Нет благ и бед? Между собой
Равны несчастный и счастливый?
Между восторгом и тоской
Различья нет?» — Несправедливо!
Их нет в стране, где искони
Всё в чистом Свете совокупно,
Вам то блаженство недоступно:
Вам здесь существенность — они!
Они, как общей жизни силы,
Здесь движут Вечности закон,
Но это таинство могилы:
На что вам знать, как движем он?

Первая

Там ваши истины ничтожны!
Добро — почти всегда мечта!
И даже ваша красота —
Один какой-то отблеск ложный!
Кто мог бы вкупе их обнять,
Без времени, без протяженья,
Тот мог один бы, чужд сомненья,
Их вдруг постичь, а не познать!
Но, божества сосуд скудельный,
Не снес бы знания он и пал,
А смертным мысли беспредельной
Словами б всё не передал!

Вторая

Не признавай то за ничтожность,
Чего ты чувствовал возможность
С тех пор, как чувствовал себя!
Ты вспомни прелесть бытия!
Как сладко сердце трепетало,
Когда добра оно желало!
Как был ты счастлив красотой!
Что ты любил в ней? — Совершенство!
Не ты ли чувствовал блаженство,
Приемля истину с тоской!
Что облегчает жизнь вам? — Радость!
Что очищает жизнь? — Печаль!
Предай им без условий младость
И не читай Судьбы скрижалы!

Первая

Блажен, кто вовсе чужд сомненья!
Но кто пытался познавать,
Тому отраду трудно дать:
Не принесла я утешенья!
Но в той таинственной стране,
Я помню, говорили мне,
Что можно *в истине* суровой
Отраду вам найти себе,—
И непонятное мне слово
Я принесла одно тебе!
Не хочешь? Пусть себя тревожишь,
Но ты не лучший путь избрал:
Что ты проник и что познал,
Ты позабыть уже не можешь!

Вторая

Исчезни, адский Дух смущенья!
Почто рождаешь хлад сомненья
В груди, где пламень обитал?
Он той ли истины желал?
И тот ли ты закон открыла,
Который мог бы он обнять,
В котором — временного сила,
На коем — вечного печать!
Не мог обнять он бrenным взором,
Что ты взялась ему открыть!
Чего ты хочешь? Чтоб винить
Он Небо стал своим укором?
Исчезни ты! А ты внеми!
Есть истина и для земли!
Она не та, но те ж законы
Вам отражаются и в ней,
По коим над главой твоей
Миров вратятся миллионы!
Они не пали, и тебя
Закон поддержит бытия!
Что сам ты в сем кольце вселенной,
Какое ты в цепи звено,
Закрыто будь тебе оно —
Но ни одно в ней не забвенно!
Твой круг Природой очерчен,—
Ты действуй в нем: обширен он!

И я внимал. И вдруг мгла ночи
На миг мой покрыла очи.
И в вихре Феи с двух сторон
Слетелись, сшиблись, слышен стон!
Вдруг тихо — ясен свод небесный,
Обеих нет — и неизвестно,
Кто победил, кто побежден!
Во мне осталось лишь волнение
Или как то недоумение,
В котором помнишь чудный сон!
Я мог привести в успокоение
И душу, бывшую в сомнение,
И сердце, полное тревог,
Но что узнал, забыть не мог!

1828

ВЯЗАНИЕ

Когда смотрю я на вязанье,
Когда смотрю на твой клубок,
То представляет мне мечтанье
Преважный жизненный урок!

Так жизни нашей вяжет петли
И часто путает их рок,
И жить нам весело ли, нет ли,
А убавляется клубок!

Так петля в петлю зацепляет
Свои Вселенна бытия;
Что ж ими вяжется, то знает
Лишь тот, кто вяжет, а не я!

Так петля в петлю разговором
Плетем мы разуму упрек,
Мешаем вечно дело с вздором,
Лишь мыслей сбавить бы клубок!

Так рифму с рифмой я небрежно
Вяжу — и эту вязь знаток,
Как ни распутывай прилежно,
Уж не смотает на клубок!

Итак, ты видишь, что возможно
Во всем найти себе урок,
Лишь пред иными осторожно
Идей разматывать клубок!
1829

КАНВА

Ал. Ф. и К.И.В-м-З-м

Каких ни пьете вы узоров,
Но не забудьте это вы,
Что их бы не было для взоров,
Когда бы не было канвы!

Так красоты самой вселенной
В хаосе были бы, увы!
Когда бы ум всесовершенной
Не сотворил ему канвы!

Так перед мудрыми очами
Важней ученья голова:
Как по глупцу ни шей шелками,
Не сдержит слабая канва!

Что наша знатность, наша слава?
Та — блески, эта — лишь молва!
Их цвет и краски — глаз забава,
Душа — вот нужная канва!

И что иной сорит в отваге,
Копив, копив свою казну?
Он точно вышил на бумаге
И после выдернул канву!

Вы вышиваете прекрасно!
Не знаю, прочно ль пьете вы?
Весь труд ваш будет труд напрасной,
Когда не выбрали канвы!

Но не приятно ли вам будет,
Когда гостей и ближних круг

По ней надолго не забудет
Ваш вкус, искусство ваших рук!

Когда, быть может, ваши внушки
Шитье сохранно сберегут
И скажут: «Бабушкины ручки
Кой-как бывало не пашют!

Старушки были с головою
И с сердцем: все по нас, родне!
Кто знает, что над сей канвою
Мечтали, может быть, оне!..»

1829

УЧЕНЫЙ ЦАРЬ

Какой-то государь был мудрым наречен:
Не потому, чтоб он был вправду всех умнее,
Но потому, что был учен!
Он знал течение звезд вернее,
Чем царство, где он был царем;
И этот страстный астроном,
Затмится ли луна, явится ли комета,
Стрелою вылетал из царского Совета!

При блеске месячного света,
Придворных окружен толпой,
Ученый государь любимую тропой
К обсерватории однажды пробирался
И, землю позабыв, небесным восхищался!
«Послушайте, друзья! —
Сказал придворным он. — Мне кажется, что я
Посредством нового большого телескопа
Увижу то, чего не видит вся Европа,
А именно: в луне людей!»
— «Конечно, государь! — ответ толпы был всей. —
Конечно! — повторили снова. —
Вы дальше видите, сомненья никакого!»
Меж тем к царю бедняк, с смиренною клюкой
И за плечьями с пустой
Сумой,
Подходит с робостью и руку простирает;

А царь идет себе дорогою своею
 И только изредка сквозь зубы припевает:
 «Увижу ль я в луне людей!»
 Бедняк опять к нему и просьбу повторяет:
 А царь всё то же напевает:
 «Увижу ль я в луне людей!»
 Тут бедный, потеряв терпенье,
 Схватил за мантию ученого царя:
 «Прости мне, государь, такое дерзновенье
 И выслушай меня!
 Что пользы для тебя узнать пределы неба?
 Оставь свою луну, ты царь не над луной!
 Смотри-ка на землю: увидишь пред собой
 Людей, которые... с слезами просят хлеба!»
 1830

ТАЙНА ЭПИГРАММЫ

Вы, профаны, нам дивитесь,
 Говорите: «Как остро!»
 Но одумайтесь, всмотритесь,
 Вы увидите: перо,
 Не спросясь совсем рассудка,
 Разместило так слова,
 Что вот этак — вышла шутка,
 А вот так — и мысль едва!
 Что подняло смех ваш шумный,
 Ключ к тому искусством дан,—
 Часто вместо мысли умной
 Тут оптический обман!
 1832

ЭПИТАФИЯ КОМУ УГОДНО

Из ничего кой-как пробился
 И в жизни значил кое-что!
 И, быв кой-чем, он возвратился
 По смерти в прежнее ничто!
 1832

ЛЕТО В СТОЛИЦЕ

Всё камни!.. камни стен и камни мостовых!
В домах защиты нет от духоты и жара!
Деревья чахлые бульвара
Стоят, как вечный фрунт! Под мертвой пылью их
Не видно зелени, нет свежести — и это,
Столица бедная, ты называешь лето!

О! сдвинул бы на миг один
Громады зданий сих, спирающие взоры,
И, мира вольный гражданин,
Открыл бы родины моей поля и горы,
Гремучие ключи, тенистые леса . . .
И ночь, столь свежую, как спустится роса
И напитает воздух чистый
Своею влагою живительной, душистой.
О лето! то ли ты, как в юности моей!
Грянь снова надо мной тогдашнюю грозою,
Прекрасною на воле, средь полей!
Пролей дождь шумный полосою
И яркой, полною дугою
Ты, радуга, склонись над радостным селом!
Пусть овраг гремит и катится ручьем,
А завтра, солнце лишь пригрело,
Все снова оживло и все зазеленело!

Здесь солнце — духота! Пролет ли дождь порой —
Он смочит с крышек пыль и мутными ручьями
Бежит в канавах мостовой;
Туман висит над головой,
И грязь, и слякоть под ногами.
Все шумно и мертво! И самый божий гром
Неслышно прогремит, где все гремит кругом,
Где все сливается в бесперерывном шуме —
И экипажей стук, и продающих крик!..
Здесь людям некогда живой предаться думе,
И забываем здесь природы мы язык!
Так жалкий юноша, которого чужая,
Наемница, хотя искусная рука
Под небом чуждого воспитывала края,
Не понимает, Русь святая,
Родной земли твоей родного языка!

1832

ГДЕ ТОТ КРАЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ

Где тот край благословенный,
Тот любви и мира край,
Где бы добрый и смиренный
Находил сокрытый рай?

Где бы правда громко смела
Говорить из уст в уста,
Где бы зависть не шипела,
Не шептала клевета!

Где бы брат был с братом в мире,
Где для истины друзей
Были б дважды два четыре;
Вера — солнце для очей!

Где бы слабый не боялся,
Где бы сильный не давил,
Где бы червь не пресмыкался,
Змей бы яда не носил!

Где поэт, глава святая,
Вестник истин божества,
Пел одни бы песни рая,
Вечной истины слова!

Человек изъездил землю,
Переплавал все моря!
Я расскажам жадно внемлю —
Не открыты те края!

И нигде нет правды в мире!
Мир не любит жить в тиши!
О поэт! приникни к лире:
Твой покой на дне души!

1842. Москва

СЛЕДА Я В МИРЕ НЕ ОСТАВИЛ

Следа я в мире не оставил;
Но мир оставил след во мне!

Что он порочил, что он славил,
То наблюдал я в тишине!

И видел я его пристрастье,
И ложь его, и суету,
И как бесстыдно рядит счастье
Души презренной наготу!

У всех я видел попечение
О настоящем только дне;
Удаче, силе поклоненье,
А честь и доблесть — в стороне!

И слава — следом за успехом
Бежит — продажная жена;
Не удалось — окинет смехом,
А удалось — гремит она!

Прошел я мимо незаметно!
Благодарю судьбу мою:
Встречал я редко звук приветный
И редко зависти змею!

Но мира след, как сон тяжелый,
Меня в мечтах моих давил,
И прежних струн напев веселый
Невольный ропот возмущил!

Не любят правды мира чада!
Печать наложена устам;
Затем, жрец истины измлада,
Я вверил истину струнам!

Ее непризнанной святыне
Звучит с тех пор моя струна!
Пусть знают все, что правда ныне:
Мечта поэзии она!

11 февраля 1843

ПОЭТ И ЛЮДИ

Sa voix grave se perd dans leurs vaines paroles.

*Victor Hugo **

Кто в наши дни еще не бросил струны,
Чей цвет души глад мира не убил,
Кто свежесть чувств и пламень сердца юный
Под пеплом веры сохранил;
Кто слышит втай — как дух вращает вечный
Поток времен над бездной естества
И тайны их низводит в мир беспечный:
О! есть в нем искра божества!

Но мир ему не внемлет хладнокровный,
Когда он гимн высокий запоем!
В разврате душ, в заразе их виновный,
Мир — чистых душ уже не признает!
Он детскою считает простотою
Высоких чувств святую наготу;
За сказку — грех; и гордый слепотою,
Прозренья — духа — за мечту!

О! дурень мир! — он ничему не верит!
И никому не хочет он добра!
О благе всех твердя, он лицемерит:
За благо всех — он просит серебра!
Он губит юность — холодом привета!
Он опыт мужа — прибылью ценит!
Он старости — одни считает лета,
И о любви — давно не говорит!

Горд человек и сердцу не доступен!
К природе он сочувствия лишен!
Слезам он чужими неподкупен
И ничему не радуется он!
Обидам он не ведает забвенья
И мирного не знает он пути!
Где честь блеснет, он бросит тень сомненья!
Один успех у жадного в чести!

* Разумный голос теряется в их пустых словах. *Виктор Гюго.*
(*Франц.*)

Без пужды он не сделает ни шага!
Без выгоды — руки он не подаст!
Витийствует, сулит народам блага;
А ближнего — и купит и продаст!
Заочно горд, высок перед вельможей,
Не гнется он, как было в старину,
Не вьется он ужом в его прихожей;
А в кабинет — пошлет к нему жену!

А что ж поэт? — Дел тьмы он и не видит,
Весь погружен в свой идеальный свет!
Он с умыслу и взглядом не обидит!
В людских делах его как будто нет!
На что они? Его блаженство, люди,
Простор души и неба вышины;
Беспечно трель пускает он из груди
Свободе рад, как жавронок весны!

А если он поставлен был судьбою
На высшую между граждан чреду
С мечом суда над злобою людскою,
Или мирить коварную вражду —
О! сколь велик он пред слугами власти!
Не клонит он пред пей своих очес!
Карает он, падит иль гонит страсти,
Во всем он чист — жрец истины небес!

За что же он, на месть и зло бессилен,
От стрел врагов себя не уберет?..
За то, что он, не зная их извилин,
Прямым путем идет им поперек;
Что не постиг змеиное их знание,
Что не кадит кумиров их златых
И что души его благоуханье —
Противный дух в злой атмосфере их!

И сильные его не любят тайно
За то, что он гонимых тайный друг,
Что милости не хочет он случайной.
И что купить нельзя его услуг!
Орлиный взгляд у хищных в подозренье,
Тревожит он змеи адемовой сон!
И части нет в мирском благоволенье
Тому, кто благ небесных наделен!

Разумный мир торгует и лукавит;
Волнуется и тонет в суетах;
Кады, клеветает; презирая, славит;
И властвует, и вязнет сам в сетях;
И идолов своих возводит в боги,
И тою же свергает их рукой,
И всех зовет на пир и на тревоги:
Один поэт забытый и чужой!

Но дружбы рай, рай светлый, рай открытый,
Не тот вертеп, где дружеству цена,
Но рай любви, в дни наши позабытый,
Где розами дышала нам весна;
Но мысли мир, безбрежный и свободный,
Где нет оков ни сердцу, ни уму:
Там отдых он вкушает благородный!
Туда нет доступа к нему!

Июня 1843. Москва

СУХОЙ ЦВЕТОК

Когда любовь мне подарила
Тебя на память, мой цветок,
И надо мной тогда светила
Луча полуденного сила
И вечер был еще далек!

Сухой, поблеклый, но петленный,
Между листьями утаенный
Бессмертных Шиллера цветов,
Ты уцелел, непобежденный
Стихийной властью годов!

Ты много пережил! — и грустно
Мелькают дни в твоих листках!
Что жило памятью изустной,
Что жить готовилось в веках,
Все стало тлен, все стало прах!

Бесчувствен — наших чувств летучих
Тебя не тронул тонкий яд!
Ни жар любви, ни ранний холод!

Ты, слабый, пережил могучих,
Безвестный — славы многих чад!

Слежу ли мыслью жизни повесть
С тех дней, когда был сорван ты —
Куда умчались те мечты!
Как много налегло на совесть!
Как много дел и суеты!

И все умчала скоротечность!
Сравнились в прошлом миг и век!
Иным пренебрегла беспечность,
Иное записала вечность,
Что позабыл уж человек!

Как много счастья и несчастья!
Как много волновался ум!
И без следа и без участия
Прошли дни солнца и ненастья,
И смолк геройской славы шум!

Там были битвы поколений,
Был новый избранный народ!
Там на скале окован гений!
Там прах его чрез бездну вод
К сынам торжественно плывет!

А Он — без страха и упрека,
Цветущий ликом и душой,
Пред обреченною Москвой
Воззавший голосом пророка
И меч поднявший боевой!

Судья вселенной, чуждый злобе,
Народов страж в годину зол,
И он лежит в земной утробе,
И он в последний раз во гробе
Свою империю прошел!

И многих нет! — Другие славы
Затмили прежней красоту!
Забыли бедствия державы;
Другие замыслы и нравы
Ввели другую суету.

А сколько в нашей жизни тесной
Игры судьбы, ее измен!
Игры не славной, безызвестной,
Но неизбежной, повсеместной:
Могил, развалин без имен!

Корабль ли тонет с бурей в споре,
Хлестнет ли челн одной волной,
Все та же гибель, то же горе!
Мы все плывем на том же море,
Где победитель и герой!

Все гибнет, тонет, увядает,
Что жило, плыло иль цвело!
Пройдет добро, минует зло;
А память только успевает
Отметить наскоро: прошло!

Мне тоже счастье зацветало;
Но часто тучей застилало!
А юность снова не цветет!
Весенних дней так в жизни мало!
Так рано жизни цвет падет!

А ты один избегаешь тлена;
Цветок! но что же стал и ты?
Не смерть ли эта перемена,
Как жизнь без девственного вена
Любви, мечты и красоты!

24 октября 1843. Москва

К. К. ПАВЛОВОЙ

Несмотря на стих мой скромный,
На невзвучность дум моих,
Я люблю твой стих обронный,
Живописный, звучный стих!

Он течет, как раскаленный
В горне рдеющий металл!
Вылит в форму— и мгновенно
Он окреп и зазвучал!

Музы дивно в нем слияли
Краски радужных цветов
И упругость гибкой стали
С звуком чудных голосов!

Ты победной Амазонкой
Пред фалангой русских слов
Кликнешь рифму — отзыв звонкой
Пробежал — и строй готов!

Но не верь, что мысль в поэте
С вдохновеньем не сродна!
Мысль без звука — тонет в Лете:
Звук без мысли — то волна!..

Поблестит — и пронесется!
И другая вслед за ней
Прожурчит — и разольется
В блеске солнечных лучей!

Это ересь школы лживой
Наших пынешних бесед;
Многошумной, говорливой,
Ей на мысль — досуга нет!

Это живопись Китая!
Краски — бархат; лак — стекло!
Это прелесть глаз немая:
Подивился — и прошло!

Это отзыв арфы стройной
Под Эоловой рукой,
И назваться недостойный
Музыкальною игрой!

Звук древнего поэта
Передаст ли чей язык?
Инструмент разбили лета;
Духом — веки он проник!

Краски, мысли, чувства, звуки:
Вот поэт! Я сам бренчу;
Но едва наложишь руки
Ты на струны — я молчу!

6 ноября 1843. Москва

ПРОДАННЫЙ ДОМ

Элегия

O tempora! O mores!
Cicero *

В те дни, когда добро и знания
Ценились выше серебра,
Здесь было место воспита́нья,
Был дом науки и добра!
И все мы, сверстники молодые,
Мы спели к будущему там,
И эти стены, нам святы,
Второй отчизной были нам.

Отсюда вышли поколения,
Отцы и дети! — Все мы в нем
Млеком питались просвещенья
И твердым истины плодом;
Отсюда — чистый от наветов,
Цвет лучший родины сынов,
Жуковский — красота поэтов,
И твердый правдою Дашков!

Тут был наш праздник испытанья,
Последний шаг ко входу в мир,
Где в благородном состязанье
Гремели струны юных лир;
Пир общий чести и науки;
Отцов, наставников, детей,
Где все, подав друг другу руки,
Роднились радостью своей!

Вот зала та, где с стен заветных
Взирали лики прежних лет,
В чьих взорах важных и приветных
Читали мы добра завет:
Шувалов — памятию вечный,
Херасков — двух времен звено,
И Муравьев чистосердечный,
И скромный муж Мелисина!

* О времена! о нравы! Цицерон. (лат.)

Вот здесь был храм под круглым сводом,
Где предстоящий алтарям
Пред юным, зреющим народом
Вносил молитвы к небесам!
Из чистых душ любви моление
Всходило сквозь кадильниц мглу,
И тихий хор в согласном пенье
Из юных уст свершал хвалу.

А здесь, где двор широкий, чистый,
Был мира детского предел,
Там мелкий рой наш голосистый
Играл, и бегал, и шумел!
А здесь был сад, где старших братьев
В тени собирался тихий круг!
И другу мыслей — плод занятий
Делил в доверчивости друг!

И жив, и свеж под сединами
Еще тот старец, тот мудрец,
Который опыта лучами
Светил нам в глубь молодых сердец,
Чья в путь отчизны благородный
Благословляла нас рука!
Его не помнит мир холодный;
А дом тот — продан с молотка!

Мир любит счастья перемены!
Добру он прочному не рад!
И вот проломанные стены
Дверей и крылец кажут ряд!
Тайник святыни воспитания
Непосвященному открыт,
И осквернен рукой стяжанья
Дом купил он — народу в стыд!

Здесь роскошь некогда разложит,
Прельщая очи, свой товар;
За деньги зрелище, быть может,
Раздует сладострастный жар;
Иль будет там вертеп веселья,
Куда обжорство заманит
И где народное похмелье
В разгульных песнях загремит!

Я помню дни, как меч и пламень
Постигли древний град царей;
Пожар один оставил камень:
Враг сжег наследие детей!
И плакал я простосердечно!
Но то был славы нашей год!
Теперь... но что мы помним вечно?
О век! о нравы! о народ!

1843

ПОЛНЫЙ МЕСЯЦ

(В Зыкове)

Полный месяц из середины
Голубых небес глядит,
В светлом сумраке равнины,
Темен лес, а лист вершины
Серебрится и дрожит!

В ярком блеске пруд зеркальной
Жидким золотом течет,
И шатер с своей купальной
Посреди волны кристальной
Сонным лебедем плывет!

Облак чудные станицы
Мимо месяца бегут,
То мелькают, словно птицы,
То, как мраморные лица,
Возникают и растут!

Спит земля, село спокойно,
И замолкнул шум людской;
А кругом, в выси ночной,
Что за дивный, что за стройный,
Что за светлый мир иной!

Побывал бы, о природа,
Там, где звездная страна,
Там, где светлая луна!
Где людей нет — и свобода!
Где их нет — и тишина!

Завтра, солнце лишь проглянет,
И земля уже не та!
Все село к работе встанет,
Стан окрестный в ружья грянет,
В парке — пыль и суета!

1844

ВЕЧЕР В ЛЕСУ

(В Зыкове)

Листы на деревьях лепечут,
Ручей в берегах говорит,
Далекое эхо хохочет,
Утес, понасупись, молчит!
Цветы помавают головкой,
Красуюсь жемчужной росой,
И старая дремлет береза,
Качаясь седой головой!

Поет соловей голосистый,
И все о любви, о любви!
Сороки щекочут про сплетни,
Крутом прыг да прыг воробьи —
Франтят, куртизанят и вздоры
Собирают, разносят в лесу;
А праздные галки толкуют
Про них же сто раз на часу!

Жужжа, разлетаются пчелы,
С добычей несутся в рой;
Работают, зернышки несут
На зимний запас муравьи;
Невидимо стрехчет в высокой
Траве стрекоза; мотыльки
Порхают в цветочках; а мошки
Толкутся столбом у реки!

Взглянуло вечернее солнце
Сквозь розовый полог небес,
Прошли длинноногие тени,
Замолкли поляна и лес!

Вечерний лишь жук одиноко,
Последний, летя, прожужжал!
Повеяло холодом; трепет
По листьям дерев пробежал!

Итак, не один я, в пустыню -
Зашедший от добрых людей!
На празднике летнем у бога
Немало веселых гостей!
Итак, ты жива, о природа!
Не мертвая машина ты!
А я и не слышал твой голос
Среди городской суеты!
Август 1844. Москва

ОРЕЛ

Ширококрылый и могучий
Орел в поднебесье летел,
Летел — под ним сбирались тучи,
Сердилось море, вал гремел!

Он око вверх — там солнце рдеет!
Он око вниз — там туч гряда!
Крыло лишь паруса белеет,
Как путь забывшая звезда!

И быстро вдаль он кинул взоры,
И вот, сквозь занавесы мглы,
Как с места сдвинутые горы,
Встают валы, идут валы!

И бьется чайкой над волнами
Корабль, ныряя между вод,
И ловит ветер парусами,
А ветер злой — вертит и рвет!

То вскинет вал, то хлябь глотает!
И вот, забитый волн бичом,
Припал — и ветра не хватает
Летун разодранным крылом!

Вдруг морю туча прогремела:
«Вставай! Бушуй! Иди на брань!»
И бездна туче проревела:
«Встаю! Иду! Сильнее грянь!»

И всё слилось! И море встало!
И грозно встречные пошли!
И море неба тяжко пало
На море, вставшее с земли!

А он, царь воздуха могучий,
Взлетал, не видимый земле,
И там, где плыть не смеют тучи,
Он плыл, простря свои крыле!

И думал он: «Как жалки люди!
Взлететь бы только до небес!»
Прорезал воздух силой груди.
Взмахнул крылами и исчез!

1844

ГОЛОСА ПРИРОДЫ

Прислушайся к звукам природы!
Шумят ли вершины лесов,
Журчат ли пустынные воды —
Веселых в ней нет голосов!

Несется ли ветер, завывая,
В раздольном просторе степей,
Шумят ли дожди, упавая
На кровлю, на лоно полей;

От грома ль небесные двери,
Небесные своды трещат,
Ревут ли дубравные звери,
Стада ли лениво мычат;

Гремят ли со скал водопады,
Орел ли кричит над скалой,
Иль теплому солнышку рады
Щебечут пичужки весной;

Воркует ли голубь с подругой,
На сосне ли каркает вран,
Гусей ли пред позднею вьюгой
Воздушный летит караван;

Стучат ли рабочие руки,
И эхо тревожит леса:
Все больше унылые звуки,
Сокрытой тоски голоса!

Дана и творению радость;
Веселья ему не дано,
Как будто, утративши младость,
Задумчиво стало оно!

28 июня 1845. Зыково

**ОТВЕТ АКСАКОВУ
НА СТИХОТВОРЕНИЕ
«ПЕТР ВЕЛИКИЙ»**

Священной памяти владыки
Да не касается укор!
С своей отчизны снял Великий
Застоя вечного позор.

Но, осветя ее наукой,
Ее он жизни не давил:
Ему князь Яков Долгорукой
Без страха правду говорил.

Пусть, ненавидя зло бывшее,
Себе избрал он путь иной,
Но, отвергая отжившее,
Стране своей он был родной.

Но в разрушении созидая,
Он вел нас к благу одному,
И завещал он, умирая,
Свой подвиг дому своему.

Его ль вина, что завещанье
Не в силу мудрого сынам

И тяжела, как показанье,
Их власть покорным племенам;

Что, своротя с дороги правой
И отрекаясь от добра,
Они прикрылися лукаво
Великим именем Петра.

И стал им чужд народ им данный,
Они ему закрыли слух,
Ни русский в них, ни чужестранный,
Ни новый, ни старинный дух.

О нет! упавшая глубоко,
Родная наша сторона
Дух раболепного Востока
Безмолвно зреть осуждена.

Но пусть дней наших Валтасары
Кончают грешный пир, пока
Слова, исполненные кары,
Напишет грозная рука.

1845



МОСКОВСКИЕ ЭЛЕГИИ

Некоторые из этих элегий были напечатаны в «Москвитянине». Признаюсь, я теперь сожалею, что печатал их порознь; ибо они только вместе могут иметь некоторое значение, как собрание небольших картинок Москвы и замечаний о ней, составляющих нечто разнообразное и целое. Порознь же — иная картинка, иная мысль могут показаться странными и возбудить вопрос: почему автор выбрал такой-то предмет, иногда мелочной, между обширными предметами, представляемыми древней столицей? Почему пришла ему такая-то мысль, когда история и современность Москвы могли возбудить нечто выше и занимательнее? — Итак, только все вместе, эти элегии могут представить нечто целое и разнообразное. Я назвал бы их даже: «Москва и москвичи», если бы этого названия не употребил уже Загоскин.

С тех пор, как писаны эти элегии, многое изменилось в Москве, особенно в убеждениях и направлении мнений. И потому прошу читателей обращать иногда внимание на *годы*, которые поставлены под каждой элегией.

1857

Москва

ДУМА

Если бы ясное небо, если бы светлое солнце,
 Теплой страны благодать, ароматом упитанный воздух;
 Если б лесов тишина, берега беспредельного моря,
 Если б и добрые люди добрее воистину были:
 О! как легка бы была для поэта над жизнью победа!

Много заботы, мало покоя, мало любви и согласия!
 Время надо украсть, а даром оно не дается!
 Отнят день ранний трудом; а вечер весь взят суетою!
 Только приличье — святыня; одно себялюбие — идол!
 Только оно собирает людей; да оно ж и разводит!

Двое сойдутся — и спор; а где трое — три разные толка!
 Истины ищут они; а не терпят друг друга за правду!
 Если кто скажет словцо о другом — и не пробуй

вступиться!

Тот лишь нам друг, кто по пас говорит, да и то не надолго;
 Если же чуть поперек — он уж враг, и прочь все
 отхлынут!

Это ль любовь христианская, это ль у них православье?
 Это ль к искусству любовь, и это ли истина, други?
 Это ли мудрость, которой так много поборников ныне?
 «Мудрость, сходящая свыше, кротка — научает апостол: —
 Правды плод сеется в мире; а это — бесовская мудрость!

Могут ли, братья мои, смоковницы гибкие ветви
 Маслины вам приносить; а лоза виноградная — смоквы?
 Может ли горький источник излить вам сладкую воду?
 Кто из вас добр и умен, докажи то не спором, а делом!
 Гордым противится бог; лишь смиренным дает благодать
 он!»

Нет благодати нам, нет в пас любви; оттого и искусство,
 Прежде цветущее, чуждо восторга и истины чуждо!
 Только в прекрасной душе все прекрасное зреет свободно!
 Если б и зрело оно, кто улыбкой согрееет, как солнцем?..
 Кто рососою слезы освежит зарожденную думу?

Если уж шум, то хотел бы впимать неумолкну морю!
Если уж быть одному, без друзей, то уж лучше в пустыне,
В темном лесу, где не суетность гордая наша лепечет,
А где шепчут листья, чуть затронет их ветер.— Тогда-то
Каждый бы звук был картиной, звуком бы каждое чувство!

11 марта 1845

СЕМЕЙНЫЕ ПИРЫ

Прежде здесь были пиры.— Я помню: собирались родные
К старшему в роде, в день именин или в праздник.—

Бывало

Длинные ставят столы; сыновья наезжают с женами,
Дочери, внуки, зятья; и беда не приехать к обеду!
Ласковы были до нас старики, а шутить не любили!

Говор и шум, и детей беготня; но за стол — все утихнут!
Дед сидит на переднем конце, близ внучки старушка.
Жены с мужьями рядком; а подалье — дети постарше...
Все по порядку и чинно разносятся вкусные блюда;
После жаркова обносят бокал — и все поздравляют!

Нынче не то! — Собираются где веселее! — Нет старших,
Нет молодых, все равны, и слабеют семейные связи!
Нужен — ему и почет; а не нужен — умри, и не вспомнят!
Кто в сертуке, кто во фраке; этот в пальто мешковатом;
Тот, как француз, с бородой; а рядом — в звезде
заслуженной!

Связи семейные! что вас крепит? — не обычаи ль дедов!
Не почет ли наследственный к горю и опыту старших,
Нам передавших и жизнь, и заботливо с ней нажитое?..
Нет! не заменят вас партий и выгод корыстные связи!
Те и могила крепит; а эти... до первой лишь сплетни!

Кто ж заменил стариков?.. Кто взял в обществе власть
над умами?..

Первый крикун без стыда или выходец, родом безвестный!
Что тут до связей семей, где иной рад забыть и об роде!
Нужно ему, чтоб никто никого не уважил; иначе
В признанном праве других своего не втыщет он права!

Прежде в семейном кругу примирялись домашние распри!
Свой своему поневоле был друг — и семейное дело
Общим вершилось судом! — Тут кровь говорила! —

А нынче
Ищет отец покровительства сына! — Сын рыщет повсюду,
Горлом берет; а отец — копь, забытый под старость на
стойле!

Патриархальные права Москвы белокаменной! — Где вы?
Или с пожаром Москвы, отворившим ворота в Европу,
Быт наш семейный истлел и привыкли к бродящей мы
воле?..

Только кричим мы о быте народном, о быте семейном;
Сами не знаем семьи, ни семейного русского быта!

9 мая 1845

4.

ВОСПОМИНАНИЕ МОЛОДОСТИ

Весело было ты, прежнее время, в дни юности нашей!
Где вы, златые летá?.. Не прошло ли вам четверть уж
века!

Вольно черпать нам было в источнике чистой науки!
Кто ниспускался веков в глубину; кто, как вольная птица,
В светлый мир возлетал, где гремели высокие песни!

Музы тогда еще не были согнапы с холмов Парнаса,
Феба и их имена призывались еще в песнопеньях!
Жрец опасался их слух оскорбить неразумною песнью!
Дар песнопенья был всеми уважен, как данный от бога;
Люди считали поэта — высшим, чем прочие люди!

Помню я наши беседы, помню и праздники наши!
В круге веселом подчас и важная речь заходила;
Говор и смех умолкали, и чувство, высокое чувство
Отзыв будило в сердцах молодых! — Но лирные звуки,
Лирные звуки звенели опять, и жизнь улыбалась!

Помню годичный торжественный день я — во храме
науки!
Это был праздник Москвы; вся Москва между нас
ликовала!

Хор прогремит — и всходил Мерзляков на кафедру — и
оду,
Пышную оду громко читал иль похвальное слово!
С звуком трубы раздавались потом и награды, и шпаги!

Просты сердцами мы были, как дети; а добрые старцы,
Наши наставники, были до нас как отцы благосклонны;
Но, как отцы, нас с собой не равняли, нам руку не жали!
Мы уважали их, мы их любили; но и боялись!
Нас не боялись зато старики: мы не сүдьи им были!

Бодро, надежно от них мы шли и на царскую службу!
Словно отцы с рук на руки нас отдавали отцам же!
Легкая служба была, и не грозно начальство! — Напрасно
Кто-то стишком уколол всех юношей наших архивских;
В этих же юношах был и Дашков, благородный друг
правды!

Так созревали под солнцем мы вольного неба, подобно
Дереву или плоду, которые мудрый садовник
Не выгоняет насильно теплом искусственной печи!
Против бурь жизни и хлада зато — мы рано окрепли;
Русь полюбили, как мать: хорошо нам у матери было!
1845

5

ГЕГЕЛИСТЫ

Гегель да Гегель! — Только и слышишь! — Восток да
Славяне!
Запад да немцы! — Подумаешь, Запад в боренье с
Востоком!
Солнце ж, как прежде, с востока идет и приходит на
запад!
Мудрый молчит в тишине; трудолюбец безмолвно
трудится;
А не внемлемый ими поэт позабытую пробует лиру!

Есть ли отчизна у нас? — И должны ли, как матери дети,
Долг свой мы ей заплатить? — Или мы без призвания в
мире?

Эти ей служат мечом; те судом воздают ей и правдой!
Вы же что, мудрецы? — Назвала ль она вас мудрецами,
Давши вам право решать, не служа ей ни словом, ни
делом?

15 мая 1845

6

ПРАВОСУДИЕ

Если хотите, чтоб было у нас правосудье, умеете
Правду вполне оценить и общественным мнением уважить!
Есть нам награды царя, и есть нам наградой совесть:
Для честолюбца довольно, для христианина тоже;
Где же почет от граждан, драгоценная мзда гражданина?

Кто между вами всех выше? — Муж ли и чести, и долга,
Смелый на правду, против лиц сильных прямой и
бесстрашный?

Нет! он у вас в забытьи; вы боитесь его, как заразы:
Страшно, чтоб сильного правды врага на себя не
восставить!
Сильный вам сделает зло; а тот... безопасная жертва!

Кто же всех выше у вас? — Богачи! — И какое вам дело,
Кто как ни нажил добро; лишь давай вечера оп и балы,
Только б обеды давал и не выключил вас из знакомых!
Как вам не быть у того, у кого весь съезжается город!
Сами же учите вы наживать чем бы ни было золото!

После в почете меж вами, кто силен связями и знатю!
Может помочь вам подпорой своей и не в правом оп деле;
Вы же привыкли к надежде всегда — не на правду, на
милость!
Может вас вывести в люди оп, если вы не были в людях!
Но — не падейтесь на князи: они человеки и смертны!

Доблесть гражданская! Мнение граждан — вот прямая
награда!
Честному руку пожать; от бесчестного прочь отвернуться;
Голосом общим стоять за того, кто стоек за правду;

Слыша о нем клевету, отразить, а не молча прослушать:
Так ли меж вами? — Не так? — Не пеняйте ж, что нет
правосудья!

1845

7

ВЗЯТКИ

Взятки берете вы? — Дельно! Над пими и кара закона!
Только, поборники честности, знаете ль вы: что есть
взятки?

Если бедняк взял полсотни рублей, вы кричите, что взятки;
Если ж подрядами кто нажился, напугавши всех силой,
Это вовсе не взятки, у вас, а просто уменье!

Денег иной не берет — потому лишь, что сам миллионщик;
А миллионщик Катон — не герой: тут легко аристидство!
Но за ласковый сильного взгляд продает он и брата, и
правду!

Это что: взятки иль нет? — Вы молчите, угодники? —
Этих,
Этих вы мнѣм карайте и требуйте впредь правосудья!

Если гражданская честь пошатнулась и в слове и в деле;
Если дошло до того, что хотят все не права, а выгод;
Если бесчестного с честным в лице различить невозможно;
Если в гражданах самих поклонение мощной неправде:
Что тут кричать, на кого тут пенять, что нет правосудья!

5 июля 1845

8

ПИКНИКИ

Где вы, лет прежних друзья? — Весела, беззаботна,
свободна

Молодость наша была и не знала запосчивой воли!

Помните ль вы вечера и пикники доброго князя?

Старый младенец, поэт, испытавший фортуны

превратность,
Духа веселостью был нам ровесник, лишь опытом старец!

Только что за́ город, тут и горелки, тут и качели!
Пустьмся взапуски или уйдем брать ягоды в рощу!
Все разбредемся! — Ау! — Вот и к полднику кличут! —
Сберемся:
Полдник не пышный, простой; но пойдут и рассказы
и хохот!
Разве насупится князь, что его взять с собой позабыли!

Помните ль вы, тут была, всех прекраснее, выше всех
ростом,
Стройная пальма, щечки, как роза, агатные глазки,
Живостью птичка, умна и мила и игрива, как кошка;
Помпите: имя ей было у нас — Анемона. В дни оны
Князь написал, что она и Надировой краше короны!

В белой воздушной одежде, как в облаке пышном Юнона,
Шелк пурпуровый корсета вокруг стройного, гибкого стана!
Где? и чарует ли взглядом кого молодая Цирцея,
Муза, впушавшая, даже внимавшая песни поэта?..
Все пролетает! — Она... где и все мы со временем будем!

5 июля 1845

9

КРЕМЛЬ

Камни, священные камни Кремля! Вы, громады соборов!
Светлые, с красным крыльцом, с теремами царевен
чертоги!
Башни, красивые башни в узоре из каменных кружев!
Стены, по коим могла бы с конями пройти колесница!
Русь воедино связал вековой ваш незыблемый пояс!

Здесь-то святое зерно, возрастившее древо России,
Коего сень полюбили ее племена и народы!
Но — чуть буря идет, от запада или с востока,
Древо святое шумит и весть подает непогоды:
Руси сыны восстанут и бегут на защиту святыни!

Где благовестный звон Руси, во дни ее иконований,
Царских, народных торжеств, звончее кремлевского звона?
Где, в дни былые, созывный набат на Руси был слышнее?

Чуть железным своим языком и литыми из меди устами
Наш Великий Иван взговорит: Русь ту речь разумеет!

Сколько имен, о Москва! и приветливых, и величавых,
Дети тебе воздают! и мало ли ласковых прозвищ!
То белокаменной, то златоглавой тебя величают!
Видно, сроднились с тобой, воспитавшей их горькую

юность;

Видно, помнят, что много за них ты, как мать, страдала!

Раз лишь твой Кремль задрожал, как извѣрг из себя

чужеземца,

Двадцать народов с собой приманившего на пир незваный!
Любишь гостей ты, Москва; но на них медов не достало!
Угостила по-русски ты их: истопила ты баню
Да пустила, попаривши, их поваляться по снегу!

8 июля 1845

10

ДОМИК В ПРЕДМЕСТИИ

Часто случается мне, проходя по предместьям, видеть
Чистенький, низенький домик; хозяин сидит у окошка,
Смотрит на улицу — так — от нечего делать, без думы;
Столик накрыт у окна; пред хозяйкой расставлены чашки:
Светлый кипит самовар и сипучую песнь запекает!

Тут же на окнах в горшках резеда, бальзамин и левкое;
Два алебастровых бюстика — знают их все в околodке —
Сколько уж лет, как бочком на окне, друг на друга

смотрят;

Стены в обоях, диван посредине, обтянутый кожей;
В рамочках граф Витгенштейн и новейшая слава —

Тальони!

Есть же счастливые люди, которым день нечего делать,
Спится всю ночь напролет, и на завтра — другое сегодня!
Чая вечернего час им как будто какое-то дело:
Чинно на блюде всегда льют напиток они благородный,
Чинно податают пять пальцев и снизу под доньшко
держат.

Что за счастливые люди! — Приедут ли гости — эпоха!
Сами ли выедут в гости они — вспоминают, как праздник!
Нет ни визитов пустых, ни встречных пустых разговоров;
Любят покой: непоседливость наша была бы им мукой!
Свет их большой — на прудах; а с лимончиком чай —
все их барство!

Добрые люди! Им нет — современных великих вопросов!
Даже Московских газет нумера не для них выдаются!
Слава — всемирная слава домашней работы — которой
Хвастают звонко друзья по Москве — им совсем
неизвестна!
Мир вам, добрые люди! — Поверьте, та слава пустая!
12 июля 1845

11

ВАГАНЬКОВО КЛАДБИЩЕ

Есть близ заставы кладбище; его — всем знакомое имя.
Божия пива засеяна вся; тут безвестные люди,
Добрые люди сошлись в ожиданьи весны воскресенья.
Ветви густые дерев осеняют простые могилы,
И свежа мурава, и спокойно, и тихо, как вечность.

Тут на воскресные дни православный народ наш
любит к усопшим родным, как к живым, приходить на
свиданье.
Семьи нарядных гостей сидят вокруг каждой могилы,
Ходят меж камней простых и, прочтя знакомое имя,
Вспомнят, вздохнут, поклонясь, и промолвят: «Вечная
память!»

Тут на могилах они — пьют чай (ведь у русских без чая
Нет и гулянья); развяжут салфетки, платки с пирогами,
Пищей себя подкрепят, помянувши родителей прежде;
Вечером идут в Москву, нагулявшись и свидевшись мирно
С теми, которым к ним путь затворен и придти уж
не могут!

Всякий по-своему хочет пожить: не указ нам соседи!
Любим мы русский простор; и любим домашнюю волю!

Там, на Кузнецком мосту, блеск и шум, и гремят экипажи;
А за тихой Москвою-рекой заперты все ворота!
Там, на боярской Тверской, не пробил час привычный
обеда;

А на Пресне, откушав давно, отдохнули порядком,
И кипит самовар, и собираются на вечер гости!

Много у нас есть чудес и редкостей царских палата;
Веселы балы зимой и роскошны богатых обеды;
Живы у нас по летам и по рощам и в парке гулянья;
Но не узнаешь семьи, не сроднясь, не вошедши в ту
семью:

Так не узнаешь Москвы, не привыкнувши к жизни
московской!

Что же вините вы нас, что лицом мы на вас не похожи?
Есть на московских на всех, говорят, отпечаток особый!
То ли нам ставить в укор, что у нас есть свой нрав и
обычай?

Вы на монете глядите сперва: сохраняет ли штемпель;
Мы — настоящий ли вес; да посмотрим, какая и проба!

17 июля 1845

13

ВСАДНИЦА

Что же мне делать! — Хотел бы я вам услужить
мадригалом!

Губки у вас, как цветок; но в этих губках сигарка!
В женщине милы — и нежность, и робкая слабость их
пола;

Вы же на борзom коне, как гусар; то не женская прелесть!

Гибкий ваш хлыстик свистит, как подчас у меня
эпиграмма!

Боже мой! как мы за веком идем! И давно ли то было,
Что красавицы наши боялись мышей и лягушек;
Падали в обморок, чуть зажжужжит пролетевшая пчелка,

Так, что поэты тех дней, лишь привести бы прелестную
в чувство,
Лгали, что пчелка сочла распутивший ротик за розу!

Чудно, как время идет! — И давно ли красавицы наши
Слезки роняли над Бедною Лизой! — А ныне отважно
Правят конем на седле и правят коньми колесницы,
Речи читают Гизо и об Гегеле даже толкуют!
Где им о нем бы узнать! — Насказали им добрые люди!

18 июля 1845

КУПЦЫ НА ГУЛЯНЬЕ

Видели ль вы купцов и купчих на гулянье? — Приезжий,
Может быть, их и не вдруг отличит от публики нашей;
Но привыкнувший глаз москвича не обманет подделка!
Те же портнихи наряды им шьют, и те же портные
Их одевают мужей; но природа искусства сильнее!

Чинны и важны они, самоцветно и пышно одеты!
Эти гордятся коляской, коньми; те тканью салопов!
Сытые лошади, шерсть, как атлас, и блестящая сбруя,
В холье и бёреже долго — готовятся на день гулянья;
Пышный салоп у жены в сундуке бережется на случай!

Гривы у их лошадей в перебор заплетенные мелко,
Их пристяжная, кольцом, бьет копытом о землю и пышет!
А у жен капишон, весь распущен, как хвост у павлина,
Вечно — зимой сверх саней, а летом висит из коляски!
Цель их: людей посмотреть и себя показать; и довольно!

Тот же купец, как банкрот, очутится другим человеком!
В ноги да в ноги кувырк перед гордым своим кредитором!
Тише воды он и ниже травы: ни во что униженье!
Боже! неужели в них сохранился наш прежний характер,
Русский народный наш тип, с бороною насильственно
сбитой!

Правда, и наши бояре, когда послов принимали,
Чванились много; любили, по-русски сказать, поломаться!

Между собою поместничать — тоже любили, и много
Ломки бывало с ними царю; а отдаст головою —
В ноги да в ноги: повинную голову меч-де не рубит!

Нет! не поверю! Корысть — вот что сердце сушит человека!
От того-то скупец никогда не бывает поэтом;
От того-то поэт никогда не бывает корыстен!
Ведает он, что судьбы прихотливой даянья непрочны;
Что природы дары всем равны; что мир божий — всем
общий!

21 июля 1845

15

СТАРЫЙ ДОМ

Как изменяется все, и в судьбе человека и зданий!
Там, за Москвою-рекою есть дом, неуклюжее зданье...
Слышно, что был он когда-то летний дом Годунова.
Много таилось в нем помышлений, и власти, и счастья,
Замыслов гордых, пока честолюбец не дожил до царства!

Время иное пришло! — Боярская старая гордость
Чванится стала местами; только и честию было
Выше инова засесть, у инова не быть под начальством!
Чудная честь! — А спиной поплатиться, ничуть не
бесчестье!

В этом-то доме, в подклети, боярскую спесь унимали!

Время иное пришло! — Дом тот был гордецов
Милославских!

Тут-то сходились стрельцы, и оттуда-то шли их крамолы!
И отсюда под русло реки, говорят, был подземный
Ход, выходивший к Кремлю, где Тайницкие ныне ворота.
Диким камнем закладен тот вход, и где был, позабыто!

Ныне смиренный тот дом, на службу Москве
поступивший,
Вовсе народом забыт, позабыл честолюбия гордость!
Смирно стоит он меж новых красивых и легких строений,
Точно меж модников старый старик, и думает думу:
Нынче-то мы ни во что; а бывало нас люди знавали!

26 июля 1845

СЕМИСОТЛЕТНЯЯ МОСКВА

Нашу Москву созидала не сила, не власть человека!
Наша Москва родилась, и жила, и росла, как живая,
Руси и грады и веси вокруг, как детей, собирая!
Скоро ей будет семь сот уже лет: почетная старость!
Милости просим, поспрашивать к ней, князья и бояре!

Знаете ль, русские люди, давно ли Москва молодая
В первый раз, как боярыня, русских князей угощала?
В тысяча во сто сорок седьмом — москвичам ли не
помнить!

Марта двадцать осьмого сын Мономаха Георгий
В ней Святослава встречал: знать, Москва угощать уж
любила!

Улицы узки у нас; широка у нас летопись улиц!
Кривы они; да Москва и на этих Руси прямилась!
Там, на Басманной, ввозили басму: перед идолом ханским,
Правда, склонялась победной главой и она; да она же
Первая вышла с Донским на врагов к Куликовому полю!

Каждый наш камень древле был полит русскою кровью!
Там, где торговля теперь иноземных купцов собирает,
Крестный торжественный ход провожает народ
богомольный,

Бился Пожарский на улице той за свободу народа;
Звоп колокольный молчал, а звенели мечи да кольчуги!

Были и смуты в Москве; но народу они не в укору!
Против царей не московский народ, а стрельцы бунтовали!
Там, где Девиный стоит монастырь средь зеленого поля,
Каялась в келье Сусанна за гордость царевны Софии;
Вот он, монахини гроб, примиривший гордыню земную!

Раз лишь ослушалась наша Москва! Не хотелось старушке
Бороды брить сыновьям, дочерей наряжать по-немецки!
Старые люди упрямы! старые кости не гибки!
Стыдно ей было плясать на старости лет в ассамблеях,
Горько ей было, что внуки в Немецкую слободу ездят!

28 июля 1845

СУХАРЕВА БАШНЯ

Что за чудная, право, — эта зеленая башня!
 Высока́ и тонка; а под ней, как подножье, огромный;
 Дом в три жилья, и примкнулось к нему, на откосе, под
 крышей,
 Длинное сбоку крыльцо, как у птицы крыло на отлете!
 Кажется, им вот сейчас и взмахнет! — Да нет!
 тяжеленька!

Сухарев строил ту башню, полковник стрелецкой! —
 Во время
 Бунта стрельцов на юных царей Петра с Иоанном,
 Верен с своим он полком двум братьям-царям оставался.
 Именем верного, в память ему, Петр и прозвал ту башню;
 Старая подпись о том возвещает доньше потомству.

Старый народ, как младенец, любит чудесные сказки!
 Тут, говорят старики, жил колдун-чернокнижник; доньше
 Целы все черные книги его; но закладены в стену!
 Добрые люди, не верьте! — Тут прадеды ваши учились,
 Как по морскому пути громоносные править громады!

Тот же народ прбстодушный любит веселую шутку!
 Есть у него поговорка, что будто Иван наш Великий
 Хочет жениться, и слышно, берет за себя он ту башню!
 Дети в народе простом, не привыкши умом иноземным
 Острые шутки ловить, не натешатся выдумкой этой!

Ныне, когда о народной нужде промышляет наука,
 В этой башне у нас водоем, как озеро в рамках!
 Чистой воды, как хрусталь, бьют ключи, заключенные в
 трубы;

Их издалёка ведет под землю рука человека,
 Литься заставя на пользу, скакать в высоту на потеху!

30 июля 1845

ПОКЛОННАЯ ГОРА

Там, на покатой горе, зеленели когда-то три дуба!
 Хищный орел залетел и, усевшись под теми дубами,
 Взглядом кровавым в добычу впился и готовил уж когти!
 Был бы пир; да спалило грозою могучие крылья,
 Перья ветер разнес, и засыпало зимним их снегом!

Там, за Москвой, на Поклонной горе зеленели те дубы!
 Не орлу с той горы, а пришельцу-вождю легионов
 Наша предстала Москва с золотыми своими верхами;
 И, простершись во всю широту, ожидала безмолвно,
 Жертва смиренная, жертва святая, да суд совершится!

А по полям шли полки, громовые катились орудья;
 Двадцать народов теснились вокруг с знаменами Европы;
 Двигалось все, и несло, и жадно вторгалось; но страшно
 Было идти им вдоль улиц безлюдных, безмолвных

и слушать

В той тишине только топот копыт безподковных их кобей!

Здесь, из-под этих дубов, он смотрел, выжидая посольства,
 Наших сенаторов ждал, и бояр, и сердился, и кликал;
 Только они не пришли, и торжественной не было встречи!
 Правда, Москву в ту же ночь осветили и мы, да пожаром!
 Сильный с тех пор под землей; а природа все вновь
 зеленеет!

О! как любил я смотреть в тишине на эти три дуба!
 В тихом вечернем сиянье они — так мирно стояли!
 Он же, под тению их, озиравший, как демон, святыню,
 Не видал над своей головой, что звезда его гаснет!
 Мрачно сошел он с горы; не сошел он с утеса Елены!

1 августа 1845

ДРЕВНИЕ СТЕНЫ

О! сохраните вы эти священные, древние стены,
 Башни с двуглавым орлом, отовсюду стоящим на страже!
 Дороги Руси они! Их ничем не заменишь народу!

Здания может возвысить рука одного; но преданья
Время творит и народ: их не зиждет рука человека!

Нет! не дадите никак вы колоссам и зданиям славы!
Кто пирамиды воздвиг? — Умолчали Египта преданья!
Славу не власть раздает! — Где совершались деянья
народа,
Где к самой почве земли родовая прикована память,
Там лишь незыблем стоит монумент, говорящий
с потомством!

5 августа 1845

21

ОПОЛЧЕНИЕ 1812 ГОДА

Наши потомки будут завидовать нам, что мы жили
В славный двенадцатый год, что историю видели в лицах!
Дети, надменные дети! тогда не до умников было!
Ваши отцы не словами в те дни за народность стояли!
Нет! а подставили грудь заодно с православным народом!

Плуги в мечи расковав и серпы разогнувши на копыя,
Русские бари серый зипун не из чванства надели:
Нет! он у всех был в почете тогда, как мундир ополченья!
Медный на шапке был крест, знак главы, обреченной
за веру;
Церкви святые хоругви знаменами шли перед ратью!

Помню дни славы и я! — Русь, как море перед бурей
кипела!
Не было фраков тогда и в помине на наших бульварах;
Модных плащей не видать: все мундир да кафтан
ополченья!
Ратники с копьями шли в бородах по большим по дорогам;
Старый да малый в домах: воевали по сёлам и бабы!

Вот вам пародность! — Она не в словах, а на деле явилась!
Мигом открылась: дух русский понял ее и без толков!
Дело не в шапке, друзья; а главное в том, что под шапкой!
Нет! не в кафтане оно; а какую он грудь прикрывает!
Русское сердце забилося — и дрогнуло сердце народов!

Помню тот день я, когда воротилось назад ополчение!
День был прекрасный! — Кремлевская площадь покрылась
рядами
Ратных людей в бородах; привели их вожди их — дворяне!
Отслуживши отчизне, они — шли, как мирные люди,
Вновь по домам приниматься опять за родимую соху!

Помню — на площадь к ним вышел владыка во всем
облачении;
И простер Августин красноречия громкое слово,
Принял хоругви от них, окропил их святою водою
И опять впес в собор храмовые святыя знамена!
Слезы лилися у всех; а на сердце так было свободно!

5 августа 1845

22

БАЛ

Тысячи блещут огней сквозь зеркальные светлые стекла;
Тени голов и головок мелькают сквозь тонкие шторы;
Темная зелень дерев, померанцовых, с цветом душистым,
Кажет по лестнице вход — и разостлан по гладким
ступеням
Англией тканый цветник, и курятся из ваз ароматы!

Дом из старинного заново в вкусе старинном отделан!
Прежде стояли тут кресла, диваны; теперь и названия
Выучить скоро нельзя; а выучишь — снова забудешь!
Утварь в гостиной разбросана так прихотливою модой,
Где ни попало; что точно как будто бы после пожара!

Вот и хозяйки самой кабинет: там вкус возрождения!
Кресло иное глядит, как паук; два другие — змеєю;
В эти садятся пять-шесть человек, все друг к другу спиною;
В эти друг к другу бочком и друг на друга искоса смотрят;
Все зеркала по углам; посредине ступеньки с цветами.

Музыка в зале гремит! фигурно-ученые звуки!
Вихрем поднявшийся Ланперов вальс — мчит летучие
пары!
Вот лавирует кадрили бесконечно на том же все месте;

Полька качается взад и вперед, как на море чайка;
Смотрит густая толпа и задумалась: скоро ли ужин?

Так ли у предков бывало? — Резные дубовые стены;
Лавки покрыты персидским ковром; тяжелые двери
Красной обиты золоченой кожей; и медные гвозди.
В кубках чеканных гостей — со льду меды подавали;
Чашник носил, а хозяин за ним и кланялся в пояс.

Чудные нравы! — Сядут за стол: пироги и похлебки!
Гуси, кури, что с подливкой, что верчено, пряжено,
с луком!

Пол-осетра под рассолом, пол-осетра с огурцами,
Разные сырники, с медом аладья, кисель под шафраном;
Вот и хозяйка выходит сама и потчует водкой!

Как бы потешились деды, увидев, что мы уже ныне
Не по зву барабана, на балы съезжаемся сами!
Только пришли нам билет — и дела, и детей позабудем!
Дочери пляшут; матери в токах драпируют залу;
В карты играют отцы или ходят по зале, как тени!

6 августа 1845

КУПЕЦКАЯ СВАДЬБА

Скачет карета, лак, как стекло, василькового цвета,
Вся в небывалых каких-то гербах, и фигурная бронза;
Серые в яблоках шесть лошадей, щегольские, масть
к масти;

Двое фореиторов встречным визжат; на лакее ливрея;
Рядом с ним малой стоит, и с борами кафтан, и в картузе!

Скачут за ней вереницей коляски и парой пролетки;
Однолошадных ряд длинный потом — извозчицх дрожжек!
Чудно! — Парадный такой экипаж; что же он весь
изукрашен

Так золотисто, цветно и светло! — Что за цуг
генеральской?
Что за поезд за ним? — То скачет купецкая свадьба!

Это последний и лучший — в жизни девической праздник!
Встарь жениха да невесту звали ведь князь да княгиня!
Русские люди привыкли свадьбу праздновать пышно!
Нынче Европа вплелась и в родные обычаи наши:
Это наемный свадебный пуг и под барство подделка!

Прежде, бывало — девишник: девицы, подружки невесты,
Русую косу ей под венец заплетают под песни;
Жалобен звонкий их хор, и безмолвно у ней, как
у жертвы,
Катятся крупные слезы; наслушавшись песен подружек,
Грустно и сладко душе: понаплачется — сердцу и легче!

Нынче француз хладнокровно расчешет шелковую косу,
(Смел бы к девичьей косе тогда басурман прикоснуться!);
Букли завьет и приколет цветок fleur d'orange, где
прилично;
В лайковых белых перчатках, молча, подружки невесты
Шпильки ему подают; а уж свадебных песен не слышно!

Русской народ не отстал от родного заветного чувства!
Свадьба пышна, а грустна; разливанное море, а слезы!
Девине грустно родительский дом покидать и подружек;
Только обычай чужой ей на грусть не дает уж ответа!
С русской душой не сроднится никак чужеродный обычай!

11 августа 1845

25

КАРТЫ

Карты да карты! — Сидят, как в стапках! — Нет! вы их
не браните!
Жизнь коротка, говорят мудрецы; а ведь это неправда!
Нет! жизнь длинна; не найдешь, чем убить бесконечное
время!
Если б не карты, что делать бы с ним и куда бы
деваться?
Жизнь для иных без игры не была ли бы скучная
вечность?

В картах все люди равны: то выгода в свете большая!
В картах все гости умны: не последняя выгода тоже!

В картах все скромны: молчат и лишнего слова не скажут,
Или одни все и те же слова произносят, подумав!
Ежели так, то выходит, что карты — прекрасное дело!

Нет! не люблю их! они собирают одних автоматов;
А разводят людей, что, по мне, нехорошее дело!
Ежели ты человек — у тебя есть и разум, и слово;
Дар благородный творца — мысль и слово творят человека!
Кто же за карты засел, тот отрекся от божьего дара!

Жалко смотреть иногда: соберутся друзья и родные;
Сколько бы можно чувств сердца излить в дружелюбной
беседе!

Сколько бы мыслей раздел круг семейственный сдвинул
теснее!

Нет! — Подавайте столы! — И засядут за них, как чужие!
Чувства живые молчат, пропадают и добрые мысли!

Вспомню я те четверги, на которые нас благородный,
Добрый начальник Москвы приглашал как любителей
слова!

Не было карт у него; а часы пролетали на крыльях!
Сколько тут мнений рождалось при нем откровенных
и смелых!

Сколько читалось звучных стихов в деловом кабинете!

Сладостно вспомнить те вечера! — и сладостна память
Мужа, любимца царей, родового вельможи, который
Бойска в полях предводил, возвеличил Москву и украсил,
Правду в судах охранял, и в свободное время от службы
Слух свой с любовью склонял к благородным поэзии
звукам!

14 августа 1845

ПРЕСНЕНСКИЕ ПРУДЫ

Только что на мост взойдешь, лишь минуешь зеленые
липы,
Справа и слева пруды, как волшебством, откроются взору.
Уж не это ли сказочный мир, где махни лишь шириной, —

И расстелятся вдруг голубые широкие воды,
А вдругорядь махнул,— перекинется мост небывалый!

Кто развернул, разостлал их широкую водную скатерть?
Кем два огромные зеркала чистой воды в золотые
Вставлены рамы прибрежных песков, чтоб в стекло
любовались

Скромная дева, младая луна и веселое солнце,
И задумалась, кудри склонив, белокурая ветла!

Длинные ветви висят шелковистой густой бахромою;
Тень, тишина, и прохлада воды, и прекрасные виды;
Редко кто мимо пройдет; размышленью простор и свобода!
Зелень, лазурь, серебро, а вдали золотятся на солнце
Церкви, дома, колокольни, сады, сокращенные далью!

В день лишь гулянья сюда многолюдный собирается город:
Шляпки всех мод и цветов по прибрежным теснятся
дорожкам,

Хор музыкантов гремит, и лодка плывет расписная,
Ветер вздувает намет и полощет пестреющий флюгер,
И согласные песни гребцов по воде раздаются...

Прежде, я помню, тут клен зеленел, и спускалися ветви
К самой воде; а с другой стороны, как шатер, осеняли
Каменный грот.— Я был юноша; клен уж дряхлел и
давно бы

Вовсе свалился старик; но железом, как муж, опоясал,
Долго стоял богатырь и шумел многолиственным шлемом!

18 августа 1845

ДВОРЦОВЫЙ САД

В день Вознесенья в Дворцовом саду я помню гулянье.
Весь поднимался народ, как птичьей стада или пчелы;
И пустела Москва. И весь год продремавши безмолвно,
Шумной и пестрой толпой оживлялись густые аллеи,
И над чашей широкой прудов воскресали фонтаны!

Много с тех пор, как в Париж мы сходили
с учтивым визитом,
Много с тех пор изменилось в обычаях наших и правах!
Прежде, бывало, народ не толкался еще с господами:
Помню, и в этом саду и купцы, и купчихи, бывало,
Чинно, рядом, по сторонкам аллей на гуляющих смотрят!

Худо ли это иль нет! — Друг свободы поэт, не неволи!
Только я после другое видал: тут уж купчики-франты
Ходят, руками сплетаясь, пять-шесть человек вереницей;
Загородят аллею — и нет гуляющим ходу!
Воля на пользу, когда от нее и другому не тесно!

Эти столетние липы, широко-тенистые липы,
Видели Анны и Бирона черное время и помнят
Елизаветы век золотой! — Под прохладной их тенью,
В шитых придворных кафтанах, блистая огромной звездой,
Важно ходили, быть может, вельможи прошедшего века!

25 августа 1845

28

ПАРК

Вот он, наш город в зеленом саду! — По широким аллеям
Вычурных, светлых, красивых домов живописные группы;
Двери стеклянные настезь; пред ними террасы с цветами;
Ходят, сидят на балконах довольные, ясные лица;
Бегают дети вокруг; что за мир простоты и свободы!

Это Петровский наш парк и веселые летние дачи!
Быстро летят вдоль аллей один за другим экипажи,
Скачут отважно верхом, развеяв вуалями, дамы;
Музыка в окна слышна: и звук арфы и голоса пенье!
Видно, здесь летняя жизнь весела: и Москва позабыта!

В этом же парке есть место одно, где старинные липы
Луг осеняют кругом, и в жары прохлаждаемый тенью!
Этот луг любит народ: тут всегда на столах самовары,
Всякий день много гостей; тут купцы и мещане с семьями,
Сидя кружками, пьют чай, и пестреет нарядами зелень!

Весело смотрит на них наш Петровский готический замок!
Круглые башни, витые трубы, остросводные окна,
Белого камня резные столбы, темно-красные стены!
В темной, густой и широкой зелени сосен старинных
Весел и важен он, дед между внучат младых и веселых!

В этот-то замок бежал второпях из Москвы истребитель,
Ночью, как море огня логовище его охватило!
Тут из окна он глядел, как оно волновалось, кипело,
Жгло и палило, треща, чтоб и камень очистить подножный,
Где он ступал! — Тут впервые бесстрашного
сердце дрожало!

Темная ночь та была! — Беззвездны осенние ночи!
Небо черцелось кругом, лишь зарево сверху зияло;
Только в Москве от огня колокольни и церкви белели;
Черный дым поднимался над ней, как крылья змея,
И вились огня языки, и сыпались искры!

Адская ночь миновала! — Вот всходит приветливый
месяц —
Там озаряет главы он церквей и кресты золотые,
Здесь серебрят он листья и дрожит на кудрявых вершинах!
Мирно тот замок стоит, и спокойны веселые дачи,
Мирен в них сон до утра, и на радость восходит нам
солнце!

21 октября 1845

СЛУШАТЕЛИ ПОЭТА

Слышал я строгих судей, как поэзии — девы небесной
Стройный внимая напев, отголосок нездешнего мира,
Мира, где все красота, где все жизнь и все звук, и все
образ —
Важно открыли они, что на слове не тут ударенье!
Так для этого слушали вы? я подумал, качнув головою!

Жалкие люди! — А он, отверзая поэзии небо,
Думал и вас унести за собой на крылах вдохновенья!
Думал похитить у вас в благодарность сочувствия радость!

Вы же, тяжелые души, не тронулись с места, и только
Уши заметили звук! — Вот и вся вдохновенно настрада!

Что-то есть странное в нас! — Предлагает ли жизнь иль
искусство

Нашему духу восторг, или люди нас праздником тешат —
Мы наслаждение прочь; а отыщем сперва недостатки!
Все Европа у нас на уме! — Как приезжий в столице,
Все мы боимся, чтоб нам не за невидаль что показалось!

26 ноября 1845

30

ЯЗЫК ПОЭЗИИ

Странная мысль мне пришла! — Первобытный язык
человека

Не был ли мерный язык, обретенный поэтами снова?
Как он естествен и жив! Он не то, что ленивая проза!
Все в нем слова — как лады; речь — как полная звуков
октава!

В прозе — оратая труд; а в поэзии — сила атлета!

Страшно становится мне, как подумаю: сколько
несчастных,

Тонкого слуха и ясных очей лишены, неспособны
Вся жизнь приять, животворных сил духа изведать!
Грубая речь для потребностей дня лишь — их слух

отверзает;
Грубый житейский лишь быт — устремляет их жадные
очи!

Низко упал тот народ, где поэтам высоким не внемлют!
Ниже еще, где они не являются более миру!
Там, где в пареде немом замолчало высокое слово,
Там невозможны — высокий полет, ни великая жертва!
В зареве нашей Москвы — цел во стане певец
вдохновенный!

30 ноября 1845

МАЛЕНЬКИЙ ВЕЧЕР

Маленький вечер; все гости из лучшего круга столицы!..
 Чисто, душисто, светло; все нарядной блестит простотою;
 Вечная зелень плюща сквозь решеток сквозит арабеском;
 Нет принужденья: француз с бородой развалился на
 креслах;

Дама одна подала мне рукою небрежной папирос.

Дамы щебечут, как птицы: лишь звуки, а мыслей не слышно!

Токов цветные концы — висят, как хвосты попугаев!
 Живчик какой-то прыг-прыг, как снегирь! — Я забылся с
 минуту:

Точно я в птичник попал! — Мне почудилось, это какой-то
 Мир фантастический, сон! — И я в первый раз Гофмана
 понял!

7 декабря 1845

КУПЦЫ В РОЩЕ

Что за народ! — Без еды и без чванства им нет и гулянья!

В рощу поедут — везут пироги, самовар и варенье!

Ходят — жуют; поприсядут — покушают снова!

Точно природа из всех им даров отпустила лишь брюхо,

Не для них сотворив и поля, и пернатые хоры!

Мало им этих высоких шатров, и лазури, и листьев!

Мало лесов, и полей, тишины и цветов ароматных!

Нужно еще, чтоб гремел тут затянутых хор музыкантов;

Чтоб разнощиков крик потешал их позыв на еду
 ненасытный;

Чтобы дым самоваров, сигар заражал и природу!

Мало их крику в рядах, где корысть, день-деньской,

надседааясь,

Хвалит гнилой их товар, зазывая в их темные лавки;

Мало им сырости, тьмы, и морозу, и чаю вприкуску;
Мало трактирной возни, духоты и визгливых органов:
Нет! и природу б еще на купеческий лад переделать!

О! ты прекрасна, природа, тому, кто умеет с тобою
Тихо беседовать, слушая голос твой, нежная матерь!
Ты приготовила нам и душистую зелень, и хоры
Птичек, свободных певцов, музыкантов, без платы поющих!
Буду их слушать! уйду! — Прохлаждайтесь себе на
здоровье!

16 января 1846

МОСКВА-РЕКА

Рек судоходных в Москве не найдешь; через бедную реку
В летнюю пору у нас — и куры вброд переходят!
Встарь через этот же брод пробирались к нам злые
татары:

Крымским бродом то место зовется у нас и доньше.
Нет у нас быстрых судов, и выпелов ветер не полощет!

Но лишь только свой белый ковер зима разостелет,
И, как лебедь, омытый в водах, Русь заблещет на солнце;
Только земля, как красotka села, прирядившись к обедне,
Взденет на пестрый наряд свою белую новую шубу:
Вот и потянутся с русским добром к нам отсюду обозы!

Если б с какой высоты, хоть с Ивана Великого, бросить
Взгляд по заставам: ко всем протянулись их нити живые;
Улицы все вперекрест шевелятся живою их сетью;
Площади, рынки народом кишат, как в лесу муравейник;
Русь навезет к нам добра, а Москва угостит и раскупит!

Вот, посмотрите, летят, как степные сленни, наудачу
В сотнях сапей без вожжей и, продав и на радости выпив!
Что за русской народ удалой! Жизнь копейка — и полно!
На вот! пробейся насквозь, да попробуй отбить друг от
друга!

Руси враги! каково, как штыками их строй-приударит!

Февраль 1846

ГРУСТНАЯ МЫСЛЬ

Если б куда от Москвы я судьбой был заброшен далеко,
 В пышный ли город, где флаги чужих кораблей развевают,
 В тихий ли даже приют, где густые зеленые рощи,
 Смолоду шумом своим наводили мне сладкую думу:
 Всюду я стал бы грустить, и везде бы я был, как
в чужбине!

Как Овидий в изгнание о Риме грустил, стал и я бы
 Всюду о северном Риме моем тосковать, как изгнанник;
 Видя, что не с кем мне мысль разделить, я скажу, как
Овидий:
 «Варвар здесь я, не они; все они разумеют друг друга,
 Я лишь один говорю языком для других непонятным!»
23 марта 1846

МОЛВА И СПЛЕТНИ

Добрая наша Москва! говорят, что на старости любишь
 Сплетни ты слушать, молву распускать; что от нечего
делать
 Судишь и рьядишь ты все — между тем, как твой юный
сонерник
 Властью и юностью горд, разговаривать много не любит!
 Да и некогда время терять: озабочен он делом!
 Нет! то уж время прошло, и молва от тебя не исходит!
 Нет! ты на старости любишь — только спросить да
послушать;
 Головой покачать, да вздохнуть, да сквозь слез
улыбнуться!
 Нет! ты не любишь судить: лишь в семейном отечества
деле
 Голос ты свой подаешь; а Москвы отголосок — Россия!
Апрель 1846

В ПАМЯТЬ к. И. М. Д.

Здесь он, бывало, сидел перед домом на ветхой террасе,
 Глядя с унынием вдаль, на кладбище Фили за Москвою.
 Мы, молодежь, вокруг него хохотали, шумели, играли;
 Он не мешал, но с улыбкой и шуткой вступал в разговоры!
 Думал о смерти; а жизни был рад, как осеннему солнцу!

Жизни был рад; а о смерти мечтал! — Так рад гость
 угощению;
 А задумавшись, вспомнит подчас, что пора восвояси!
 Но для нас мысль о смерти была далека — в
 беспредельном,
 Новом пространстве пути, озаряемом юности утром,
 Солнцем весенним любви! — И дивились мы чудному
 старцу!

Так! мы дивились ему, что он юношам духом ровесник,
 Что шутливую лиру спускал он на грустные тоны;
 Что, гоимый людьми, он, как братьев, любил человекoв;
 Что изменчивость мира познав, он привязан был к миру;
 Что он к жизни любовь сочетал с равнодушием к смерти!

Нет! он не там положен средь зеленых берез под Филиями!
 Он положен меж своих, меж потомков князей знаменитых!
 А не он ли, поэт, завещал, чтобы вместе со всеми
 Бренный состав и его — истлевал на народном кладбище,
 Нас поучая, что смерть — возвратит прав природных
 равенство!

Где же вся эта семья, столь радушная к юности нашей?
 Холодом смерти и ветром судьбы разбросало их розно!
 Дом их валится давно, двор заглох под густою крапивой,
 И дорога к крыльцу заросла неприветной травой,
 И давно мы, давно в сениах, молодые их гости!

5 июня 1846

НОВИНСКОЕ

Праздник идет чередом! Под Новинским кипит уж
гулянье!
Новый возник городок, азиатский, красивый, цветистый!
Музыка, скачка, паяцы, качели; все весело, шумно,
Живо, нарядно, пестро; вереница людей; между ними
Молча купцы и купчихи тянутся мимо, как тени!

Ну, а что же народ, который назвал наш Державин
Бодрственным русским народом, хранящим отечески
нравы?
То же, что был и при Несторе! — «Руси веселие пити!»
Прав наш великий поэт; но не лжив же и инок правдивый!
О! искустелен круглый шатер с символической елкой!

28 июня 1846

БАВИЛОНСКИЕ ПРАВЫ

Книжник какой-то сказал, что у нас вавилонские нравы!
Бог с ним! Ему лишь бы хлеба кусок: он от голода лает!
Нет! Вавилон не у нас; Вавилон был богат и развратен;
Он поклонялся мамоне; сады он висячие строил:
Наша же почва крепка; а на ней почивает святыня!

Други! не верьте тем людям, которые юношей учат
Прадедов память не чтить, над минувшим безумно
глумиться,
С корнем былое, свое вырывать, насаждая чужое!
Это несчастные! некого чтить им и некого помнить;
Предков и рода не знали они и семьи не укажут!

13 августа 1846

К ЕВРОПЕЙЦАМ

Что вы Европой нам колете глаз? — Мы не прочь от Европы!
 Дайте Европу нам! — Что ж! мы с Петра не чужие Европе!
 Мы не отстанем от ней: как она же, мы почву родную
 Взроем с веселым трудом; семена сбереженные бросим;
 Не придет ли она — и у нас от плодов поживиться!

Мы от Европы не прочь! — Но какая ж то жизнь европейца
 В рабстве у чуждых голов, чужого ума набираться?
 И в Европе народ на народ не похож; так с каким же
 Сходны хотите вы быть? — Где народ европейцев? — Есть немец,
 Есть англичанин, француз; между ними пусть будет и русский!

23 октября 1846

УГОЩЕНИЕ

Светский наш круг одинаков везде, и в Москве, как повсюду:
 Вежливость, равный прием, и живой разговор без участия;
 Общий беседы предмет, ни душе, ни семейству не близкий;
 Тонкая гордость, которая ждет, а не требует дани;
 Скука, довольная всем, и улыбка, как зимнее солнце!

Если хотите узнать вы московскую семью — ищите
 Среднего круга людей, где в довольстве довольны собою,
 Там вы найдете еще две народные наши отлики,
 Вместе живущие в русской душе: и радушие, и чванство!
 Там-то и вас от души угостят, и себя вам покажут!

Праздник на лицах у всех, от господ и до самых лакеев!
 Целый дом впопыхах; так и видно, что праздник — не будни!

В новом кафтане слуга впереди, а в изношенном сзади;
Но и задний себя прирядил, хоть манишкой с пунцовой
подкладкой!
Суета и парад, и заметно, что счастливы бари!

Там не припрячут детей, а нарядят и к гостю подводят!
Даже ребенок грудной не уронит дворянского чина:
Пышно одетая, кровь с молоком, и в кисейной сорочке,
Мимо гостей, по-домашнему, вдоль по гостиной и зале,
С барским дитятей кормилица ходит, как гордая пава!

Если считают еще вас ученым они человеком,
То есть выдавшим чужие края или много читавшим
Книг на чужих языках, то и важные речи заводят:
Или о страусе-птице вопрос, например, вам предложат;
Или о том, от чего все французы ученые люди!

Скушно вам было у них; но зато как семья вся счастлива!
Вот, проводив вас, они соберутся все в кучку и долго,
Долго еще рассуждают о том, как вы были довольны!
Кто позаботится в нашем кругу обласкать, осчастливить?
Да кого осчастливим и мы, да и чем осчастливить!

5 января 1847.

ЧИНОВНИКИ

Мы всегда различим москвича с петербургским приезжим!
Наш, как русский, смышлен, а кафтан и душа нараспашку;
Тот во всем формалист, и в мундирном застегнутом фраке!
Наш не прочь угощать, хоть и сам угощение любит:
Дело взаимное; тот норовит свысока потранжирить!

Здешний — уж верно одет не по форме; никак не утерпит!
В форменном фраке; а пестрый жилет да фуляр
разноцветный!
Тот — он позволит себе заграничную разве булавку,
Да цепочку к часам, потому что так носит директор!
И глядит свысока: «Вот приеду-де к вам ревизором!»

Наш — как бы сблизиться с ним; тот себе на уме. Наш
московский
 Хвастает тройкой саврасых; а тот — мамзелью Тальони!
 Он записки читал д'Абрантес, Цветобесие видел;
 Наш — лишь Деянья Петра прочитал том за томом
когда-то:
 В просвещение отстал далекó; поневоле уступит!

Наш на службе готов просидеть хоть две ночи за делом;
 Но свободный часок: позабыл о делах и о службе!
 Этот — чиновником смотрит всегда и везде — как мопета,
 В божьем ли храме, в театре ль, на дне ль кошелька
позабыта,
 Вечно казенный свой штампель хранит, означающий цену!
 6 января 1847

48

МАРЬИНА РОЩА

В Марьиной роще, где нынче гулянье, тут было кладбище:
 Тут чужеземцы лежат, и видны могильные камни.
 Надписи стерты давно; а на них православный пирует,
 Не заботясь, чей сон он разгульною песнию будит,
 • Ганса ли, Книпса тревожит он слух, Тавернье иль
Лефорта!

Немцы же, слыша сквозь сон и песни и клики цыганок,
 Лежа в потемках, ворчат и выводят свои заключенья!
 В полночь и можно бы встать мертвецам, посмотреть да
разведать;
 Но далёко за полночь гуляет народ! — И выводят
 Важные немцы в потемках — бог знает что, а priori!
 1847.

49

РАЗНЫЕ ВКУСЫ

Всякий имеет свой вкус, и о вкусах нам спорить не должно!
 Я вот люблю стихотворство; а дельные люди не любят!
 Вы что любите, друг мой? — «Французскую прозу!» — А вы
что?

«Вечно быть в позе и ждать уваженья Европы!» —
Конечно,
Можно немножко устать; но спорить о вкусах не должно!

Вам, извините, заметил я, правятся больше поклоны;
Правда ли? — «Да-с! Вообще я люблю в человечестве
гибкость!»

Вы, мой почтенный! — Славянство с немецкой
приправой? — Не так ли?
— «Так!» — Ну, а вы? — «Я, как вы же, стихи, да свои,
не чужие!»
Вот, что умно, так умно: тут соперников вам уж не будет!

Спорить о вкусах не должно! — Кто любит кров тихий,
домашний;
Кто публичную жизнь, шум и блеск, деловую тревогу;
Кто деревню, кто чуждых земель и искусства, и солнце!
Мы же все любим родную Москву! — Что мы в ней
полюбили?
Все: и людей, и обычай, и стены, и камни, и гробы!

1847.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Так появились мне и, как в зеркале, в памяти верной
Образы нашей Москвы и светло, и темно отражались!
Так возникали в очах — старинные, новые люди,
Зданья, обычаи, быт, старина, повизна и преданья —
Быстро мелькали, и плавно неслись, и вдали исчезали!

Сердце забилося любовью к Москве и, полное чувством,
Тихим потоком лиясь, изливалось свободно наружу!
Часто блистало в струях благодатное, ясное солнце;
Часто с полночных небес и на них облака находили!
Вам — песнь моя, москвичи! и поклон мой вам, добрые
люди!

Нет! не выходит от нас ни поверьев, ни мод чужеземных!
Мы не бежим за чужим, а свое сохраняем народу!
Слава у нас не громка и для почестей путь не широкий;
Злата родник не у нас; но ведется в нас старый обычай:
«Рады, чем бог ни послал», и радушное «милости просим!».

Сентябрь 1845



В ПАМЯТЬ Н. М. ЯЗЫКОВУ

Скончавшемуся 26 декабря 1846 г.

Умолк поэт живых созвучий,
Певец разгульных юных дней!
Из стаи Пушкина певучей
Вспорхнул последний соловей!

А как любил он, голосистый,
Петь нашей родины поля,
Приволжских рощ патер тенистый
И славу гордую Кремля!

Последней песнью полнозвучной
Воззвал он тень Карамзина,
И птиц ночных сквозь крик докучный
Пробилась звонкая она!

Досаден был вам, дети ночи,
Его и голос и полет!
Вот он умолк, сомкнувши очи!
Довольны ль вы? — он не поет!

Но вы кропите дружбы слезы,
Поэта вечные цветы,
Неувядаемые розы
Певца любви и красоты!

27 декабря 1846. Москва

МОСКВА

*28 марта 1847 года,
в день ее семисотлетия*

Процветай, царей столица,
Матерь русских городов,
Слова русского царица
И уставщица умов!

Есть ли град с тобою равный?
Есть один, и стар и сед:
То наш Киев православный,
Где возник нам веры свет!

Старец, некогда могучий,
На горах своих княжил,
Днепр лады его летучи
До чужих морей посыл;

Но и он главой державной
Поклонился, уступил
Многохрамной, православной
Собирательнице сил!

Сохранив одну святыню
И сложив венец князей,
Он признал в ней господиню
Над седипою своей!

И любитесь он славой,
Восседающей на холмах,
Величавой, златоглавой,
В многих царственных венцах!

Там, где бор дремучий, дикий
Песнь отшельника внимал,
Белокаменный, великий,
Вырос Кремль и засиял!

И рядилась младая,
Величавая Москва,
Стены, башни убирая
Дивных зодчеств в кружева!

И стекались, рать за ратью,
Многих княжеств знамена,
И своею благодатью
Осенила их она!

Новград, с золотом полсвета,
Ей припес свободу в дань,
И рабыня Магомета
Пала в ноги ей, Казань!

И Урал ей отпер горы,
И Сибирь златое дно;
Русь, забыв семейны споры,
Зажила с ней заодно!

Здесь Россия! — С ней страдала
В годы тяжкие Москва;
С ней она и восставала
К торжеству от торжества!

С ней делила скорбь и горе,
И на брань звала сынов
В дни, когда народов море
Выступало из берегов!

С края царства и до края
Голос славы и молвы:
Русь родная! Русь святая!
Краше нет твоей Москвы!

Вот промчались семь столетий
Над святой ее главой!
Соберитесь, Руси дети,
Поздороваться с Москвой!

Многи веки ей, державной!
Будь богата и славна!
И поклон ей, православной:
Имениница она!

3 февраля 1847 г. Москва

НАШИМ ПОРИЦАТЕЛЯМ

Вы дивитесь, что мы славим
Нашу древнюю Москву,
Что высоко в песнях ставим
Царства русского главу!

Прежде нас поэты жили,
Выше был их песен дар:
Не Москве ли посвятили
И они восторга жар?

Дайте город нам преданий,
Дайте город нам другой,
Где завет воспоминаний
Был бы голос вековой!

Духа русского твердыня,
В смутах, в пламени жива,
Веры, древности святыня,
Где другая есть Москва?

1847

ПОДВОДНЫЙ ГОРОД

Идиллия

Море ропщет, море стоит!
Чуть поднимется волна,
Чуть пологий берег тронет,—
С стоном прочь бежит она!

Море плачет; берег песчаный
Одинок, печален, дик;
Небо тускло; сквозь туманы
Всходит бледен солнца лик.

Молча на воду спускает
Лодку ветхую рыбак,
Мальчик сети расстилает,
Глядя молча в дальний мрак! —

И задумался он, глядя,
И взяла его тоска:
«Что так море стонет, дядя?»
Он спросил у рыбака.

«Видишь шпиль? Как нас с погодку
Закачало с год тому,
Помнишь ты, как нашу лодку
Привязали мы к нему?..

Тут был город всем привольный
И над всеми господин,
Нынче шпиль от колокольни
Виден из моря один.

Город, слышно, был богатыи
И нарядный, как жених;
Да себе копил он злато,
А с сумой пускал других!

Богатырь его построил;
Топь костями он забутил,
Только с богом как ни спорил,
Бог его перемудрил!

В наше море в стары годы,
Говорят, текла река,
И сперла гранитом воды
Богатырская рука!

Но подула буря с моря,
И назад пошла их рать,
Волн морских не переспоря,
Человеку вымещать!

Всё за то, что прочих братьей
Брат богатый позабыл,
Ни молитв их, ни проклятий
Он не слушал, ел да пил,—

Оттого порою стонет
Моря темная волна;
Чуть пологий берег тронет —
С стоном прочь бежит она!»

Мальчик слушал, робко глядя,
Страшно делалось ему:
«А какое ж имя, дядя,
Было городу тому?»

«Имя было? Да чужое,
Позабывтое давно,
Оттого что не родное —
И не памятно оно».

1847.

ЗА ВСЕ БЛАГОДАРЮ Я БОГА

За все благодарю я Бога!
Теперь судья мне он один!
Везде мне скатертью дорога
И сам себе я господин!

Свободен, волен я, как птица!
Хочу — со мной мои друзья,
И тот же угол даст столица;
Хочу — лечу в мои поля!

Свободен я; но не свободны
Враги добра, враги мои:
Их точит втайне червь голодный,
Грызут их зависти змеи!

Доволен я, но недовольны
Рабы, копавшие мне ров:
Они в цепях; они не вольны
Снять золотых своих оков!

Я долг отчизне неоплатный
До лепты честно заплатил,
И не дрожал мой голос внятный,
Когда я правду говорил!

Ее был страж, пока был нужен;
Не нужен — мирно отхожу,
И с честью, с совестью дружен,
Семье и богу послужу!

Семь лет хранителем закона,
По сторонам я не глядел:
Я был для многих оборона;
В борьбе ни с кем я не робел!

Явитесь все! — Кому в защите,
Кому я в правде отказал?..
И громко, смело говорите:
Кого я сильным предавал?

Кто тщетно ждал перед дверями?
К кому я слуха не склонил?
И кто, входя ко мне с слезами,
С отрадой прочь не отходил?

Я голодал, не спал я ночи,
Следя все ябеды узлы,
За тем, чтоб вы сомкнули очи
И правде воздали хвалы!

Меня за вас следила злоба!
Не вынес мзды я никакой!
Лишь честь моя со мной до гроба;
Лишь совесть я возьму с собой!

1847. Москва

* * *

Как пернатые рассвета
Ждут, чтоб песни пачинать,
Так и ты в руках поэта,
Лира — песен благодать!
Ты безмолвствуешь, доколе
Мрак и холод на земле,
Любишь песни ты на воле,
В свете солища, не во мгле!

«Что вы песен не поете?» —
Вопрошает Вавилон.
«Как нам петь? Вы нас гнетете,
Ваша воля — нам закон!

Где у нас скрижалъ Сиона,
Богом писанный глагол?
Песен нет, где нет закона,
Где единый произвол!»

1848

ДОРОГА

1

Страна, где нет седых развалин,
Где мшистых памятников нет!
Без вдохновенья и печален
Проходит даль твою поэт!

В тебе не разрушало время,
Не созидал за веком век!
Едва сойдет в могилу племя,
Придет — сломает человек!

Твои безмолвные курганы
Одни о чем-то говорят!
Но чьи тут кости? чьи же раны
Точили кровь? — Они молчат!

Страна безмолвная! ужели
Ты веки мирно проспала!
О нет! в тебе мечи звенели!
Нет! ты страдала — ты жила!

Но может быть, всегда молодая,
Ты возрождением цветешь,
И дедов след с землей равняя,
Для внуков почву бережешь!

14 января 1848. Село Богородское

2

Вот сотни верст проехал я!
Со мной была моя семья;
А грустно было мне и скучно!
Как пусто все и как бездушно!

Кой-где пригорок, кой-где лес;
А больше степь, да свод небес!
Да тянется однообразно
Деревня с улицею грязной!

На пашне соху тащит лень,
Валя колоду через пепь.
Навоза кучи средь селенья —
А нивы просят удобренья!

Проехал я и города!
Во всяком то же: дом суда,
Собор, базар, да дом питейный!
Все зданья очень незатейны!

Везде одно! — И я зевнул!
Потом подумал да вздохнул!
Вздохнул о предках, о потомках,
О европейских наших ломках!

Марта 1848

3

С полверсты в стороне от дороги
Зеленеет кудрявый лесок,
И бежит сквозь овражек отлогий,
Между камней журча, ручеек.

Там над свежей пустынной струею,
Где часовня стоит под леском,
Встрепенулся я, странник, душою
И склонился в молитве челом:

«Матерь Божия! в лета надежды,
Путник жизни еще молодой,
Приходил я сюда же, и вежды
Орошал умиленья слезой!

Я молился, чтоб день благодатный
Осенил мой любимый цветок;
Но взяла ты цветок ароматный
И вплела в свой небесный венок!

Молодая душа отстрадала,
Закатались те красные дни!
Ты другую мне долю послала;
Ты ее мне теперь сохрани!

Сохрани ты мне этих невинных!
Их суровый мой жребий увлек,
И за мною в дорогах пустынных
Мчит, как сорванный ветром листок!»

18 марта 1848

4

По той же дороге, бывало,
Я юношей бодрым ездил;
Там счастье меня ожидало:
Там с милой свиданья я ждал!

Почтовые кони скакали,
Дуги колокольчик звенел,
Пригорки, леса отставали;
А сердцем вперед я летел!

Давно мне с тех пор по дорогам
Молчал колокольчик живой!
Я еду к заботам, тревогам;
А сердце все бьется Москвой!

Та юность — беспечное время,
Стрелой пролетело оно;
Та жизнь понагнулась под бремя,
Та милая в гробе давно!

И встречу прием я холодный
Людей, не привыкших ко мне,
На родипе странник безродный,
Чужой на своей стороне!

2 марта 1848

5

Вот показался лес с горою;
Вот колокольни шпиль и крест;

Вот дом, где с тихою семьею
Я жил средь диких ртих мест!

Смотрю и думаю: «Так это
Покинул юноша с тоской?
Теперь еще тепло и лето:
А каково-то здесь зимой!»

1848. Село Богородское

МИР ВСЕМ

Мир далекому от нас
Брату на чужбине,
До кого наш дружный глас
Не доходит ныне;
Кто ни радостей, ни слез
Наших не разделит,
Под шатром чужих небес
Одр холодный стелет!

Мир несчастному, кого
Мир за правду гонит!
Осени он и того,
Кто в сомненьи топчет;
Взор его да просветит
Кроткое сиянье,
Дух его да освежит
Истины дыханье!

Мужу строгой чести — мир,
Кто к добру стремится
И; презрев счастливых пир,
Сильных не боится;
Падшим руку подает,
Злобы сон тревожит,
Состраданья слезы льет,
Где помочь не может!

Мир тому, кто не слыхал
От людей привета,
Кто цветов любви не рвал,
Шел чужой для света;

Для кого мир целый пуст,
Жизнь — одно изгнание;
Мир ему и жарких уст
Первое лобзание!

Благодать и мир семье,
Где, в пути согласны,
На одной плывут ладье
В бурю, в день ненастный;
Где нет места шутке злой,
Пересудам вредным,
Где остаток скудный свой
Уделяют бедным!

Мир — чья жизнь, как ночь, темна
У нужды в неволе,
Кто бросает семена
На чужое поле!
Мир плывущим по морям,
Мир и чадам брани!
Месть задумавшим врагам
Мир, с пожатыем длани!

Но тебе изречь ли мир,
Темный дух гордыни,
Правоты своей кумир,
Бог своей пустыни,
Милосердием закон
Брату не смягчавший!
И души болящей стон
Глухо отвергавший!

О! когда б и над тобой
Дух любви повеял
Благодатной теплотой
И туман рассеял!
О! когда бы мир смягчил
Хлад жестокосердья,
И познал ты в Боге сил
Бога милосердья!

Мир убитому судьбой
Сыну заблужденья!
Встретить и он в семье людской
Праздник примиренья!

Да престанет укорять
Память, как свидетель,
И да вкусит он опять
С миром — добродетель!

Будь покоем осепен
Мужу — путь деяний!
Колыбели — мирный сон;
Сон — одру страданий!
Мир отшедшему к отцам
Из страны терпенья;
Мир в земле его костям,
Духу — воскресенье!

Мир и граду, и стране,
Церкви, людям, миру,
Высоте и глубине,
Морю и эфиру!
Мир и властным, и рабам!
Пойте, человеки:
Мир земле и небесам
Ныне и вовеки!

*5 февраля 1848.
Село Богородское*



ДЕРЕВЕНСКИЕ ЭЛЕГИИ

I

Чего желал бы я теперь, мои друзья!
Не смейтесь! — Например, желал бы очень я,
Надев мой черный фрак красивого покрою,
Сказать: «Карету!», сесть, проехать мостовую,
Между двойных рядов блестящих фонарей,
Войти в гостиную, где целый рой гостей
Хозяйку окружил, сидящую за чаем;
Где зелень и цветы и в зиму дышат Масм;
Где в каждом уголку душисто и светло;
Где бронза и фарфор; паркет, как стекло!
На вычурных столах роскошные издания;
И где сквозь гул речей, и смех, и восклицанья
Услышишь Байрона и Гете имена;
Где все замолкнет вдруг, и в тишине слышна
Речь звучная чтеца, песнь новая поэта,
И снова гул речей, блестящий говор света!
Вам это нипочем! — Придет зимы пора,
И придут в свой черед, как прежде, вечера,
И может быть, как мне к концу зимы, бывало,
Они наскучат вам! — Вам этой жизни мало!
А не хотите ли попробовать моей?
Избави боже нас, в певинности своей,
Жить этой сельскою хваленной простотою,
Жить этой жизнью, заботливо-пустою,
Жить идиллически — без сердца и ума!
Вот — ляжет в саване безмолвная зима
И спит! — И жизнь заснет! — лишь вздох невольной груди
Вопросит иногда: «где я?.. где эти люди,
И этот мысли лоск, и этот мнений шум,
Где все на что-нибудь — талант, душа и ум!»

29 октября 1848. Село Богородское

II

Когда за скучным днём ночь тихая приходит
И благодатный сон видений мир низводит,
Желал бы и во сне я видеть — все Москву,
И вас, кого всегда в мечтах моих зову,
Чтоб на две жизнь моя делилась половины:
Пусть днем бы был в глазах край дикий и пустынный,
А ночь, виденьями любимыми полна,
Была бы и Москве и вам посвящена!
О! я доволен бы вставал опять на скуку,
Чтоб снова подавать во сне вам дружбы руку,
Чтоб видеть всякий раз желанную Москву!
Не все ли жить равно — во сне иль наяву?
Прекрасный сон, когда желанным дышит раем,
Не лучше ль истины, с которой мы скучаем?..

5 ноября 1848. Село Богородское

III

Сад снегом занесло; метелица и вьюга!
И это всякий день! — Нет мыслящего друга;
Кому мне передать со скукою борьбу?
Ветр воет и свистит в каминную трубу!
Читаю и пишу все утро до обеда;
Но с книгами, с пером — безмолвная беседа!
Мне пужен разговор; его-то здесь и нет!
В двенадцати верстах от нас живет сосед,
Забытый человек которого-то века!
Поехал — посмотреть живого человека!
К нему — проезду нет! Снег по грудь лошадям;
В ухабах — пропадешь; как по морским волнам
Кидает каждый миг ныряющие сани!
«Пошел пазад!» — А там, подалее к Сызрани,
Где верст пятнадцать степь в длину и в ширину,
Обоз и спутники, в ночь вьюжную одну,
Дорогу, как в степях Сагары, потеряли,
Увязли и в снегу рассвета ожидали!
Той ночью волк поел у мельницы гусей,
А пыпче на мосту перепугал людей!
Вот наши новости! — О людях уж ни слова!
Подкатится к крыльцу вдруг тройка станového!
«О! чтоб его совсем! — Поставьте самовар;

Да рому!» — Вот чем здесь поддерживают жар
И тела, и души! — О родина святая!
Чье сердце не дрожит, тебя благословляя!

9 февраля 1849. Село Богородское

VI

Ночь с вечера была морозна и ясна!
Вот стала в высоте и полная луна;
Снег яркий отливал ночью синевою,
И тени, черною и длинной полоссю,
Легли от двух церквей, белеющих вдали.
Вдруг с севера заря! — и по небу пошли
Кровавые столбы! — согнулись дугами,
Рассыпались в лучах потешными огнями,
Слились и вспыхнули! — Поверье, что к войне!
Я вышел на балкон; но грустно стало мне!
Огни погашены; село давно уж дремлет;
Безжизненная глушь! — Однообразно внемлет
Мой слух голодный лай собак сторожевых,
Да караульный звон! — Но вот и он затих!
Один кричит в саду неугомонный филин!
Все спит! — Как ночь светла! — Мороз, однако, силен!..

31 марта 1849

VII

И почта не пришла! — Жду писем от детей;
Жду вести, может быть, от вас, моих друзей;
Жду голоса Москвы, с издетства мной любимой,
Где незаметно дни мои промчались мимо,
Как говорят в стихах, до серебряных влосов!
Вот и на мне уже лежит печать годов;
А больше горестей! — Я пережил немало;
Но сердце под грозой мое не увядало,
Но дух под бурями сберегся свеж и юн,
Но дар веселости и непритворных струн,
Но в дружбе живость чувств, в беседе мыслей живость:
Вот чем я побеждал судьбы несправедливость!
За пих-то здесь боюсь: страшна мне старость их!
Привычку покорить лишь в летах молодых
Легко; но гибкость их давно мне изменила!

Мне вестъ с Москвы была — живительная сила!
А почта не пришла! — То слякоть, то снега;
Весной — разливы рек; зимой — степей вьюга!
Бог знает, правда ли! — Мы здесь среди природы
Живем, забытые; ждем у моря погоды!

2 апреля 1849. Село Богородское

VIII

Мне кажется, когда здесь люди в первый раз
Явились на житье, и дичь им поддалась,
И начали леса редеть под топорами,
И стали жить они с медведями, с волками,
Тревога страшная должна произойти
У прежних жителей: куда от них уйти!
Но вскоре все меж них уладилось дружно!
Тут доказательства, мне кажется, не нужно!
С аборигенами пришельцев новый род
Слился в одно: теперь никто не узнает,
Который новый род, который самый древний!
Волк тутошный придет и ходит вдоль деревни!
А человек глядит медведем и мычит!
Но всмотришься: лицо! и что-то говорит!

12 апреля 1849

IX .

Здесь есть у нас зверок; живет он под амбаром!
Счастливцев одарен завидным самым даром
Для здешнего житья! — Шесть месяцев проспит;
Весна — он из норы выходит и глядит
На травку свежую, на зелень молодую!..
С зимой он незнаком; и сторону глухую
Считает раем он, который круглый год
Под солнцем и теплом и зелен, и цветет!
Но нынешней весной и он, сойдя с ночлега,
Ошибся несколько! — Глядит: сугробы снега!
«Что это!» — думает с досадой знатока:
«Вот спал, да выспал что!» — Однако ж для сурка,
Которого тепло обрадует весной,
Все лучше здесь, чем нам, с разумною душою!

11 апреля 1849

Х

Нет! Худо и ему! — Напрасно же в поэте
Он зависть возбудил! — Его уж нет на свете!
Бедняк! кому вредил он жизнь свою своей?
Был смирен, боязлив; и из руки моей
Насилу приучил его я хлеб есть черный,
Который паш нетух, и бойкий и проворный,
Нередко, наскочив, пахально отнимал
Из самых лап его, покуда он глодал!
Его уж нет в живых! — И кто же! сторож храма,
В ограде мирных стен молитв и фимиама,
Его убил! — За что? — Да так, как автомат,
Чай, поднял руку, хват! — Попробовал! — Солдат
Привык не размышлять и бить кого попало!
«Зверь: как его не бить!» — А чувства — не достало!
4 июля 1849

ХІ

Вот наконец весна! — Тепло, и солнце снова!
Но снег еще лежит у тына садового,
И снег еще в лесу белеет на горе!
Нигде нет зелени; а сухо на дворе,
И птички гнезда вьют! — В саду деревья голы;
Но уж чирикаст на ветвях рой веселый!
О русская весна! куда-то ты бледна!
Куда печальна ты, о русская весна!
За Клейстом вслед и нам, бывало, в прежние леты
Весну, весну поют старинные поэты!
Но не картина здесь, не радость она!
Растает лед в пруде, и грязная волна
Помчит навоз, прорвет у мельницы плотину,
Сломает старый мост — и кончила картину!
А там — настанет труд, труд тяжкий, потовой:
Пойдет соха; пройдет клячка с бороной,
И выгонит пастух в лохмотьях — стадо в поле;
А зелени все нет! — Бредет, как по неволе;
Ни песец, ни рожка, лишь хлопает кнутом!
Насилу наконец оденется листом
Берега; а потом, когда позеленеет
И липа — только тут земля помолодеет!

Леживо на Руси приходит к нам весна!
О красная весна! куда-то ты бледна!

14 апреля 1849

XIV

И путник, едущий дорогой столбовою,
Услышав дальний хор, и осенен мечтою,
Быть может, сладостно воспомнит давний сон,
Когда в младенчестве слышал те песни он,
И, придержав коней, обманом насладится!
О! пусть ему обман счастливый продолжится!
Вот, миновав село, он снова поскакал!
Скачи, минутный гость! — Меж тем уже зиял
Широким заревом весь свод небес над ними,
Над этими людьми, веселыми, простыми,
Всегда беспечными, особенно в те дни,
Как разгуляются, заправдпуют они!
О жалкий люд! — Пойдет с зажженной лучиной,
Воткнет в солому, в тын: забудет; а причиной
Все воля божия! Все случай виноват!
Наутро, где был пир, лишь головни горят!
Но к осени опять село кой-как построят!
И осторожности писколько не удвоят;
И в праздник сельский вновь такая же гульба!
Не всякой же ведь год карает нас судьба!
Ковш пива, штоф вина — мужик забыл тревогу!
А праздник Господа — он празднует не Богу!

19 января 1860

XV

И рощи темные, и светлые долины,
И каменистых гор лесистые вершины,
Здесь все есть для тебя, причудливый поэт!
Чего недостает! — О! многого здесь нет!
Нет вас! — Привычных дум живого нет раздела!
Внезапной мысли нет, которая б вскипела
И мигом вспыхнула в внимающих очах!
Что горы и леса! — Есть много лучших благ!
Здесь люди добрые по-своему счастливы!

И Лафонтен сказал: «Деревья молчаливы!
Что лес внушает мне, нельзя не пожелать,
Чтоб кто-нибудь тут был, кому бы передать!»

1 апреля 1849

XVI

Я видел нравы здесь не только в деревнях!
Здесь сильных нет страстей! — В столичных городах —
Там гордость тонкая; там честолюбья жало;
Там роскошь вкуса; там — искусства покрывало
Блестит на всем! А здесь — корысть, пороков мать,
Одна господствует, кладет на все печать!
Здесь роскошь — тяжела; жизнь мутная, без шума,
Без блеска движется; надежда или дума
Не оживляет мысль и духа не гнетет!
Здесь для дохода жизнь; а не для ней доход!
Здесь не в почете ум, талант, наука, честность;
Заслугой для граждан — не приобрести известности!
Одно богатство здесь великой честью чтут!
Ум не заметят здесь; таланта не поймут;
Наука — цвет во ржи, и вредный, и бесплодный!
А честность, а порыв высокий, благородный,
Всем ненавистные, помеха и упрек,
Бревно, лежащее дороги поперек!

22 января 1860

XVII

Далёко от Москвы, в объятиях природы,
Где мирно я скучал в младенческие годы,
И в старость тошно мне с природою родной!
Однообразен быт, не ласков взгляд людской!
В них сердце бедное, как руки, зачерствело,
И зеркало души — как будто потускнело!
В чем день проходит мой? — И радостно ли с пей,
Прославленной в стихах, картиною полей?
О нет! — Поедешь в лес — там не густые сени
Манят тебя под свод своей прохладной тени;
А смотришь, нет ли где порубки; за тобой
Полесовщик трясет на кляче бородой!
Глядишь ли на поля, на нивы молодые,

Как ветер волнует их колосья золотые,
 И за волной бежит красивая волна,
 Бойшься, чтобы ветер не выбил их зерна!
 Здесь нива хороша тогда лишь, как смолотят,
 Да всплют хлеб в амбар, да лишний рубль сколотят!
 Вот здесь и я уже — на рощи, на поля
 Смотреть корыстно стал: такая здесь земля!
 Там бьет ключом родник холодный и глубокий,
 И посреди села запружен пруд широкий,
 И жернов мельничный, вращаем колесом,
 Шумит без устали; и льется молоком
 Из-под него мука согретою струею;
 А ветлы, наклонясь над синею водою,
 Плотицу берегут упором их корней!
 Остановился бы: картина для очей!
 А спросишь: много ли помолу; или к сроку
 Сполна ли заплатил наемщик треть оброку!
 Жизнь жалкая души! — А я, я в те лета,
 Когда обманчиво лелеет нас мечта,
 Я тоже пел леса и золотые нивы;
 И родину мою, неведеньем счастливый,
 За Шиллером вослед, Аркадиею звал!
 Вот та Аркадия! — Теперь, когда узнал,
 Страну, где труд, корысть, невежество, да взятки,
 Я из Аркадии — бежал бы без оглядки!

19 января 1860

XVIII

Как жили деды здесь, довольные пустыней
 И счастливы? — Друзья! тогда не то, что ныне!
 Вся Русь была одно! — Но чудною судьбой
 Одна часть выбрита; другая с бородой!
 Та — за Европою летит на крыльях пара;
 А эта, не приняв божественного дара
 Науки, приросла упрямая к земле,
 И по уши сидит в своей родимой мгле!
 Сойтись ли вместе им? — А если и сойдутся,
 Узнают ли они родство, когда очнутся?
 Узнать ли братьев в них? — Ужели навсегда
 Той Руси эта Русь останется чужда?
 Нет! не виновны мы, что вопреки природы
 Мы стали разные, два чуждые народы!

Потребность прадедов была не широка:
Была бы только жизнь животная легка!
А нам — простор ума, полет привольный духа,
И многое, что их не щекотало слуха!
Хозяйствуя, трудясь, по крайнему уму,
Нас деды и отцы учили не тому;
А наряжали нас чужих земель в обнову:
На европейский лад учили мысли, слову!
Увы! мысль и досель не сказана сполна;
А слово — выпустит с запинкою страна,
Да и смолчит! — Оно, конечно, безопасно!
И видим мы давно, что многое напрасно,
Да поздно; и назад идти мы не хотим!
Вперед! — А наш народ, без власти недвижим,
И пьтится! — И вот, истории в угоду,
Мы в тягость нам самим, чужие мы народу!
И душно, и темно в родимой нам глуши!
Нет света для ума, простора для души!

23 января 1860

XIX

Ни мысли в голове, ни чувства в сердце нет!
И ты воображал, что ты рожден поэт?
Попробуй мыслию высокой и свободной
Блеснуть теперь в душе твоей простонародной!
Нет! чувствую, что сон тяжелый и пустой
Лежит над этою забытой головой!
О память, горький дар! — О сладкое забвенье!
Приди и осени мое уединенье
Непроницаемой завесою своей,
Чтоб мог я все забыть: и место, и людей,
И где, и с кем живу, чужой в родимой сени,
И жизнь, погибшую для умных наслаждений!
На то ль я укреплял наукою мой ум,
На то ль от зрелых лет копил глубоких дум
Трудом добытое, бесценное стяжанье,
Чтоб старость погребсти, без слуха, без вниманья!

2 декабря 1849

XX

Мне стыдно наконец, что с грусти я шучу,
Что в шутке иногда как будто бы ропщу!
Мне стыдно слабости, несвойственной для мужа!
Как тело здоровое нам укрепляет стужа,
Так и холодное дыхание судьбы
В нас сердце укреплять должно бы для борьбы!
Борьба с судьбой — без ней победы нет для духа!
Что скажут обо мне! — Кто? — до чьего же слуха
Ты думаешь, поэт, достигнет голос твой?..
Ты твердость показал в борьбе и не такой,
В борьбе с неправдою, в борьбе не безопасной,
И то пошло на дно и кануло безгласно!
Кружок приятелей вполголоса лишь смел
Поздравить, рад душой, что ты остался цел!
Шути или ропщи; будь тверд иль колебайся:
Всем нужна до себя! — Пиши, не опасайся,
Не бойся, чтоб глухой услышал голос твой,
Чтоб мнение сказал когда-нибудь немой!

23 апреля 1849



Ф. Б. МИЛЛЕРУ

*По получении от него
его стихотворений.*

В глуши уединенья,
В родной моей глуши,
Какое наслажденье
Услышать песнопенье
Знакомой нам души!
Дар этой благодати
И звуков и картин
Пришел мне очень кстати,
В день самый именин!
Его с моей семьею
Встречал я тишиною
И праздновал один;
Но вы, коснувшись лире,
Напомнили мне дни,
Когда мы в этом мире
Гуляли не одни;
Напомнили беседу
Тогдашних вечеров!
Поклон, без дальних слов,
Парнасскому соседу,
Который навестил
Меня в воображенье,
В минувшие мгновенья
Меня переселил
И слух из отдаленья
Стихами угостил!

*23 мая 1849
Село Богородское*

МОНОМАХИ

Мой предок — муж небезызвестный,
Единоборец Мономах —
Завет сынам оставил честный:
Жить правдой, помня божий страх.

Его потомок в службу немцев
Хоть и бежал от злой Литвы,
Не ужился у иноземцев
И отдался в покров Москвы.

С тех пор мы немцев невзлюбили,
С тех пор взлюбили мы Москву,
Святую Русь и правду чтили,
Стояли царства за главу!

Мой пращур в бунт второй стрелецкий,
Когда Петр маленький ушел,
Свой полк с отвагой молодецкой
Под стены Троицы привел.

Зато землей и деревнями
Нас Петр великий подарил,
Но между новыми князьями
Титул наш старый позабыл!

Но дух отважный Мономаха
С княжою шапкой не пропал:
За правду мы стоим без страха,
И каждый предка оправдал.

Мой дед — сызранский городничий,
Прямой Катон в глуши своей —
Был чужд и славы, и отличий,
Но правдой был — гроза судей!

Отец мой — он в руках со шпагой,
Собрав отважнейших в рядах,
Закженный мост прошел с отвагой
Противу шведов на штыках!

Мой дядя — верный страж закона,
Прямой министр, прямой поэт —

Высок и прям стоял у трона,
Шел смело в царский кабинет!

А я, безвестный стихотворец,
Не князь, а просто дворянин,
В Сенате был единопорец —
За правду шел на всех один!

1849

* * *

Когда паш Новгород великий
Отправил за море послов,
Чтоб испросить себе владыку
Для буйной вольницы голов,
Он с откровенностью странной
Велел сказать чужим князьям:
Наш край богатый и пространный,
Но не дался порядок нам.
С тех пор род Рюрика владеет,
А все порядка не видать.
О Нестор, Нестор! кто посмеет
Тебя во лжи избличать,
Когда на первой же странице
Печать ты правды положил:
Ни веки буйною станицей,
Ни Петр железною десницей,
Никто тебя не сокрушил.
Все тот же Руси жребий странный:
И край богатый и пространный,
И немцев эка благодать,
А все порядка не видать!

1854

КНУТ

Скажи мне, двигатель народный,
Символ народной простоты,
Какой рукою благородной
И занесен откуда ты?

От стран ли дикого Востока
Пришел ты в обществе меча,
В руках ревнителей пророка
Слепому рабству нас уча?

Иль чуждого происхождения,
Ты по сродству нам близок стал,
И не единого мгновенья
Еще нерусским не бывал?

Скажи мне: грешною спиною
Тебя кто первый перенес?
От униженья ль пред тобою
Он лил потоки горьких слез?

Иль честью не обеспокоен
И крепок выей и хребтом,
Он был равно тебя достоин
Перед людьми и божеством?

Меж нами действуя свободно,
Пришлец в России вековой —
Ты лучший страж любви народной
И власти верный часовой!

1858 ,

С. Т. АКСАКОВУ

В те дни, как жил Василий Львович, *
Когда Антонской-Прокопович
Еще словесников сбирал;
Когда Кокошкин возглашал
Торжественно и важно оды,
Так что дрожали залы своды
И автор с радости дрожал;
Когда для публики московской
С старинной злостью Каченовской
И с новой скукой — выдавал
Уединенно свой журнал:
Тогда мешали с шуткой дело,

* Пушкин. (Прим. автора.)

Писали, говорили смело,
Шутили тонко и остро,
Что ныне несколько старо;
Затем-то я, как антикварий
Литературных наших дел,
Хоть не знаток оксий и варий,
С тобой впоследствии захотел
Возобновить тех дней преданье,
Пожить еще в воспоминанье,
Впоследствии душу отвести,
Сказав минувшему: прости!
Да! золотое было время
И благодатные они
Для Руси были эти дни!
Тогда лишь только спало бремя
Войны всемирной с наших плеч!
Смела была России речь!
Между держав, спасенных ею,
Она одна рукой своею
Держала Запад и Восток;
Никто, никто не смел пред нею
Сказать ни слова поперек!
Москва из пепла возродилась,
Цвела и славою гордилась,
Огнем омывши свой позор!
Поэты, как пернатых хор,
Воскресший снова после бури,
На солнце, средь небес лазури,
Летали вольно, высоко!
Их песнь звучала далеко!
Парнас был полон благодати!
Жуковской был Тиртеем рати;
Роскошный Батюшков в те дни
Был наш Тибулл и наш Парни!
Державин песнью лебединой,
Не очень звучной, очень длинной,
Пропел свой гимн и не отстал
От юных плесков и похвал,
Как дед от юных смелых внуков!
Еще был жив князь Долгоруков,
И меткой речью иногда
Не отставался без следа!
Мой дядя, Дмитриев — безмолвно
Напевам молодым внимал;

Но их с улыбкой ободрял,
 Делил венок беспрекословно,
 Который некогда ему
 Сплели за песни самому!
 Давыдов — просто, без Пегаса,
 Летал на высоты Парнаса
 На боевом своем копе,
 Таким же смелым ураганом,
 Как мимо всех он партизаном
 Летал в дыму, летал в огне!
 Воейков — тот остро злословил;
 Но пел искусства и сады!
 А Карамзин уже готовил
 Свои великие труды
 Принести на жертвенник отчизны,
 Деянья Руси оживить
 И нашим предкам посвятить
 Великолепный праздник тризны!
 Но что! И самый граф Хвостов
 Был слышен тоже, как другие!
 Он тоже пел хвалы России,
 Ее восстанье после ран;
 Он, как турецкий барабан,
 В концерте не считался лишним!
 И как смеялись одам пышным
 Весь Петербург и вся Москва!
 Всей братии пишущей забава,
 И он гремел; а что же слава,
 Как не всеобщая молва!
 Тогда ж и Пушкин, цвет прелестный,
 Зацвел, и с первых дней известный,
 Ревнуя опытным орлам,
 Уж порывался к облакам!
 Такое было это время!
 Такое счастливое племя
 Под кровом родины цвело!
 Дни дарований, громкой славы,
 Беспечной воли и забавы!
 Для стариков оно прошло!
 Что будет впредь — судьбы тайны!
 Но год бывает урожайный,
 Когда то дождик, то тепло;
 А не тогда, как ранний холод
 Свернет, что только расцвело!

Тяжел судьбы холодный молот!
Все жаль, что старое прошло!
И счастлив, кто тогда был молод!
Ты верно, верно не забыл,
Как в скромном домике ты жил,
На площади Сенной Арбатской,
Где нас комедией дурацкой
N.N. однажды угостил!
Как долго, долго после чтенья
Мы хохотали без зазренья!
Теперь — осудят, молвят: дрянь!
И прочь пойдут; и смеха дань
Не наградит за претерпенье!
А смех — он легкой жизни плод,
Когда живется без хлопот,
Когда все мысли удаются!
Одни счастливые смеются!
Счастлив смеющийся народ!
Ты помнишь, как к тебе съезжались
Мы в старину по вечерам,
Чем мы в беседах занимались?
Что было первой целью нам?
На чем вертелись разговоры?
О чем бывали наши споры?..
Поэзия — она, она
Была предметом нам одна!
С какой отвагой благородной
Ценили мы, что превосходно!
Как отвергал наш верный суд
Пустой натуги пошлый труд!
Как всякий лиры отзыв новый
Мы были с радостью готовы
Тотчас принести на суд друзьям!
Но суд был строгий, откровенный,
И сколько, сколько тут мгновенно
Рождалось острых эпиграмм!
Где он, юнейший наш приятель,
Поэт и тонкий наблюдатель!
Зачем он рано отлетел?
Зачем, зачем он, как предатель,
Нас подождать не захотел?
Кто знает! в дни судьбы железной,
Когда нет дружбы бесполезной,
Когда без выгод связи нет;

Как проста сказанное слово
Боишься, чтоб дорогой новой
Не пролетело за секрет;
Когда в самой литературе,
Благодаря такой цензуре,
Закрыты мыслям все пути;
Когда ни в дни пародной славы,
Ни в дни страдания державы
Живого слова не найти;
Когда во дни волнений мира
Поет войну у нас не лира,
Какой-то с присказкой гудок,
Как будто нанятый на срок;
Когда последний отклик слова,
Восторгом полного живова,
И благородный правды звук,
Гимн окрыленный Хомякова
Не перешел цензурных рук:
Кто знает! с юношества лирик,
Элегик, комик и сатирик,
Быть может, Писарев живой
Теперь бы тоже пос повесил,
Рассудком холодным век свой взвесил,
Покинул лиры звонкий строй
И охладел, как и другой!
Его замолкла б эпиграмма!
И он, затерянный средь хлама
Литературных мастеров,
Забыл бы живость острых слов!
Никем не понятый, уверен,
Что остроумье нипочем,
Что пошлость тешат шутовством,
Молчал бы он, удостоверен,
Что и печатные листы,
И их читателей гурты
Не стоят даже остроты!
Не думай, что сужу я строго,
И не трудись мне возражать!
И нынче — я готов сознать —
Нас любят смехом потешать;
Но шутовства у нас и много,
Да остроумья не видать!
Тогда была у нас словесность
В избранный круг билет на вход;

Литературная известность
 Давала место и почет!
 Теперь, кругов в смятение диком,
 Талант иль вовсе незнаком,
 Иль без таланта, партий криком,
 Пройдешь великим знатоком!
 И было б нынче как-то странно
 В беседе светской своеправно
 Речь на словесность навести!
 Другой, наш горизонт пространной!
 Открылись шире нам пути!
 Язык богов — теперь не в тоне!
 Из всех талантов два — в салоне
 Пристойных: петь и танцевать!
 В кругу общественном обычно —
 Поговорить слегка, прилично,
 Но мыслью мозг не отягчать!
 И разных верований века,
 Иль убеждений человека,
 Не убежденного ни в чем,
 Который только лишь по слуху
 Поверил времени и духу,
 Не задевать своим умом,
 Своим не потчевать добром!
 Я начал шуткой, кончил грустно!
 Прими, как будто бы изустно
 Я говорю, как мой язык
 С тобою говорить привык!
 Я шутку первую поправлю
 И на любимый нам предмет
 С тобою выду, как на свет!
 Нет! я высоко в мненьи ставлю
 Литературный бывший круг,
 Который каждый месяц прежде
 Сбирался в сладостной надежде
 Нетчетных родине заслуг;
 Заслуг негромких, тихих, мирных,
 Но цель была их высока:
 Согласование звуков лирных
 И верный кодекс языка!
 Ты помнишь эти заседания!
 Какое пышное собрание
 Духовных, светских, важных лиц,
 Героев в толстых эполетах,

Прославленных во всех газетах,
И дам нарядных и девиц!
Ты помнишь и псалмы Шатрова,
И рассужденья Мерзлякова;
И как Буянова певец,
В одышке, Пушкин под конец
Бывало баснью распотешит;
Как скромный старец президент,
Взглянув на дам, ряд звезд и лент,
Бывало несколько опешит,
Боясь, чтоб шутка иногда
Не оскорбила их стыда,
Чтоб стих иной, иное слово
Прошли для общества здорово,
Чтобы правительству оно
Не показалось вольно!
Но все в безмолвии внимало,
И уважением полно!
И это было все давно!
И все прошло, как не бывало!
Так птиц пугает ложный страх;
Когда, зашевелись в кустах,
Внезапный ветер листы их тронет;
Как он пугливо бедных гонит,
Так ложный страх разрознил муз
И благородный наш союз!
Успех полезный и немалый!
Суд важный общества затих;
Зато — для дарований вмиг
Открылись толстые журналы!
Но как их произвольный суд,
Корысть, пристрастье, полузнанье
В душах питают дарованье,
И говорить излишний труд!
Вот мы с тобой, как инвалиды,
Перетерпевшие обиды,
Не тяжких ран, а тяжких лет,
Осуждены смотреть безмолвно,
Как зло, корысть — беспрекословно
Завоевали целый свет!
Сидим у моря: ждем погоды!
Не доживем ли мы когда
До дней веселых, до свободы,
До беспристрастного суда!

А там ватагой богомерзкой
Союз на Русь составлен зверский,
Союз, неслыханный дотоль;
Клеветают нас, поносят дерзко
И брать хотят Севастополь!
Ты помнишь бедствия державы,
Затмение временное славы,
Когда на Русь была беда:
Мы, над Москвой свершая тризны,
В день грозный божьего суда
Переживали укоризны;
Но попошенья — никогда!
Все также русского солдата
И грудь крепка, и верен штык:
За Русь ничто нам крови трата!
♦ Но от чего же дух поник?
Что косен робкий наш язык?..
И оттого-то песнопенье,
Как ни натягивай струну,
Не то, что было в старину!
Тех дней великих вдохновенье
Сменил усердных слов подбор,
Слепой преданности позор
И тяжкий грех боготворенья!

30 января 1855. Село Богородское

СТАРИК

*Toujours plaint le présent et vante le passé.
Boileau **

1

«Я стар и много помню, други!
Я помню дни любви, мечты,
Дни уважения заслуги,
Дни обожанья красоты!
Я помню юность молодую,
Радужный смех и шум пиров,

* Мы всегда жалуемся на настоящее и превозносим прошлое.
Буало.

И вечера без крикунов,
И пред седою головою
Молчанье завитых голов!

Я помню те простые правы,
Те дни пастушеских времен,
Когда певец певал из славы
Героев, дам и был влюблен;
Когда чувствительной слезою
Кропили ветку и цветок,
Любили речку и лужок,
В честь Бедной Лизы — над водою
На ветку вешали венок!

Я помню дней ветхозаветных
Завоевателя земли!
Народы шли в полках несметных,
Перед полками короли!
Возьмет ли град царя какова —
За ним и царство все у ног!
Никто против него не смог!
Одно его стубило слово;
То слово было: с нами бог!

Я помню рыцарское время!
Дворянство, ревностью горя,
Как вокруг орла орлино племя,
Теснилось около царя!
И повело своих вассалов,
Развевя церкви знамени!
Народов гибли племена!
В журналах речь шла про Вандалов!
Народ забыл их имена!

Теперь мы тон спустили ниже!
В то время каждый офицер
Речь начинал: «У нас в Париже,
В Пале-Рояле например!..»
Сказал старик и улыбнулся!
«А сколько ж прожил я всего?..»
И ждет, что скажут! — Ничего!
«Да где ж вы, други?» — Оглянулся;
А с ним и нет уж никого!

Август 1844

Вам скучно со мною; я знаю!
 Вы молоды, други; я стар!
 Но я не сержусь, не пеняю;
 Терпение,— старости дар!
 Мы также бывало скучали
 Рассказом людей пожилых;
 Но только мы их уважали,
 Но только мы слушали их!

Быть может, что вы откровенней,
 А мы притворялись тогда;
 Быть может, что вы совершенней,
 Науки вас водит звезда!
 Быть может, что мудрость любили
 Мы черпать из опыта лет;
 А вы ее вдруг проглотили,
 И новой для вас уже нет!

Однако ж вожди человека,
 Которым вы вьете венцы,
 Все люди минувшего века,
 Герои, певцы, мудрецы!
 Ваш век на дары тяжелек
 И громких людей не родил;
 Ваш век все хлопочет из денег,
 А прожил, что наш накопил!

Считите-ко дедов именья
 И вспомните их имена!
 Обширны их были владенья
 И слава далеко слышна!
 История их сохранила,
 Народ наизусть затвердил;
 А нынче схоронит могила,
 И память народ схоронил!

Вот тех-то я был современник!
 Люблю я людей ижепа,
 Которыми горд соплеменник,
 Полна и чужая страна!
 Наш век молодец был не хилый!

А ваш — полпути прокатил;
Героев же мысли и силы
Еще на показ не пустил!

20 декабря 1846

3

Не смейтесь, кудри молодые,
Над запоздалой сединой!
И нам дни были золотые,
И мы бывали под грозой!
И мы то бодро шли и вольно,
То прочищали вам пути!
Видали мы всего довольно;
Но мы прошли, а вам идти!
Не дай вам бог дней искушенья
И нам вислопленных скорбей,

Но дай бог нашего терпенья,
Дай бог и светлых наших дней,
Дай бог вам нашей веры твердой
И к Руси пламенной любви,
И нашей поступи негордой,
И жару нашего в крови!

И зной и холод терпеливо
Сносили мы над головой!
Мы поработали над нивой,
И постояли под грозой!
Не от забав седеют люди!
Никто над жизнью не шути!
Мы сохранили силу груди!
Наш кончен путь, а вам идти!

27 марта 1849

4

Скороспелому прогрессу
Я не верую, друзья!
Не даю большого весу
И газетным крикам я!
То поветрие и мода!

Моды нет для стариков!
Да и грамотность народа
Разведет одних плутов.

Я не верю в нашу гласность:
Не по нас пока она!
Ею только безопасность
Всех имен подорвана!
Гласность только там полезна;
Где чужая честь свята,
Там, где правда всем любезна;
А у нас она мечта!

Долг святой любить, как братий,
Человеков во Христе
Мы без клятв и без обьятий
Исполняли в годы те,
Как еще на нас туманность
Не давал горячки бред!
Завелась у нас гуманность,
Да любви ко братьям нет!

Где народ, сознанием зрелый,
К просвещению готов,
Там прогресс не скороспелый,
А наследие веков!
Там он прочен; там от деда
Переходит к внуку он:
Он над опытом победа,
Не журнальный крик и звон!

1 февраля 1863

5

«Нынче время переходное!»
Просветители твердят.
Мне уж это слово модное
Надоело, виноват!
В слове мало утешения,
Слово звук; вопрос не в том!
Пусть их просто, без зазрения,
Скажут вслух: «Куда идем?»

Переходят между розами,

Переходят и пустырь,
Переходят, под угрозами,
И на каторгу в Сибирь!
Долго ль, други, пустозвонные
Будут тешить вас слова?
Скоро ль в вас, неугомонные,
Будет мыслить голова?

Отсталыми, запоздалыми
Величаете вы нас;
Лучше было бы с бывалыми
Посоветоваться раз!
Вот, как будем с переходами
Мы без хлеба — что тогда?..
Перед умными народами
Будет стыдно, господа!

2 февраля 1863

6

О чем из глаз моих невольно слезы льются?
Что в духе тишины смутило благодать?
Мне звуки прежние как будто раздаются,
Которых, думал я, мне больше не слышать!
О старость! о годов тяжеловесных бремя!
О память горькая минувшего давно!
О жизнь! чем тосковать о том, что взяло время,
Не лучше ли о том, что принесло оно!

2 февраля 1863

ПОТОК

Все земное увлекает
Быстрый времени поток,
Все плывет и проплывает —
Лира, скипетр и венок!
И плывут по нем обломки
И богов и алтарей,
И за предками потомки
Проплывут потоком дней.

И плывут, незнапья полны,
И откуда и куда!
За волнами идут волны,
Мимо идут берега!
Взор их тешит измененье,
Зыбь укачивает их,
За явлением явления,
Радость, горестъ — все на миг!

Лишь *мудрец* непоколебимо
На берегу один сидит,
Видит все, что мчится мимо,
Помнит, мыслит и молчит!
Знает он один, отколе,
Знает он один, куда!
Чужд он их веселой воле,
Мудрость тоже им чужда!

Вдруг он слышит лиры звуки!
По волнам плывет *певец*!
И простер к нему он руки,
И взывает, как отец:
«Выдь, мой сын! Оставь их племя!
Пусть их мчатся по волнам!
И пойдем мы, сбросив бремя,
К тихим Вечности брегам!»

1843



Мелочи
из запаса моей
памяти



J'ai pris la plume pour écrire.
Sur qui est à propos de quoi?
Je l'ignore.

Chateaubriand

Я знаю многое кое-что об нашей литературе, или об наших литераторах, что теперь или не известно, или забыто. Когда мне случалось упоминать в разговоре что-нибудь из прежнего времени, многим казалось это новым. Я не признаю в этом никакого достоинства, потому что обязан этим только моим летам, только тому, что я живу дольше других, что я старше молодых словесников: преимущество не важное! — Но, желая поделиться с другими моею памятью, я решился записать все мелочи из ее запаса. Прошу и смотреть на это, как на мелочи, и не требовать от меня ни порядка, ни важных сведений. Я и сам еще не знаю, что напишется и с чего начать. Однако ж начнем *ab ovo*: *Тредьяковский*.

О *Тредьяковском* я слышал мало и никого не встречал, кто бы знал его лично. Он умер в 1768 году, когда дяде моему * было только 9 лет: он не мог знать его. Но я слышал от многих, знавших современников *Тредьяковского*, между прочим от Платона Петровича Бекетова, что все, что об нем рассказывают, справедливо. Между прочим, и то, что когда при торжественном случае *Тредьяковский* подносил императрице *Анне* свою оду, он должен был от самых дверей залы до трона ползти на коленях. Я думаю, хороша была картина! Судя по всем об нем рассказам, кажется, что *Лажечников* в своем романе *Ледяной дом* изобразил его и его характер очень верно.

* Ивану Ивановичу Дмитриеву. (Прим. автора.)

Ледяной дом был описан академиком Крафтом и напечатан с приложением гравированного плана и фасада. Все производство постройки, вся внутренность дома и украшения наружные описаны подробно. У меня есть печатный экземпляр этого описания, ныне очень редкого.

Забавы двора всегда замечательны: они дают меру времени и меру просвещения; а притом очень замечательно, что это производство описывал академик, профессор физики. Он же при Анне Иоанновне занимался астрологиею и составлял гороскоп для Ивана Антоновича. Об этом есть известие в сочинениях А. С. Пушкина.

Ломоносова видал мой дед в Петербурге; но знаком с ним не был. Ломоносов, как ученый, занятый делом, как человек серьезный, а притом не богатый и не дворянского рода, не принадлежал к большому кругу, как Сумароков. Об его характере дед мой отзывался всегда с уважением и рассказывал о его непрерывных ссорах с Сумароковым, оправдывая, однако, Ломоносова. Судя по его словам, Ломоносов был неподатлив на знакомства и не имел нисколько той живости, которою отличался Сумароков и которою тем более надоедал он Ломоносову, что тот был не скор на ответы. Ломоносов был на них иногда довольно резок, но эта резкость сопровождалась грубостью; а Сумароков был дерзок, но остер: выигрыш был на стороне последнего! Иногда, говорил мой дед, их нарочно сводили и приглашали на обеды, особенно тогдашние вельможи, с тем, чтобы стравить их. Таков был век!

С *Сумароковым* были знакомы, в своей молодости, мой дед и моя бабка. Родной брат ее — Никита Афанасьевич *Бекетов*, будучи еще кадетом, представлял на сцене Кадетского корпуса «Семиру» Сумарокова и понравился Елизавете. Несколько времени он был ее любимцем. Потом дед мой, живучи в Петербурге и служа в гвардии, был коротко знаком с Орловыми: все это было еще при Елизавете, прежде их известности. По этим связям и знакомствам ему часто случалось бывать вместе с Сумароковым. Судя по его словам, Сумароков очень любил блистать умом и говорить остроты, которые нынче, вероятно, не казались бы остротами, и любил умничать, что тогда принималось за ум, а ныне было бы очень скучно; например, однажды за столом у моего деда подали кулебяку. Он, как будто не зная, спро-

сил: «Как называют этот пирог?» — «Кулебяка!» — «Кулебяка!» — повторил Сумароков: — какое грубое название! а ведь вкусна! Вот так-то иной человек по наружности очень груб, а распознай его: найдешь, что приятен!» Замечание очень обыкновенное, которого дед мой, однако, не применял к Сумарокову.

Я сказал, что Н. А. Бекетов был любимцем Елизаветы. Это продолжалось очень недолго, и вот по какому случаю. Молодой человек, попавший в фавориты, с небольшим двадцати лет от роду, немножко возгордился, начал представлять из себя вельможу и принимать других вельмож и старых придворных в шлафроке. Между тем, надеясь на красоту и молодость и будучи неопытен, он мало занимался своим туалетом. Опытные придворные стали оказывать ему усердие, давать дружеские советы о сохранении цвета лица и говорить, что на это есть разные средства. Бекетов отвечал, что очень рад бы употребить эти средства, но их не знает. Они вызвались доставить и достали ему притирание для сохранения кожи, которым он только что притерся, все лицо попрыщивело, так что ему нельзя уже было являться ко двору, и он по нездоровью должен был сидеть дома. Елизавета очень заботилась, спрашивала; все говорит — нездоров. Она стала добиваться, что за болезнь? Молчат и делают разные ужимки, которые показались ей подозрительны. Это самое заставило ее потребовать, чтоб ей сказали всю правду. Ей объявили с осторожностью такую болезнь, какой у него совсем не было... Она никогда не забывала его, обогатила и дала ему земли и деревни близ Царицына, в Астраханской губернии. Там была у него великолепная деревня *Отрада*, с виноградными садами, мраморными водоемами, роскошной мельницей, в которой не было ни малейшего стука, ни малейшей пыли, и стояли красного дерева ломберные столы для игры в карты; наконец ему же принадлежали богатые рыбные ловли на Волге, от которых произошла Бекетовская икра, некогда знаменитая. При Екатерине он был астраханским губернатором и много содействовал к устройству тамошнего края. Между прочим, при нем заведена и устроена знаменитая колония гершгутеров, или моравских братьев, под названием Сарента. Он был приятный стихотворец и написал много печальных песен. Он был истинным благодетелем вверенного ему края, любим и уважаем и родными, и чужими. Умер <в> 1794 году. Племянник его И. И. Дмитриев на-

писал к его портрету известную надпись, которая заключает в себе самую правду:

Воспитанник любви и счастья богини,
Он сердца своего от них не развратил;
Других обогащал, а сам, как стойк, жил
И умер посреди безмолвныя пустыни!

Никита Афанасьевич, командовавший полком, на цорпдорфском сражении был взят в плен, вместе с гр. Захаром Григорьевичем Чернышевым, и содержался в Кистрине; об этом была сложена песня, которая долго пелась в народе и была помещена в песеннике Чулкова. Я помню из нее несколько стихов:

Как возговорит прусский король:
Ой ты гой еси российский граф,
Чернышев Захар Григорьевич,
Со своим ли сотоварищем,
Со Никитой Афанасьичем
По фамилии Бекетовым!
Послужите мне службу верную,
Как служили вы монархине!
Как возговорит российский граф,
Чернышев Захар Григорьевич:
Послужу я тебе службу верную,
Что своей ли саблей острою,
На твою ли шею толстую!

Сестра его Катерина Афанасьевна *Бекетова* вышла замуж за моего деда вот по какому случаю. Во время придворной жизни ее брата ее хотели взять ко двору: она была еще очень молода, лет шестнадцати, и красавица! — Отцу очень этого не хотелось: он боялся придворных нравов. Вскоре присватался к ней мой дед: ей было уже 17 лет, а ему 18. Отец и рад был этому случаю отдать дочь за хорошего человека и богатого дворянина хорошей фамилии, чтобы только отклонить ее принятие ко двору.

Отец ее, Афанасий Алексеевич *Бекетов*, служил где-то воеводой. При Екатерине вышел он в отставку и приезжал в Петербург поблагодарить государыню. Она его спросила: «А много ли ты, Афанасий Алексеевич, нажил на воеводстве»? — «Да что, матушка ваше величество! Нажил дочери приданое хорошее: и парчовые платья, и шубы; все как следует!» — «Только и нажил?» — «Только, матушка! И то слава богу!» — «Ну, добрый ты человек, Афанасий Алексеевич! Спасибо тебе!» Тем и кончилась аудиенция. — Ка-

кая простота тогдашнего времени! Надобно заметить, что тогда отправляли на воеводство — покормиться. Это был употребительный термин, так что даже просились у государей на воеводство покормиться. Нынче не просят.

У меня есть приданая роспись моей бабки. Как любопытно в ней видеть, какие платья и другие предметы входили тогда в приданое! А между тем, при этом роскошном приданом, дано всего две тысячи рублей на *покупку имения*. Следовательно, каковы были цены! Должно думать, что это приданое, истинно великолепное, не стоило и двух тысяч. Я обязан этим документом г. профессору Капитону Ивановичу Невоструеву, который отыскал ее в старинной крепостной книге одного архива.

Кстати, о старине, и о той, которая современна уже мне, и о прежней. — Так как я записываю все, что мне приходится на память, без всякого плана, то позволяю себе всякие отступления.

Нельзя и вообразить разницы между тем, что теперь в России и что было лет за 60, за 70 и далее. Лучшее в старину было то, что образ жизни был проще (но эта простота была бы нам совершенным неудобством и лишением), что люди были радушнее и жизнь была дешевле. Мотовство было частное, но не было общего, т. е. роскоши. Воспитание детей почти ничего не стоило; впрочем, не многому и учились, — об этом скажу после. Лучше было еще то, что, до разрыва с Англией и приступления нашего к континентальной системе, сбыт хлеба был вернее и надежнее. Быстрых перемен во внутренней администрации, в самую старину, тоже не было: все шло привычным образом, и все это служило тоже к спокойствию жизни. Земская полиция была слаба и не имела тех средств, какие она имеет нынче. От этого происходило и добро, и худо. Сама она, правда, меньше нынешнего беспокоила жителей; но зато в обыкновенный порядок вещей входило и то, к чему, кажется, нельзя и привыкнуть. Например, это было дело очень обыкновенное, что с наступлением каждого лета, когда леса были уже одеты густо зеленью, воявались разбойники: я это помню, где по рассказам, а где и сам. Вот некоторые примеры.

В самый тот день, когда мне минул год, 23 мая 1797, дошло известие до моего деда, что будут к нему разбойни-

ки. — Спросят: как же дошло такое известие? — Всегда доходило; иногда от одного к другому, теряясь в первоначальном источнике; а иногда давали знать и сами разбойники, чтобы хозяин ждал их. Дед мой всегда был наготове: каждый год, с наступлением весны, в деревенском его доме, на стенах залы и передней, развешивались ружья, сумы с зарядами, сабли и дротики, с кольцами и на крепких бичевках; а по обеим сторонам широкого переднего крыльца вколачивались сошки с перекладинами, и на них раскладывались копья и рогатины. Итак, врасплох застать его было невозможно! Так и в этом случае. При первом известии о приближении разбойников ударили в набат; крестьяне, бывшие в поле, прискакали на господский двор; дворовые все вооружились. Дед мой надел на себя кортик, который, я помню, с зеленой костяной ручкой, на бархатной португее; велел отворить ворота и ждал разбойников на крыльце.

Между тем моя бабушка, мать и тетки переоделись в платья дворовых женщин, чтобы не быть узнанными, и вместе с нами малолетними попрятались в саду и в других местах.

На этот раз обошлось, однако, благополучно. Разбойники, в числе двенадцати человек, вооруженные с ног до головы, подъехали верхами к околице, подожгли караульщика и сказали ему: «Поди, скажи Ивану Гавриловичу, что мы не испугались бы его набату, да у нас лошади приустали». — После этого они, в виду всех, объехали около деревни, под горою, и отправились далее. — Но в тот же день получено известие, что они ограбили под Сызраном мельницу и сожгли ее.

Однажды — я помню — день был прекрасный; бабушка моя сидела в гостиной под открытым окном, а дед мой был на гумне. Оба они увидели из-за лесу дым, и каждый послал человека верхом, узнать, что горит. Один из посланных не нашел ничего и возвратился; а другой не возвращался. Вечером уже бабушка видит из окошка, что к ней идет по двору посторонний мужик, в одной рубашке, без шапки и босиком. Вот какое принес он известие. Он красильщик и ехал с холстами, крашениной и деньгами, собранными по деревням за работу. Он с своей телегой, а наш посланный верхом — оба наткнулись на разбойников. Они их ограбили, раздели до рубашки, отняли лошадей и привязали их к двум деревьям. По счастью, у красильщика

был за пазухой складной нож. Он достал его как-то зубами из-под ворота рубашки и ухитрился разрезать свои путы; а потом освободил и товарища, который тоже воротился домой. — Немедленно отправлено было в тот лес человек двадцать вооруженных дворовых людей, верхами, отыскивать разбойников, по указанию их пленников; но их не нашли. Это доказывает, однако, что при всем страхе их нападений не боялись боя с ними.

Но одно происшествие и напугало нас, и насмешило. Приехал к нам из города заседатель Алакаев, посланный с тем, чтобы набрать мужиков и ловить разбойников. Отобедавши у нас, он отправился набирать войско. Вдруг видим мы вечером, что с горы, прямо на наше село, скачет множество людей, с криком — все верхами. Мы думали, что это разбойники. Но оказалось, что это заседатель, который, за нашей горою, в чувашской деревне Малячкине, набирая войско, напился пьян, напоил чуваш для куражу и скачет с своим отрядом куда глаза глядят, ловить разбойников! — Почему он, вместо лесу, поворотил в нашу деревню? Я думаю, он и сам не знал этого! — После страха много было хохоту!

Однако иногда было не до смеху. За несколько лет до того, в другой деревне моего деда, за Волгой, на Буяне, разбойники напали на дом старосты, выпытывали от него денег, секли и жгли на малом огне, а потом зажгли его дом.

В самую же старину бывало и то, что шайка остановится близ города, а атаман, вооруженный, идет один в город и грабит лавки. Гарнизонные солдаты были старые, увечные, дряхлые, без ружей; воеводы были тоже старики, отпущенные на воеводство только покормиться: защиты не было; а народ был уверен, что разбойники заговаривают ружья, чтоб они не давали выстрела! — Таково было время беззащитности, простоты и предрассудков.

Впрочем, в домашней жизни, в старину, жили мирно и без всякого беспокойства; это продолжалось до самого межеванья. Но с этой поры (хотя все благоразумные люди признавали пользу межевания) деревенское спокойствие возмущилось. Споры о земле произвели ссоры между соседями; наплыв землемеров и других чиновников, людей голых и голодных, усилил вообще взятки, всегдашнюю бо-

лезнь России; новые тяжбы подали и судам новый случай к лихоимству. Суды и чиновники сделались нужны и страшны; корыстное чувство, не имевшее прежде случая к придирке, пробудилось; все были в беспрестанном беспокойстве, начались раздоры, и вражда переходила к детям и внучатам.

Ссоры бывали и прежде, но не надолго, без последствий, и кончались полюбовно между собою. Какой-нибудь помещик запашет у другого землю, а тот в отмщение наедет с собаками, и потопчет, или потравит лошаадьми его хлеб.— Иногда выезжали один на другого и с целой толпой дворовых людей верхами; доходило и до общей драки, но редко до суда. Мирились на первой попойке. С новым устройством земской полиции, по открытии губерний, нельзя уже было управляться силою. Начались и по этим личным обидам помещиков тяжбы нескончаемые и постоянный корм судьям.— Так худое приносит с собою и доброе; а в добром бывает и худое. Вообще же добром можно называть то, что согласно с требованием времени и с тою степенью, на которой стоит человеческое общество.

Я говорил, что в старину не было роскоши; но жили барственнее нынешнего.

Дед мой, когда еще служил в гвардии, при императрице Елизавете, вот как *выезжал* на караул, будучи, кажется, еще подпоручиком. Да! Не ходил, а ездил в карете. Под мундиром был у него парчовый камзол; а на эфесе шпаги, вместо темляка, цветные ленты, с бантом. Лакей же, стоявший за каретою, имел на голове гренадерскую шапку своего господина и держал в руке его ружье; ибо гвардейские офицеры, и при Екатерине, имели легонькое ружье.

Живучи потом в отставке, в деревне, когда он отправлялся в уездный город, за 27 верст от своего села, около кареты ехали гусары. Я еще помню в кладовой гусарский мундир с желтыми шнурами и венгерские шапки с длинною лопастью, которая навивалась на тулью и распускалась по ветру во время похода. Началось же это содержание конвоя, вероятно, в самую старину, как остаток того времени, когда помещики обязывались отправлять службу вместе со своими людьми. Прапрапрадед мой нередко должен был, вооружа положенное число людей, ходить в поход в Оренбургскую сторону против башкирцов. Плен-

ные поступали в крепостные холопы помещиков. Я знал еще одного башкирца Филиппа Ильича, который был у моего деда приказчиком: он был взят в плен, будучи еще мальчиком.

О деревенской жизни, в старину, в захолустье нельзя судить по-нынешнему. Для нас она была бы тошнее нынешней; но они привыкли: это была их натура. Мы любим общество образованное, которого и нынче там не находишь; мы любим картины природы: тогда о них не имели понятия. — Мудрено ли, что Сумароков и его последователи описывали в своих эклогах выдуманные правы и выдуманную природу, и то и другое не наши? — Нравы были совсем не поэтические и не изящные; а природы вовсе не было! — Как не было? — Не было, потому что природа существует только для того, кто умеет ее видеть, а умеет душа просвещенная! — Природа была для тогдашнего помещика то же, что она теперь для мужика и купца. — А как они смотрят на природу? — Мужик видит в великолепном лесе — бревна и дрова; в бархатных лугах, *эмальированных* цветами, — сенокос; в прохладной тени развесистых дерев — что хорошо бы тут положить под голову полушубок и соснуть, да комары мешают. — А купец видит в лесу, шумящем столетними вершинами, — барошные доски, или самовар и круглый пирог с жирной начинкой, необходимые принадлежности его загородного наслаждения; в *серебристом источнике, гармонически журчащем по златовидному песку*, — что хорошо бы его запрудить плотиной, набросавши побольше хворосту да навозу, да поставить тут мельницу и получать бы пользу. — После этого есть ли для них природа? Потому-то и Сумароков населял свои эклоги сомнительными существами пастушков и пастушек, что нечего было взять из сельской существенности; потому-то и для наших старинных помещиков — природы совсем не было.

Посмотрите на наши старинные песни. В них найдете вы иногда — кого-нибудь *во чистом поле*; иногда *рябинушку кудрявую*; иногда *цветики лазоревые*; но все одни части природы, несовокупленные вместе, и те только по отношению к лицу. А найдете ли вы где-нибудь полную картину, взятую из природы? — нигде.

Чем же наслаждались наши предки? — Успехами хозяйства и пирушками! Наслаждались замолотом, умолотом,

сенокосом, собаками в отъезде поле, попойками, песнями дворовых песенников; а втайне и дщерями природы, закопченными солнцем и прокопченными дымом. Наслаждались не картинными видами садов, а их яблоками и грушами, смородиной и крыжовником; необозримыми бахчами дынь и арбузов, и соленьем впрок. Нужды нет! По-своему они все-таки наслаждались. — Наслаждение не в вещах, а в нас самих, в том понятии, какое об них имеем, в том чувстве, которое они в нас производят.

Пирьы стоили не дорого: все было домашнее и приготовлялось почти *au naturel*. Было бы впрок сварено и изжарено; а приправ и искусства не спрашивали! — Домашняя ветчина, говядина, куры, утки, индейки, жирные гуси, капуста, морковь, масло — все это не покупалось. Рыба была, в приволжских губерниях, почти нипочем. А о приправах, о пряностях, даже о салате, не только о трюфелях — и не слыхивали; но были сыты и без них. — Ставили на стол и вины; но какие вины! — А более подавали наливки. — Жили, по-тогдашнему, хорошо; по-нынешнему, даже в отдаленных деревнях, нельзя и подумать так угостить соседей, как тогда угощали.

Не лишнее сказать нечто и о воспитании дворян старого времени. Учились читать и писать; в ученье ограничивались этим. Но и то еще одни люди богатые и избранные. Бедные дворяне ничему не учились; привыкали только к хозяйству. Барыни и девицы были почти все безграмотные. Мать первой супруги нашего поэта, князя Ив. Мих. Долгорукого (он сам говорит это в своих записках) не умела ни читать, ни писать. В двенадцати верстах от нас в деревне Ивашевке было много дворян и дворянок, и во всей деревне был только один грамотник, дворовый человек одной из барынь, *Федька*, который писал за всех письма к мужьям и родственникам, когда они были в отлучке. — Собственно, о воспитании едва ли было какое понятие, потому что и слово это принимали в другом смысле. Одна из этих барынь говаривала: «Могу сказать, что мы у нашего батюшки хорошо воспитаны: одного меду невпроод было!», т. е. сколько ни ешь, всего не съешь. Это было исключительным явлением, что мой дед говорил по-немецки и понимал по-французски, и что моя бабка умела писать и читала книги. — И в этом-то народе, при этом просвещении явились Ломоносов и Сумароков, явилась литература! — И после этого говорят, что не бывает чудес! У нас —

все вдруг, и все чудо: не надобно только мешать нашим закоренелым упрямством, которое есть-таки в характере нашего покорного народа. Он покорен власти, а не нравственному или умственному убеждению! Тут он упрется, и его не своротишь.

В царствование Екатерины, с учреждением народных училищ (1786) грамотность начала распространяться несколько более; а с умножением типографий, когда старанием Новикова число книг значительно прибавилось, явились между дворянами порядочного состояния и охотники до чтения. Дамы начали читать романы. — Но все это мало прибавляло сведений. — Учиться основательно и узнавать положительные предметы, нужные для просвещения, начали мы, собственно, только с указа 1809 года, 6 августа...

Но в начале его (Александра I. — *В. М.*) царствования, до этого указа, как и чему учили? — Во-первых, по-французски; потом (предмет необходимый) мифологии; наконец *un peu d'histoire et de géographie* — все на французском же языке. Под историей разумелась только древняя; а о средней и новейшей и помину не было. — Русской грамматике и закону божью совсем не учили, потому что для этих двух предметов не было учителей. Домашние учителя грамматики не знали; а сельские священники, происходя постепенно из дьячков, знали только практику церковной службы, по навыку, а катехизиса и сами не знали. — Так учили и меня, пока я не вступил в университетский благородный пансион. Можно себе представить, как трудно было привыкать к основательному учению и к множеству предметов, о которых и не слыхивал! — Благодетельный указ... все переделал; но и ему покорились немногие. Одни из дворян были не в состоянии отправлять детей в Москву; другие пугались премудрости и такому множеству наук, не почитая их для одной головы возможными; а большею частию и не хотели воспользоваться, утешаясь одним всеобщим ропотом на невозможность достичь ассessorства! — Труднее было нам, чем нашим детям, приобретать основательные познания. — Например, о латинском языке было такое понятие (впрочем, тоже и пынче в провинциях), что он нужен только для лекарей и семинаристов. Как все удивились, что по этому указу требуется для дворянских детей знание языка латинского! Самое слово: студент, звучало чем-то не дворянским!..

В самую старину только и было одно место, выпускавшее молодых дворян образованными: это кадетский корпус, где учился и Сумароков.

Возвращаюсь к Сумарокову. Нигде так хорошо не изображен его характер, как в биографии его, напечатанной через три месяца после его кончины, в Санкт-Петербургском вестнике, под заглавием: «Сокращенная повесть о жизни и писаниях господина действительного статского советника и Св. Анны кавалера Александра Петровича Сумарокова!» — Вот что там сказано: «Что касается до свойств его души, то, кажется, он был весьма доброго сердца; но безмерная чувствительность, качество, нужное стихотворцу, которое однако ж должно обуздывать благоразумие, была виною сего крутого и горячего нрава, который всех, имеющих с ним союзы, а больше его самого, терзал. Склонен, сколько благодетельствовать, столько и мстить, не мог никогда позабыть ни одолжений, ни обид, ему учиненных. Притворства и коварств ненавидя, был друзьям верный друг и не умел скрывать злобы противу враждующих ему. Нетерпелив в желаниях и несколько в оных безмерен; малейшее препятствие, смертельно огорчая его, представляло ему часто самое ничто великим злоключением. Славен, осыпан благодеяниями монаршими, мог бы он быть блажен, если бы умел. Гнушаясь всякой пизости души, был он снисходителен к учтивым, но горд противу гордых. Имел он высокое мнение о звании и достоинстве прямого стихотворца; и для того не мог с терпением видеть, что сия благородная наука, в которой упражнялись Гомеры, Софоклы, Мароны, Вольтеры * и прочие великие люди, почитаемые от века всеми народами, была оскверняема руками людей, не имущих ни ума ни сердца!»

Вот как говорится там о последнем времени его жизни и о его неводержности: «Последнее время жизни своей проводил он почти в недействии. Неумеренность его (прости мне о тень, любезная Музам, мое чистосердечие, ты, который столько истины вмещал в своих стихах для наставления человеков! Позволь вещающему о тебе быть тебя достойным и неумолчанием прискорбной истины засвидетельствовать свету нелицемерие похвал, принесенных мною твоим достоинствам и великим дарованиям!), неводержность его была вящею причиною его болезни, снедавшей

* Вольтер непременно тут! О век! (Прим. автора.)

его медлительно, и наконец преждевременной его смерти, приключившейся 1 октября 1777 года». (А это все напечатано в январе 1778. Стр. 39.)

Дядя мой помнил Сумарокова. Под конец своей жизни Сумароков жил в Москве, в Кудрине, на нынешней площади. Дядя мой был 17 лет, когда он умер. Сумароков уже был предан пьянству без всякой осторожности. Нередко видал мой дядя, как он отправлялся пешком в кабак через Кудринскую площадь, в белом шлафроке, а по камзолу, через плечо, анненская лента. Он женат был на какой-то своей кухарке и почти ни с кем не был уже знаком.

Есть люди, которые могут делать все безнаказанно; это, во-первых, те, для которых нет общественного мнения; во-вторых, те, для которых нет потомства. Но стихотворец, самый плохой, не уйдет от его суда. Если он только печатал, то вспомнится его имя, а имя напомнит, что он был. Даже о Тредьяковском, а в наше время о графе Хвостове, писали и печатали; а кто напишет и что написать о худом губернаторе? Да и не позволят! От того-то стихотворцы, вообще взятые, лучше других людей; они у всех на виду, на них есть суд современников, для них есть потомство! — Они и потому лучше, что истинная поэзия требует благородного сердца; а требует ли его математика? — Математик может быть порочным, неверующим, и все оставаться хорошим математиком; а в поэте — вместе с низким пороком упадает его дарование.

Богдановича видал мой дядя у Державина и в других Петербургских обществах. Он был чрезвычайно скромен и молчалив. Являлся на вечера, всегда очень опрятно и хорошо одетый, в французском кафтане, щеголевато напудренный, с кошельком, с плоской тафтяной шляпой под мышкой. Говорил осторожно и разыгрывал дипломата: он тогда служил в иностранной коллегии. Предметом его разговора было всегда несколько слов о политических новостях, всем известных. Вообще, как человек, желавший казаться светским, он не останавливался долго на одном предмете разговора, не вдавался в рассуждения, не объявлял своего мнения, ни на чем не настаивал, а скользил по предметам. О его скромной наружности и молчаливости то же самое рассказывал кн. Дм. Владимирович Голицын, на одном из своих литературных четвергов. Богданович, ка-

жется, не думал быть автором: написал «Душеньку» для собственной своей забавы и напечатал по убеждению приятеля; на поприще писателя вызвал его успех «Душеньки». Но после ее ничто уже не далось ему, кроме перевода маленькой поэмы Вольтера на разрушение Лиссабона; этот перевод теперь тяжел, но тогда был хорош, потому что все писали такими стихами. Авторство Богдановича много поддерживала княгиня Дашкова. Но «Душенька» доставила ему сама собою повсеместную славу: ее читала вся Россия.

По смерти Богдановича Карамзин, написавший столь прекрасный разбор «Душеньки», предложил в «Вестнике Европы» (1803, ч. 7, февр., № 2, стр. 226) русским авторам, в роде конкурса, написать эпитафию Богдановича. Эпитафии посылались в «Вестник Европы». Были хорошие, были и посредственные, были и очень фигурные. Почти во всех упоминались Амур и Душенька. Чтобы положить конец этому конкурсу, Иван Иванович Дмитриев напечатал в «Вестнике» эпиграмму под названием «Эпитафия эпитафиям», после которой они и прекратились. Вот она:

Прохожий! пусть тебе напомнит этот стих,
Что все на час под небесами:
Путру плакали о смерти мы других,
А к вечеру скончались сами!

Платон Петрович Бекетов забывал часто фамилию Карповича и мешал ее с фамилией Богдановича. По этому-то случаю написал к нему Иван Иванович Дмитриев шуточные стихи, которые напечатаны в его сочинениях под названием «К приятелю»:

Два разные, мой друг, прозванья ты мешаешь
Людей, которые не сходятся ни в чем;
Итак, когда ты их не знаешь,
То я тебе скажу о том и о другом.
Один приятный был писатель,
Другой едва ли и читатель;
Один стихи, другой лишь вексели писал;
Тот в Панову свирель, а этот в башк играл.

Лучшее издание сочинений Богдановича — это издание Бекетова, напечатанное в его же типографии. Никто не издавал у нас книг с таким тщанием; он присовокупил к нему все варианты автора, сличив разные издания, чего у нас никогда не делается. В 1811 году он напечатал маленькое прекрасное издание «Душеньки» на веленовой бумаге, ко-

торое до выпуска в продажу почти все погибло во время нашествия французов; осталось только одиннадцать экземпляров, из которых у меня три. Худшее издание сочинений Богдановича — это, бесспорно, Смирдинское 1848 года, который перепортил текст во всех наших авторах. У Ломоносова, Карамзина, Капниста, Лермонтова, словом, у всех, где недостает стихов, где они переломаны, где переставлены с места на место; даже у Карамзина один стих из 37-го куплета попал вперед, в 12-й. Там вышло 7 стихов, а тут 9. Такие издания — стыд наших типографий.

Петрова дядя мой не знал лично и, живучи в одно время с ним в Петербурге, ни разу с ним не встречался. Но он очень уважал его живописные оды, его послания, богатые мыслями, его силу ума и воображения, несмотря на жесткость его слога. Многое в языке Петрова было упрямством, например — *морь* — вместо *морей* и прочее. Он знал хорошо и русский язык, и славянский; знал основательно латинский; в Англии научился английскому, немецкому и французскому. В одах он достоин стоять между Ломоносова и Державина. Его перевод «Энеиды» забыт отчасти по старинному языку, а более потому, что у нас все забывается. Но он верен, и доселе у нас нет другого. И «Илиада» Кострова, и «Энеида» Петрова писаны шестистопными ямбами: это принадлежит уже их веку. Впрочем, Тредьяковский так уронил гексаметры, что писать ими было бы, в то время бесполезною смелостью. Надобно рассматривать писателей в отношении к их времени: иначе приговор наш будет всегда не верен. Лицо Петрова, судя по портрету, было благородно и величественно. Петров заикался. На его перевод «Энеиды» Майков написал следующую эпиграмму:

Сколь сила велика Российского языка!
Петров лишь захотел, Виргилий стал занка.

Но эпиграмма ничего не доказывает. Петров все-таки был не Майков.

Алексей Федорович Малиновский знал Петрова лично. Он рассказывал, будто Петров писал некоторые оды, ходя по Кремлю; а за ним носил кто-то бумагу и чернильницу. При виде Кремля он наполнялся восторгом, останавливался и писал. Странно; но в то же время и прекрасно: видеть поэта, на которого так сильно действовал наш Кремль, полный великих воспоминаний!

Петров был, говорят, важной наружности. Он познакомился с Потемкиным, когда оба они были еще студентами, и был до конца его жизни другом. Об этом свидетельствуют многие его послания и стансы, исполненные чувств искренних, где он радуется его успехам, его победам, его славе, от всего сердца, по участию дружества, а не тем торжественным тоном, который ставит поэта перед вельможей и полководцем, на расстоянии восторга и славы. Он писал к Потемкину, провожая его в армию:

Превыше чаяний взнесися, мой орел!
Ты в поле — из моих объятий полетел!

Он хвалит в Потемкине не одного полководца, но более вельможу доступного, человека просвещенного, любителя литературы и поэзии:

Себе единому подобен,
В доброте благородство чтит;
Всем равен и от всех особен;
Луча снисхождением не тмит!

Не тяжек праздных слов примесом,
Красот во слоге он пример;
Когда б он не был Ахиллесом,
Всесмерно был бы он Гомер!

Жаль очень, что Петров ныне забыт; этому виной его тяжелый слог. Пусть не читает его публика; но литераторам непростительно не знать его!

Кострова знал мой дядя лично. Но анекдот, написанный Д. Н. Бантыш-Каменским в его словаре, будто бы Дмитриев привез пьяного Кострова в Петербург, совершенная небылица; а ее повторяли в журналах!

Костров — кому это не известно! — был действительно человек пьяный. Вот портрет его: небольшого роста, головка маленькая, несколько курнос, волосы приглажены, тогда как все посили букли и пудрились; коленки согнуты, на ногах стоял не твердо и был вообще, что называется, рохля. Добродушен и прост чрезвычайно, безобидчив, не злопамятен, податлив на все и безответен; в нем, говаривал мой дядя, было что-то ребяческое. У меня есть его гравированный портрет.

Он жил несколько времени у Ивана Ивановича Шувалова. Тут он переводил «Илиаду». Домашние Шувалова

обращались с ним, почти не замечая его в доме, как домашнюю кошку, к которой привыкли. Однажды дядя мой пришел к Шувалову и, не застав его дома, спросил: «дома ли Ермил Иванович?» Лакей отвечал: «Дома; пожалуйста сюда!» — и привел его в задние комнаты, в девичью, где девки занимались работой, а Ермил Иванович сидел в кругу их и сшивал разные лоскутки. На столе, возле лоскутков, лежал греческий Гомер, разогнутый и обороченный вверх переплетом. — На вопрос: «Чем он это занимается?» Костров отвечал очень просто: «Да вот девчата велели что-то шить!» — и продолжал свою работу.

Повторяю, что анекдот Бантыш-Каменского — небылица; а вот что действительно бывало. Костров хаживал к Ивану Петровичу Бекетову, двоюродному брату моего дяди. Тут была для него всегда готова суповая чаша с пуншем. С Бекетовым вместе жил брат его Платон Петрович; у них бывали: мой дядя Иван Иванович Дмитриев, двоюродный их брат Аполлон Николаевич Бекетов и младший брат Н. М. Карамзина Александр Михайлович, бывший тогда кадетом и приходивший к ним по воскресеньям. Подпоивши Кострова, Аполлон Николаевич ссорил его с молодым Карамзиным, которому самому было это забавно; а Костров принимал эту ссору не за шутку. Потом доводили их до дуэли; Карамзину давали в руки обнаженную шпагу, а Кострову ножны. Он не замечал этого и с трепетом сражался, боясь пролить кровь неповинную. Никогда не нападал, а только защищался.

Светлейший князь Потемкин пожелал видеть Кострова. Бекетовы и мой дядя принуждены были, по этому случаю, держать совет, как его одеть, во что и как предохранить, чтоб не напился. Всякий уделил ему из своего платья кто французский кафтан, кто шелковые чулки, и прочее. Наконец, при себе его причесали, напудрили, обули, одели, привесили ему шпагу, дали шляпу и пустили идти по улице. А сами пошли его провожать, боясь, чтоб он, по своей слабости, куда-нибудь не зашел; но шли за ним в некотором расстоянии, поодаль, для того, что идти с ним рядом было несколько совестно: Костров и трезвый был не тверд на ногах и шатался. Он во всем этом процессе одеванья повиновался, как ребенок. Дядя мой рассказывал, что этот переход Кострова был очень смешон. Какая-нибудь старуха, увидев его, скажет с сожалением: «Видно, бедный больнехонек!» — А другой, встретясь с ним, пробормочет: «Эк

нахлюстался!» — Ни того, ни другого: и здоров и трезв, а такая была походка! Так проводили его до самых палат Потемкина, впустили в двери и оставили, в полной уверенности, что он уже безопасен от искушений!

Костров под действием своего упоения не был весел, а более жалок. Иногда в этом положении, лежа на спине, обращался он мыслию и словами к какой-то любезной, которой, вероятно, никогда не было; называл ее по имени и восклицал: «Где ты? — на Олимпе? — Выше! — В Эмпирее! Выше! — Не поспигаю!» — и умолкал.

В 1829 году была напечатана книжка под названием: «Некоторые любопытные приключения и сны, из древних и новых времен». Я думаю, она пошла у наших журналистов наряду с сонниками; но она замечательна во многом для тех, которые верят, что есть связь этого мира с другим, которого мы не видим. Там, на странице 173 напечатана статья под заглавием: «Необыкновенное приключение, бывшее в Москве в конце предшедшего столетия, с г-м К., русским ученым — и им самим описанное». Сообщаю тем, которые не знают, что этот русский ученый Г. К. — наш переводчик «Илиады», Ермил Иванович Костров. Не полюбобытствует ли кто прочесть это необыкновенное приключение? — Кто хочет, может принять это за бред, а кто хочет, может принять за истину; но и бред такого рода остается очень замечательным. Я знаю только, что оно описано, действительно, самим Костровым. Хотя он был и поэт, но не отличался слишком живым воображением; а обмана нельзя ожидать от такого простодушного человека!

Майков никогда не считался наряду с лучшими поэтами; он имел особый, не высший круг читателей. Впрочем, его шутивая поэма *Элисей, или Раздраженный Вахт* показывает много воображения и непритворной шутиivosti, хотя не отличается благородством вкуса. Другая шутивая поэма: *Плачевное падение стихотворцев*, которая приписывается Майкову и печатается в собрании его сочинений, принадлежит не ему, а Чулкову. Она в свое время наделала много шума и произвела большое негодование на автора между другими стихотворцами.

Херасков был в большом уважении, и по благородному своему характеру, и по сочинениям. Действительно, в то время, склонное к удивлению и к возданию похвал всякой заслуге и не бравшее на себя обязанности строгого судьи, две эпические поэмы должны были произвести сильное впечатление. У Хераскова было воображение, но не было творчества. Он, кажется, многое придумывал хладнокровно и помогал своему воображению процессом мысли. У него нет внезапного пыла; он заменял его терпением и искусством.

Однажды дядя мой, пришед к Хераскову, застал его за чтением Лагарпова «Лицея». Он читал его разбор французских трагиков. «Не так бы я писал свои трагедии,— сказал Херасков, положив книгу,— ежели бы прочитал это прежде!»

Супруга Хераскова, Елизавета Васильевна, была и сама стихотворица: она печатала в журналах; есть ее стихи в «Аопидах». Она была очень добра, умна и любезна. Ее любезность много придавала приятности их дому, уравновешивая важность и некоторую угрюмость ее мужа. Их очень любили и уважали.

С Херасковым было странное происшествие в его детстве. Мамушка посадила его на окно и ушла из комнаты; это было летом. Мимо дома проходила толпа цыган, которые схватили его и унесли с собою. К счастью, вспомнили об этой толпе, догадались, догнали их и отняли ребенка. Мы не имели бы *Россиады* и *Владимира*; а Херасков пел бы во всю жизнь не героев нашей истории, а цыганские песни.

Последнее произведение Хераскова было *Бахариана*, повесть в стихах. Каждая глава ее написана особым размером; но стихи не хороши, не гладки, иногда вялы, иногда даже в них не соблюдены ударения меры. Она мне всегда казалась скучною. Я не понимаю, почему любил ее Николай Михайлович Языков, этот первоклассный мастер русского стиха. Незадолго до его кончины я подарил ему бывший у меня экземпляр «Бахарианы», которой он не мог найти в книжных лавках. Он был очень рад; в нем много было добродушия.

«Бахариану» никто из книгопродавцов не брался печатать. Херасков напечатал ее на свой счет в типографии П. П. Бекетова. Но она худо продавалась, и потому автор долго не платил в типографию. Бекетов, соблюдая всю деликатность, долго не напоминал ему; но наконец просил моего дядю поговорить об этом долге Елизавете Васильевне. — «Как! — сказала Елизавета Васильевна, — вообразите, ведь он мне сказал, что Бекетов у него купил рукописи!» — Старику хотелось похвастаться перед женою! — Она заплатила за него деньги, но после спросила его: «Как же ты мне сказал, Михайла Матвеевич, что Бекетов у тебя купил «Бахариану»?» — «Да? — отвечал сквозь зубы Херасков: — дело было совсем слажено, да после разошлось!» — Ничего этого не бывало.

У Хераскова собирались по вечерам тогдашние московские поэты и редко что выпускали в печать, не прочитавши предварительно ему. Но дядя мой говорил, что по большей части похвала Хераскова ограничивалась словами: «Гладко, очень гладко!» — Гладкость стиха почиталась тогда одним из первых достоинств: она была тогда действительно большим достоинством, так как оно становится и теперь; но во времена Дмитриева, Жуковского, Батюшкова это было достоинством второстепенным.

Однажды Василий Львович Пушкин, бывший тогда еще молодым автором, привез вечером к Хераскову новые свои стихи. — «Какие?» — спросил Херасков. — «*Рассуждение о жизни, смерти и любви*», — отвечал автор. Херасков приготовился слушать со всем вниманием и с большою важностью. Вдруг начинает Пушкин:

Чем я пачну теперь! — Я вижу, что барап
Нейдет тут ни к чему, где рифма барабан!
Вы лучше дайте мне зальцвасеру стакан
Для подкрепленья сил! Вранье не алкоран — и проч.

Херасков чрезвычайно насупился и не мог понять, что это такое! — Это были *bouts rimes*, стихи на заданные рифмы, которые можно найти в собраниях русских стихотворений, изданных в 1811 году Жуковским. Важный хозяин дома и важный поэт был не совсем доволен этим сюрпризом; а Пушкин очень оробел. Дядя мой рассказывал, что это было очень смешно.

Хераскова уважали, как поэта, и Державин и Дмитриев. Первый упоминает об нем в стихах своих *Ключи*

Певца бессмертной «Россиады»,
Священный Гребеневский ключ,
Поил водой ты стихотворства.

А второй написал известную надпись к его портрету!

Пускай от зависти сердца в Зоилах поют,
Хераскову они вреда не припесут!
Владимир, Иоанн щитом его покроют
И в храм бессмертья приведут!

«Россиады» и «Владимира» нынче уже и не читают; но кто не знает имени Хераскова! А что такое наше земное бессмертие? Имя. Деревня Хераскова, где он жил каждое лето и где написал большую часть своих сочинений, называется *Очаково*, по Можайской дороге, в стороне, налево от дороги.

Когда Херасков написал *Россиаду*, несколько петербургских литераторов и любителей литературы собирались несколько вечеров сряду у Н. И. Новикова, чтобы обдумать и написать разбор поэмы; но не могли: тогда еще было не по силам обнять столь большое произведение поэзии! — Оставались одно безотчетное удивление и похвала восторга! Пусть судят по этому, насколько выше был Херасков тогдашних литераторов! А мы, не принимая в соображение ни времени, ни степени просвещения современников, не даем никакой цены такому произведению, которое, однако, показывает меру духа поэта, несмотря на свои недостатки! Имя Хераскова все-таки живет 70 лет, а нынешние гении живут года по два, да и то с помощью друзей! А на чем еще основана эта дружба? Кончу стихом Капниста:

О боже! Положи устам моим храпенье!

Наконец этот разбор написал немец Юлий Иванович фон Каниц, директор Казанской гимназии, и поместил его в рижском журнале. Тогда перевели его с немецкого языка на русский и напечатали в «С. Петербургском Вестнике» (Авг. 1779 г.), который издавал г. Брайко, чиновник иностранной коллегии. Впрочем, и этот разбор состоял почти только в похвале поэту и изложении содержания поэмы.

Странное дело: первый разбор «Россиады» написал немец; первую оду Ломоносова отдали на рассмотрение немцу Штелину, правда, вместе с Ададуновым; первый объяснил наши летописи — немец Шлецер, которого перевел на русский язык Д. И. Языков, однако не вполне. По крайней мере, мы не имеем прибавлений, для полноты всего труда необходимых. Итак, чтобы знать критически самое темное время русской истории, надобно знать по-немецки! В нашей учености и в нашей литературе есть что-то чудное, не такое, как у всех; а все нет оригинальности! Блажен потомок, который уразумевает объяснить это!

А я объясняю это тем, что у нас нет терпения, мало любви к литературе; что просвещение не разлилось равно, а скопилось в одном углу, в который большая часть людей грамотных и не заглядывают!

Херасков упал в нашем мнении вот с какого времени.

Первый открыл пальбу на Хераскова — Строев в своем журнале «Современный Наблюдатель» (1815). Большая часть пишущей молодежи давно уже не читала Хераскова; старый слог и длинная поэма у нас редко находят читателей. Им понравилась резкость молодого критика. Кроме того, у нас всякий рад поверить смелой выходке в литературе. Известно общее изречение: «Каково он его отделил!» Собственный суд требует проверки; проверка требует труда; а до трудов у нас мало охотников, кроме специалистов, кроме людей, посвятивших уже себя или науке, или литературе. Тогда и тех было мало!

Правда, в то же время (1815) Мерзляков в своем «Амфионе» напечатал дельный разбор «Россиады». Его разбор был верен и справедлив. Он показывал недостатки поэмы, но сохранил уважение к поэту и нисколько не унижал его произведения. Метрою суждений Мерзлякова был сколько природный вкус критика, столько и система тогдашней критики и строгих правил классицизма, которых он держался. Умеренный тон Мерзлякова и дельность его замечаний были приняты литераторами с уважением, и как противодействие выходкам Строева, но другие и в этих замечаниях ученого видели только критику на Хераскова, в том смысле, как обыкновенно критика принимается толпою, т. е. порицанием Хераскова. И эта смелость разбирать достоинства признанной знаменитости подстрекнула даже и тех, которые без примера Мерзлякова не смели бы поднять руки на уважаемого доколе поэта и посягнуть на его па-

мать. Не имея ни вкуса, ни таланта, ни знания Мерзлякова, они заменили и то и другое дерзостью приговоров!

Так мало-помалу упал Херасков в мнении следующих поколений. Жалка участь нашей литературы!

Первая супруга *Державина* была Екатерина Яковлевна Бастидонова. Отец ее был португалец Бастидон, камердинер Петра III, а мать — кормилица императора Павла. Вторая его супруга была Дарья Алексеевна Дьякова, родная сестра супруги Василия Васильевича Капниста, который, следовательно, был Державину свояк. Первую он воспевал под именем *Плениры*, почему она и в стихах Ивана Ивановича Дмитриева, на ее кончину, названа Пленирою. Вторую он называл в стихах своих *Миленою*:

Нельзя смягчить судьбину,
Ты сколько слез ни лей;
Миленой половину
Займи души твоей.

Державин, любя нежно вторую жену свою, не мог забыть первой! Вскоре, после второй его женитьбы, обедал у него Иван Иванович Дмитриев. Он заметил, что Державин несколько уже минут сидит нагнувшись над своей тарелкой и, вода по ней вилкой, чертит что-то остатком соуса. Он взглянул на него: глаза полны слез. Взглянул на тарелку и видит, что он чертит вензель первой жены своей. Дмитриев шепнул ему, что, если заметит Дарья Алексеевна, ей будет это неприятно. Державин стер написанное и зарыдал; так что Иван Иванович принужден был вывести его в другую комнату, под предлогом дурноты, чтобы не обнаружить причины слез молодой жене его.

Державин любил природу, как живописец, и никакая красота ее не только не ускользала от его взгляда, но оставалась навсегда в его памяти и при первом же случае вызвалась наружу его воображением. Иван Иванович Дмитриев говорил, что память его была запасом картин и красок! — Однажды видел он, что Державин стоит у окна и что-то шепчет. На вопрос об этом Державин отвечал: «Любуюсь на вечерние облака! Какие у них золотые края! Как бы хорошо было сказать в стихах: *Краезлатые!*» — И действительно, вскоре этот эпитет явился в стихах его! — В другой раз за столом долго смотрел он на щучу и сказал, обратясь к Дмитриеву: «Я думаю, что очень хорошо бу-

дет в стихах и *щука с голубым пером!*» — и этот стих не пропал из его запаса!

Дядя мой пришел однажды к Державину в то время, когда он сидел над окончанием *Видения Мурзы*. — Он остановился на двух стихах:

Как солнце, как луну поставлю
На память будущим векам!

Выше луны и солнца лететь было некуда, и он стал в тупик. Дмитриев сказал ему, шутя: «Вот бы как кончить:

Превознесу тебя, прославлю,
Тобой бессмертен буду сам!»

«Прекрасно!» — сказал Державин: написал эти два стиха и кончил. — Действительно, нельзя было лучше придумать окончания, тем больше, что оно совершенно в роде Державина: гордо и благородно!

Когда Екатерина отправилась из Петергофа в Петербург для принятия короны, Державин был гвардии солдатом и стоял на часах. Думала ли Екатерина, проходя мимо этого солдата, что это будет невец Фелицы, поэт, который прославит ее царствование!

Державин был правдив и нетерпелив. Императрица поручила ему рассмотреть счета одного банкира, который имел дело с Кабинетом и был близок к упадку. — Прочитывая государыне его счета, он дошел до одного места, где сказано было, что одно высокое лицо, не очень любимое государыней, должно ему такую-то сумму. «Вот как мотает! — заметила императрица: — и на что ему такая сумма!» — Державин возразил, что кн. Потемкин занимал еще больше, и указал в счетах, какие именно суммы. — «Продолжайте!» — сказала государыня. — Дошло до другой статьи: опять заем того же лица. — «Вот опять! — сказала императрица с досадой: — мудрено ли после этого сделаться банкротом!» — «Кн. Зубов занял больше», — сказал Державин и указал на сумму. Екатерина вышла из терпения и позвонила. Входит камердинер. — «Нет ли кого там, в секретарской комнате?» — «Василий Степанович Попов, ваше величество». — «Позови его сюда». — Попов вошел. — «Сядьте тут, Василий Степанович, да посидите во время доклада; этот господин, мне кажется, меня прибить хочет»...

При императоре Павле Державин, бывший уже сенатором, сделан был *докладчиком*. Звание было новое; но оно приближало к государю, следовательно, возвышало, давало ход. Это было несколько досадно прежним его товарищам. Лучшее средство уронить Державина было настроить его же. Они пача́ли говорить, что это, конечно, возвышение; однако, что ж это за звание? «Выше ли, ниже ли сенатора, стоять ли ему, сидеть ли ему?» — Этим так разгорячили его, что настроили просить у государя инструкции на новую должность. Державин попросил. Император отвечал очень кротко: «На что тебе инструкция, Гаврила Романович? Твоя инструкция — моя воля. Я велю тебе рассмотреть какое дело или какую просьбу; ты рассмотришь и мне доложишь: вот и все!» — Державин не унялся, и в другой раз об инструкции. — Император, удивленный этим, сказал ему уже с досадою: «Да на что тебе инструкция?» — Державин не утерпел и повторил те самые слова, которыми его подзадорили: «Да что же, государь! Я не знаю: стоять ли мне, сидеть ли мне!» Павел вспыхнул и закричал: «Вон!» — Испуганный докладчик побежал из кабинета; Павел за ним: и, встретив Ростопчина, громко сказал: «Написать его опять в Сенат!» и закричал вслед бегущему Державину: «А ты у меня там сиди смиренненько!» — Таким образом Державин возвратился опять к своим товарищам. — Это рассказывал граф Ростопчин.

Обыкновенное общество Державина составляли: И. Ф. Богданович, Алексей Николаевич Оленин, Николай Александрович и Федор Петрович Львовы, П. Л. Вельяминов и Василий Васильевич Капнист, когда он приезжал из Малороссии.

А. Н. Оленин известен своею изобретательностью и талантом в рисовании, известен как знаток и любитель художеств.

Н. А. Львов — кроме учёных сочинений, должен быть известен в нашей литературе, во-первых, началом богатырской повести *Добрыня*, написанном в духе старинной русской поэзии и весьма оригинальном; во-вторых, переводом в стихах Анакреона с подстрочного русского перевода, который сделан был для него Евгением Булгаром, архиепископом Таврическим. Этот перевод был издан в греческом подлиннике в С.-П.-Б. 1794 года и почитается знатоками весьма близким. Перевод Мартынова известен более; но перевод Львова глаже, мягче и читается свобод-

пес, что составляет большое достоинство, особенно в переводе такого поэта, как Анакреон.

П. Л. Вельяминов известен был многими переводами; между прочим, народною песнею: «Ох, вы, славные руски кислы щи!» Вот конец ее:

Проскакал конек поле чистое,
Доскакал конек до крутой горы,
По горе копыку, зная, шажком пдти!

Все это небольшое дружеское общество Державина отличалось просвещением, талантами, вкусом, любовью к художествам, к музыке и вообще к изящному. До 1782 года, то есть до отъезда своего в Смирну, к нему же принадлежал и Хемницер, который много обязан ему чистотою слога своих басен, особливо Оленину и Н. А. Львову. Они строго разбирали его погрешности, советовали и даже с его позволения поправляли слог его. Хемницер прошел чрез сильное чистилище.

Из письма Державина к первой своей супруге * известно, что государыня приказала было напечатать сочинения Державина, и что по этому случаю он поручил Капнисту и Ивану Ивановичу Дмитриеву пересмотреть их и выбрать лучшие для издания. — Они для этого пересмотра собирались у него в доме. Но выбор их показался автору слишком строгим. Войдя в комнату, где они занимались этим разбором, и увидя малое число пьес, отобранных и отложенных в сторону, он взял и все перемешал, сказав им: «Что ж! вы хотите, чтобы я снова начал жить!» Тем разбор и кончился.

Державин решительно не мог поправлять своих сочинений: он мог их переделывать совсем, но не исправлять. Вероятно, немногие знают, в каком виде был напечатан его *Вельможа*, в «Одах, писанных при горе Чаталагае», где эта ода названа «*Памятность*». Вероятно, не многим известно и первое издание его псалма: *К властителям и судиям*, напечатанное в С.-Петербургском Вестнике 1780 года под названием: *Ода, предложение 81 псалма*. Вот оно:

*Се бог богов восстал судити
Земных богов во сонме их,*

* Оно было напечатано мною в «Москвитянине». (Прим. автора.)

*Доколе, рек, неправду чтите,
Доколе вам щадити злых?*

*Ваш долг законы сохранять
И не взирать на знатность лиц;
От рук гонителей спасти
Убогих, сирых и вдовиц.*

*Не внемлют! грабежи, коварства,
Мучительства и бедных стоп
Смущают, потрясают царства
И в гибель повергают трон!*

Кто узнает в этих плохих стихах ту прекрасную оду, которую мы ныне читаем в сочинениях Державина под другим, всем известным названием *Властителем и Судиям*.

*Восстал всевышний бог да судит
Земных богов во сонме их:
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?*

*Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.*

*Ваш долг спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков!*

*Не внемлют! — видят и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодейства землю потрясают,
Неправда зыблет небеса!*

Из прежнего остались: *один стих и девять слов*, означенные косыми литерами, прочее все написано вновь, а третий куплет прибавлен весь новый. Остальные три, которых не выписываю, оставлены прежние. Так переделывал свои пьесы Державин.

Известно, что эти стихи возбудили негодование императрицы; но не всем, может быть, известно, что для них перепечатано было несколько страниц «Вестника» с тем, чтобы их выкинуть. Мне попался экземпляр, в который новый лист вставлен, а старый переплетен тут же, только надодранный в типографии. Это замечание для библиоманов, как я. (См. том 6, стр. 315, 1780 года, месяц ноябрь.)

В оде Державина на восшествие на престол императора Александра Первого находятся два стиха, в которых упрекали Державина, находя в них изображение Павла:

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд.

Изображение, действительно, верное, и в намерении поэта нет сомнения. Он любил такого рода намеки. Например, в стихах:

Гудок гудит на тон скрипицы,
И вьется локоном хохол!

Кто из современников не знал, что это Гудович (Ив. Вас.) и Безбородко?

В этом же издании напечатана *Эпистола к Ив. Ив. Шувалову*, которую Державин не поместил уже в последующем полном издании (1808 года) в 4 томах. Ее нет и в последних. Лучшим изданием и самым исправным я признаю это, напечатанное в типографии Шнора, и другое 1831 года, в типографии Александра Смирдина. Худшее — 1847, в 2 томах, Смирдина, как и все его дешевые издания русских авторов, наполненные пропусками и опечатками. К ним следовало бы издателю поставить эпитафией русскую поговорку: «Дешево, да гнило!»

Первое издание сочинений Державина, состоящее в одном первом томе, было напечатано в Москве 1798 года. — Замечу для библиоманов, что в этом издании, в «Изображении Фелицы», в строке 33 (на стр. 107) пропущены два стиха, очень известные:

Самодержавья скиптр железный
Моей щедротой позлащу!

Во всех последующих изданиях, с 1808 года, они уже помещались.

Во всех нынешних изданиях пропускаются два эпитафы Державина, чего очень жаль. Вот они:

К 1-му тому, который был посвящен Екатерине, эпитафа из Тацита:

«О время благополучное и редкое, когда мыслить и говорить не воспрещалось; когда соединены были вещи несовместные — владычество и свобода; когда при самом легком правлении общественная безопасность состояла не из одной надежды и желания, но из достоверного получения прочным образом желаемого».

Во 2-м томе, который посвящен императору Александру Первому, был следующий эпиграф из Плиниева похвального слова императору Траяну:

«Мы не намерены ласкать ему нигде, яко существу высочайшему, или яко некоему божеству, ибо говорим не о тиране, но о гражданине, не о государе, но об отце Отечества, который почитает себя нам равным, но тем паче нас превышает, чем более равняет себя с нами».

Это замечание не лишнее для истории нашей цензуры, или, по крайней мере, для паблюдения различных ее фазов.

Мне кажется, сочинения Державина надобно издавать в том порядке, в каком они были издаваемы при его жизни. Новые издатели хотели привести их в некоторый систематический порядок; но при разнообразии его сочинений и смешений родов, например, оды с сатирой и прочее систематическое расположение его творений почти невозможно.

Комедия Капниста *Ябеда* была написана им прежде лирических его стихотворений, что заметно и по языку: слог «Ябеды» груб и шероховат, хотя и силен; в лирических стихотворениях он плавнее и чище, хотя и слабее. При Екатерине «Ябеда» не могла быть напечатана по причинам, как говорят ныне, не зависящим от автора. Она была напечатана уже при императоре Павле, 1798 года, и посвящена ему. Любителям безошибочных изданий советуем отыскивать это издание: в сочинениях Капниста, изданных Смирдиным, многие стихи так испорчены, что нельзя добраться до смысла и до меры стихов.

Комедия Капниста *Ябеда* была несколько времени забыта, как *пьеса старая*. Очень жаль! Нынче опять иногда ее играют на театре. Это одна из тех комедий, которые делают честь не только автору, но всей литературе. Сила ее изумительная! Есть такие места, в которых порок, не теряя стороны комической, доходит до трагической силы: такова, например, ужасающая нравственное чувство оргия членов палаты.— Вот право Капниста на бессмертие, а не оды.

Николева я видал. Можно ли вообразить, судя по его сочинениям, слабым и вялым, что это был человек ума

тонкого и остроумный! Известно, что он был слеп. Некоторые поклонники называли его Мильтоном; но император Павел называл его гораздо лучше: l'aveugle clair-voyant!

Литературная Москва исстари соперничала с Петербургом. В то время, когда в Петербурге были в большой славе трагедии Княжнина, Москва превозносила *Сорену* Николева; на петербургском театре играли трагедии Княжнина, а на московском — Николева. И те и другие забыты; но между ними была большая разница! — Николев был в большом кругу, в лучшем обществе: со стороны Москвы это было упрямство пристрастия!

Из всех томов, написанных Николевым, осталась в памяти или, по крайней мере, долго держалась в памяти одна песня:

Вечерком, в румяну зорю,
Шла я с грусти посмотреть;
А пришла все к прежню горю,
Что велит мне умереть.

В ней есть искреннее чувство. Вот два куплета, которые в свое время находили большое сочувствие:

О, души моей веселье,
Для кого мне жизнь мила!
Я последние ожерелье
За тебя бы отдала!

Люди с солнцем, людям ясно;
А со мною все туман!
Без тебя оно напрасно;
Без тебя мне жизнь обман!

Будем справедливы; если кто написал хоть один стих, достойный памяти, — и того не забудем. Этим беспристрастием окрыляется дарование.

Есть пять стихов и у Тредьяковского, очень порядочных, а по его времени даже и хороших:

Вонми, о небо, и реку!
Земля да слышит уст глаголы!
Как дождь, я словом потеку,
И спидут, как роса к цветку,
Мои вещания на долы!

Есть и у графа Хвостова стихи, которые назвали бы французы *des vers à retenir*. Например:

Потомства не страшись: его ты не увидишь!

или:

Выкрадывать стихи — не важное искусство!
Украдь Корнелев дух, а у Расина чувство!

Это напоминает мне, что когда, бывало, у графа Хвостова случится порядочный стих, то Ал. Фед. Воейков уверяет, что это он *промолвился*.

В старину все писали оды и песни. Одни предполагают восторг, другие чувство. Ныне не пишут ни од, ни песен. Неужели из этого должно заключить, что в наше время нет ни восторга, ни чувства? И все эти песни пелись и в обществе светском, и в народе. *Пятнадцать мне минуло лет* — Богдановича; *Выйду я на реченьку* — Нелединского; *Сонет сизый голубочек* — Дмитриева; *Кто мог любить так страстно* — Карамзина. Кто не знал этих песен?.. и чувства их, и слова, и голоса были просты и всем доступны. Таким образом, чувства поэта переходили в народ. Нынче нет этого! — Песен было множество; нынче едва две-три песни наших поэтов дошли до народа, между прочим: *Вот мчится тройка удалая* — Ф. Н. Глинка и *Зоринька ясная* — А. Ф. Вельтмана.

Наша литература последней половины прошедшего века была не так слаба и бесплодна, как некоторые об ней думают. Она ограничивалась не одними цветочками, но приносила и плоды, которыми в свое время пользовались и наслаждались. Взглянем, например, на переводы. В семисотых годах у нас переведены были с древних языков Гомера: «Илиада», «Одиссея» и «Ватрахомиомахия»; Гезиод, Анакреон (в стихах), Гелиодор, Исократ, Ксенофонт, Платон, Аристотель, Эпиктет, Плутарх, Эвклид, Архимед (с лат.), Павзаний, Аполлодор, Диодор Сицилийский, Элиан, Геродиан, Теренций; Виргилия: «Энеида» (в стихах) и «Георгики»; Горация: послание к Пизонам (в стихах), Сатиры (в стихах же); Овидий, Дионисий Катон, Клавдиан, Авл Геллий; Цицерона: О должностях, О старости, О существе богов; Сенека: О промысле; Петроний, Юлий Цезарь, Саллюстий, Корнелий Непот, Светоний, К. В. Патеркул, Валерий Максим; Тацита:

О нравах германцев и Жизнь Агриколы; Курций, Л. Анний Флор; шесть писателей истории о Августе, и Иосиф Флавий (с латинского).

Много ли имели эти книги читателей, я не знаю; но так как они печатались и так как издания повторялись, то, стало быть, от них не было убытку издателям. — Мне хотелось бы когда-нибудь составить полный каталог всем этим переводам, с обозначением годов изданий и имен переводчиков, если найду нужные для этого библиографические пособия.

Эти переводы упали более с эпохи усовершенствования слога. Со времени Карамзина людям, узнавшим язык новый, благозвучный, тяжело стало читать старые.

Но тогда еще мало знали иностранные языки. В столицах не было еще библиотек для чтения книг за некоторую плату; не было еще огромных журналов, в которых ныне печатаются целые романы, и потому переводы больших и многотомных книг имели много читателей. По деревням кто любил чтение и кто только мог заводился не большой, но полной библиотекой. Были некоторые книги, которые как будто почитались необходимыми для этих библиотек и находились в каждой. Они перечитывались по нескольку раз, всею семьею. Выбор был недурен и довольно основателен. Например, в каждой деревенской библиотеке непременно уже находились: *Телемак*, *Жилбаз*, *Дон-Кихот*, *Робинзон-Круз*, *Древняя Вивлиофика Новикова*; *Деяния Петра Великого и с дополнениями*, *История о странствиях вообще Лагарпа*, *Всемирный Путешественник Аббата де ла-Порта*, и *Маркиз Г.*, перевод *Ив. Перфа Елагина*, роман умный и нравственный, но ныне осмеянный. Ломоносов, Сумароков, Херасков непременно были у тех, которые любили стихотворство.

После уже начали прибавляться к этим книгам и сочинения г-на Вольтера (3 тома, 1802); и романы и повести его же, и «Новая Элоиза». В начале нынешнего столетия вошли у нас в большую моду: романы Августа Лафонтена, г-жи Жамлис и Коцебу. Но никто не пользовался такою славой, как г-жа Радклиф! *Ужасное и чувствительное* — вот были, наконец, два рода чтения наиболее по вкусу публики. Чтение этого рода заменило наконец прежние книги.

Впрочем, Вальтер-Скотт, в своем жизнеописании

г-жи Радклиф, воздает ее романам большую похвалу, особенно же ее искусству возбуждать в сильной степени воображение читателей.

Все эти книги, т. е. романы и немецкие и английские, переводились уже большею частию с французского: почти один этот иностранный язык был у нас известен: даже знание немецкого было большая редкость почти до двадцатых годов нынешнего столетия. Когда я был в университете (1813—1817), почти никто не знал по-немецки.

В старину читали с величайшим вниманием. Я помню спор одного почтенного старика с его приятелем. — Приятель сказал о чем-то, что он читал это в «Деяниях Петра Великого». — Старик возразил: «Там этого нет!» — «Есть!» — «Нет!» — «Я принесу книгу!» — «Принеси!» — и побились об заклад. — Приятель отыскал и несет в торжестве книгу: «Вот она! Выиграл!» — «Нет, проиграл! Я не хочу и смотреть книгу: это не «Деяния!» — «Да что же это такое?» — «Это «Дополнения!» — возгласил старик, не смотря на книгу; и заклад выиграл!

Я помню и деревенские чтения романов. Вся семья по вечерам садилась в кружок, кто-нибудь читал, другие слушали; особенно дамы и девицы. — Какой ужас распространила славная г-жа Радклиф. — (*Славная* — печаталось иногда при ее имени на заглавии книги.) Какое участие принимали в чувствительных героинях г-жи Жанлис! — *Страдания Ортенберговой фамилии и Мальчик у ручья* Коцебу — решительно извлекали слезы! Дело в том, что при этом чтении, в эти минуты вся семья жила сердцем, или воображением, и переносилась в другой мир, который на эти минуты казался действительным; а главное — чувствовалось живее, чем в своей однообразной жизни.

Когда я был еще ребенком, дед мой, отец Ив. Ив. Дмитриева, разговаривая с своими гостями о времени Екатерины, о ее славе, о ее учреждениях, о хорошем и о худом, приходил или в восторг, или негодование и, смотря по этому, посылал меня достать из своей библиотеки или Державина, или Хемницера; и я, с чувством своего достоинства, читал вслух перед гостями или оду Державина, или какую-нибудь замечательную басню Хемницера. Особенно любил он три его басни: *Орлы, Лев, учредивший совет и Лестница*. Все слушали с уважением и с живым участием.

Август Коцебу был у нас переведен почти весь. Было время, что только его пьесы и игрались на наших театрах: это было в восьмисотых годах. Их ставил и в театр, и книгопродавцам, по большей части Алексей Федорович Малиновский, который был тогда еще секретарем в Архиве Иностранной Коллегии. Он сам не знал ни слова по-немецки. Их переводили большею частию чиновники Архива; он исправлял слог и печатал, или отдавал за деньги Медоксу, содержателю тогдашнего театра. — Любимые пьесы публики были: *«Сын любви»* и *«Ненависть к людям и раскаяние»*.

Московский театр был не роскошен декорациями и костюмами; в этом отношении он начал улучшаться с того времени, как поступил в казенное управление. Репертуар был числом пьес не беднее нынешнего, только в другом роде. Играли комедии и драмы. Оперы повторялись одни и те же: *Редкая вещь, Дианино дерево, Деревенские певички, Мельник, Добрые солдаты*. Водевилей не было. Любопытно видеть тогдашние афиши. Одна драма или одна комедия, маленький балет: вот и весь спектакль!

Тот же Алексей Федорович Малиновский написал оперу: *Старинные святки*, которая так нравилась публике, что ее играли лет тридцать тяду. Такова сила народности в литературе.

Но *Русалка* приводила в восторг. Великолепные декорации, превращения и легкая музыка арий, которые легко удерживались в памяти, были причиною ее долговременного успеха. *Русалка* была в большой моде, даже у высшей публики; потом, когда вкус к музыке сделался и учение и утонченнее, она упала до простого святочного или масляничного спектакля! Но долго, долго еще деревенские барышни пели: *«Приди в чертог ко мне золотой»* или:

Мужчины на свете,
Как мухи, к нам льнут,
Имея в предмете,
Чтоб нас обмануть!

Так мало-помалу изменялся ход нашей литературы и вкус нашей публики. От важного читатели переходили к легкому, ко всему, что в европейской литературе всплывает наверх по недостатку веса.

Обращаюсь опять к старине. До Новикова мало было книг для общего чтения: они были редки; и потому между грамотниками простого народа, между купцами, между помещиками и их людьми более нынешнего были известны церковные книги и духовные церковной печати. *Почительные слова* свят. отцов Греческой церкви, *Миня-Четия* и *Пролог* были всеобщим чтением. Мало-помалу это вывелось с умножением книг светских. А теперь что читает наш народ! — Мне случалось в Москве, проходя мимо читающего лавочника, посмотреть у него книгу. — По большей части *Поль де Кок* или другие французские романы, из которых они учатся семейному разврату и обману. Из поэзии — одна любимая книга, которой нынче не могут начитаться: *Конек Горбунук*...

Есть пословица: «По платью встречают, по уму провожают!» Не знаю, провожают ли у нас по уму, но встречают действительно по платью. — Сперва было у нас русское, национальное платье: встречали поклонами, и угощением. — Потом ходили в немецких кафтанах, или в том, что у кого есть: начали встречать с важностью, с почтением и с оглядками. — Потом появились французские кафтаны и фраки: стали встречать первых с тонким приличием, вторых с свободною, непринужденною вежливостью. Теперь все любят свой покой, ездят с визитами в сюртуках и пальто и ни на кого не смотрят; оказывается, что и на них не смотрят, встречают не глядя и никому не оказывают уважения. — В последнее время начали носить уже косматые пальто, по образцу медведей, которые, кажется, и называют *ours*: этих уж совсем никак не встречают! До чего наконец дойдут встречи и провожания, этого не отгадает и сам Нострадамус!

История нашей поэзии делится на три периода. От Ломоносова до Дмитриева: период старого стиля, и в слове и в формах поэзии; от Дмитриева включительно до Пушкина: период нового стиля и художественности; после Пушкина период произведений без всякого стиля и формы. Само собою разумеется, что лучшие поэмы нашего времени принадлежат тоже к школе и стилю. Пушкина; но их немного: они не составляют общего характера эпохи. И во втором периоде оставались люди, принадлежавшие к старой школе. Я говорю о характере периода вообще.

Дядя мой говаривал, что нынешние поэты оттого не пишут длинных торжественных од, что у них дух короткий; а я думаю оттого, что ныне дух не тот. Нынче нет удивления!

История нашей прозы, или литературы нашей вообще, имеет тоже свои резкие деления. Период первый — от Ломоносова и Сумарокова до Новикова: тяжелый слог и слабые попытки составляют его характер, почти бесплодный и неуклюжий. От Новикова до Карамзина: предприимчивость, движение в литературе; появляются дельные книги, памятники истории, умножаются переводы; но слог остается тяжелым, неловким, отчасти неправильным. — Третий период от Карамзина — и до кого же? — до журнала *Телеграф*, родоначальника нынешних толстых журналов, — эпоха, от которой начался упадок слога, началось искажение Карамзинского языка, окрепшего в его *Истории*; а вместо Новиковской благородной предприимчивости наступила предприимчивость торговая и поддельная универсальность. Полевой воображал, что он пошел вперед; а он пошел от Карамзина, только в сторону.

В первый раз я узнал Карамзина 5 июня 1812 года, когда я еще был в университетском благородном пансионе. Он приезжал к начальнику пансиона Антону Антоновичу Прокоповичу-Антонскому и пожелал меня видеть, сколько по дружбе своей с моим дядей, столько и по воспоминанию о моем отце. Мне было тогда 15 лет. Я смотрел на него с благоговением: таким уважением я был исполнен к его сочинениям, которые были мне известны с малолетства; так привык я слышать в нашей семье его имя, повторяемое с уважением к его дарованиям. Прпшедши назад в пансион, я записал все, что Карамзин говорил, и сохранил донныне эту тогдашнюю записку...

Карамзин, с первой молодости, был другом моего дяди: но еще прежде, нежели сблизился с ним, он был дружен с моим отцом. Военная служба в отдаленном краю России, а потом смерть моего отца разлучили их.

Об нем говорит Карамзин в *Письмах русского путешественника*, в письме от 26 мая 1789: «В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Дмитриеву, нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек открыл мне свое сердце: оно чувствительно — он несчастлив! — «Состояние мое совсем твоему противоположно, —

сказал он со вздохом.— Главное твое желание исполняется; ты едешь наслаждаться, веселиться, а я поеду искать смерти, которая одна может окончить мое страдание». Я не смел утешать его и довольствовался одним сердечным участием в его горести. «Но не думай, мой друг, сказал я ему, чтобы ты видел перед собою человека довольного своею судьбою; приобретаю одно, лишаясь другого, и жалею.— Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества или молчали. По вечерам прохаживались в летнем саду и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал».

Об нем же упоминает он в статье *Цветок на гроб моего Агатона*. Вот это место: «Я говорил с ним за два дни до кончины его (пишет ко мне любезный Дмитриев) и никогда не перестану удивляться силам души его». «А я за сие удивление никогда не перестану любить тебя, милый Дмитриев».— Это писано 28 марта 1793.

Под именем Агатона Карамзин разумел товарища своей юности Александра Андреевича Петрова. В первом году журнала «Москвитин» помещен был мною отрывок из *Записок* моего дяди, где было сказано о Петрове. И потому повторяю в коротких словах, но с некоторым пояснением то, что было уже напечатано.

Петров был молодой человек глубокого ума и с верным критическим взглядом. Он знал языки древние: греческий и латинский; из новейших: немецкий, английский и французский; в русском имел глубокие сведения. Сам он не писал ничего, а занимался переводами. Из переведенных им книг известны: *Учитель, или система воспитания*, в 2 томах; *Хризомандер*, повесть, которую мой дядя называл мистическою. И то, и другое с немецкого. Эта повесть более аллегорическая; под видом приключений и перемен в судьбе лиц в ней повествуется (для тех, кто может понять) тайна алхимии и так называемый процесс *великого дела* (le grand — oeuvre), т. е. составление философского камня.— С английского языка перевел он *Баугатету*, эпизод из Магабараты, замечательный глубоким философско-религиозным содержанием. Он же издал, под руководством Н. И. Новикова, первые четыре части *Детского чтения*.

Детское чтение было едва ли не лучшею книгою из всех, выданных для детей в России. Я помню, с каким

наслаждением его читали даже и взрослые дети. Оно выходило пять лет, с 1785 по 1790, особыми тетрадками при *Московских Ведомостях*...

Карамзину приписывают ныне книгопродавцы, а за ними и журналисты издание *Детского чтения*. Никогда он не издавал ни одного тома; есть только в нем немногие его переводы, и то более в первых двух томах. С тех пор, как прекратилось родословное дерево нашей литературы, у нас прекратились в ней предания.

Еще повторяют наши журналы, будто Карамзин был отправлен путешествовать на счет Общества Новикова: это совершенно ложно! — Он путешествовал на собственный счет. Я знаю, что некоторые люди из стариков, и люди, впрочем, почтенные, находят некоторую выгоду повторять, что Карамзин принадлежал к их Обществу; что будто оно дало ему первый ход; что Карамзин был многим ему обязан и потом его оставил, что ставили ему в вину. Карамзин не скрывал, что принадлежал к их Обществу в первых годах своей молодости, т. е. к масонской ложе Новикова, Шварца и других; он при мне один раз рассказывал об этом, также и о том, что оставил его, не найдя той цели, которой ожидал. Вот самое ясное оправдание против неясных обвинений! Карамзин был ума глубокого и ясного; при этих двух качествах ума он мог довольствоваться только ясною истиною.

Н. И. Новиков всегда сохранял к нему прежнее благо-расположение, что свидетельствует его переписка; два письма его были напечатаны в Москве, в книжке *Письма С. И. Г. (Гамалеи)*. Но некоторые невзлюбили Карамзина за отступление от их круга.

Карамзин хотя уступал моему дяде в даровании поэтическом, но много был ему полезен своими советами, своими основательными замечаниями, своей здравой критикой. Когда мой дядя написал и прислал к нему из Сызрани, вместе с другими стихами, свою стихотворную шутку *Карриатура*, он писал к нему, что посылает ее только для него, а не для журнала. Но Карамзин тотчас понял достоинство этой безделки, заключающееся в верности картины, в свежести легких красок и в естественной простоте рассказа. Он отвечал автору, что эта пиеска из всех лучшая, и что ее-то он и напечатает.

Первая супруга Карамзина скончалась в 1802 году. Карамзин любил ее страстно. Видя безнадежность больной, он то рвался к ее постели, то отрываем был срочною работою журнала, который составлял его доход и был необходим для семейства. Это было мучительное время его жизни! Утомленный, измученный, бросился он на диван и заснул. Вдруг видит во сне, что он стоит у вырытой могилы, а по другую сторону стоит Екатерина Андреевна (на которой он после женился) и через могилу подает ему руку. Этот сон тем страннее, что в эти минуты, занятый умирающею женою, он не мог и думать о другой женьте и не воображал жениться на Екатерине Андреевне. Он сам рассказывал этот сон моему дяде. На Екатерине Андреевне он женился в 1804 году.

Не было равнодушнее Карамзина и к похвале и к критике: первой не давал он большой цены, потому что его славолубие было не мелочное авторское самолюбие; второю он не возмущался, потому что мелочи не тревожили никогда его философского спокойствия. В его характере было какое-то высокое спокойствие духа, которое мы находим у древних философов. Сердце его могло страдать, но дух не возмущался.

Кстати, о похвале и критике. Когда А. С. Шишков написал против нового Карамзинского языка целую книгу: *Рассуждение о старом и новом слоге* (1803), мой дядя принес эту книгу к Карамзину и советовал отвечать. Но Карамзин, пробежав книгу, бросил куда-то, где она и осталась. В другой раз, это было при мне, казанский профессор Городчанинов прислал ему печатную книжку: *Разбор речей из Марфы Посадницы* и еще чего-то из его сочинений, разбор, наполненный похвалою. Та же участь постигла и эту книжку!

Он оставлял иногда без ответа письма, наполненные похвалами уважения, которые для всякого другого были бы очень приятны; также и присылку к нему книг. Дядя мой, строгий наблюдатель приличий, часто упрекал его в этом. Но это было не по гордости, а потому, что Карамзин не любил пустого труда и берег дорогое время. Нынче некоторые тоже не отвечают на письма, но, во-первых, они не имеют тех прав: это не Карамзины; во-вторых, эта неучтивость так сходится у иных с образом жизни, с их

обращением, что, очевидно, она происходит у них от одного недостатка воспитания. Карамзин был выше мелочей, хотя и его дядя мой в этом не извинял; а иные воображают себя выше других, потому что не разберут чужого достоинства.

Карамзин, говоря о русском языке, употреблял иногда вместо правила подобие, которое делало правило очевидным. У одного журналиста в Москве нашел он слово: *кормчиев* вместо *кормчих*. Он сказал ему: «Разве вы напишите: *певчиев* вместо *певчих*?» Что сказал бы он о нынешних *помимо и совпадать*?

Возвратясь в Москву после нашествия французов, Карамзин жил сперва в доме Селивановского, на Большой Дмитровке; потом на Воздвиженке, в угольном доме Ф. Ф. Кокошкина, против церкви Бориса и Глеба. Я нередко бывал у него сперва вместе с моим дядею, а потом и один, после вторичного отъезда его в Петербург на министерство.

Не было человека обходительнее и добрее Карамзина в обращении. Голос красноречивейшего нашего писателя был громок и благозвучен. Он говорил с необыкновенною ясностью; спорил горячо, но логически и никогда не сердился на противоречия. Вот как изобразил его Жуковский в письме к моему дяде. Хотя эти стихи и были напечатаны вполне в *Москвитяине*, но помещаю здесь этот отрывок по верности изображения. Это писано в 1813 году; но относится к времени, предшествовавшему 1812 году. Жуковский говорит о доме И. И. Дмитриева, сгоревшем во время нашествия иноплемеников, и вспоминает о тогдашнем его обществе, собиравшемся в его саду, за чаем, под тению широкой липы.

Сколь часто прохлажденный
Сей тенью Карамзин,
Наш Ливий-Славянин,
Как будто вдохновенный,
Пред нами разрывал
Завесу лет минувших
И смертным сном заснувших
Героев вызывал
Из гроба перед нами!
С поднятыми перстами,
Со пламенем в очах,
Под серым юберроком

И в пыльных сапогах
Казался он пророком,
Открывшим в небесах
Все тайны их священные!

Я видал Карамзина в этом виде: с поднятыми перстами и с пламенем в очах. Изображение очень верно! — Эти стихи напечатаны ныне вполне в последних трех томах сочинений Жуковского.

Образ жизни его в Москве был чрезвычайно правилен. Всякое утро посвящал он труду, истории российского государства; всякий день ездил верхом или ходил пешком перед обедом; в 10 часов вечера выходил в гостиную пить чай и принимал тех, которые приезжали к нему на вечер.

Император Александр не знал Карамзина до 1811 года. В этом году, намереваясь посетить в Твери великую княгиню Екатерину Павловну, которая была тогда в супружестве за герцогом Голштейн-Ольденбургским, государь пожелал видеть там Карамзина, который по приглашению великой княгини и приехал в Тверь. Здесь-то читал он в первый раз государю свою историю: что представлено на одном барельефе памятника, воздвигнутого историографу на его родине, в Симбирске. Жаль очень, что и государь, и историограф изображены на нем не в современном костюме.

В это же время представил он Екатерине Павловне *Записку о древней и новой России*, написанную по ее желанию. Великая княгиня просила написать ее только для своего собственного прочтения и обещала хранить в тайне. Но, выслушав чтение этой *Записки* от самого Карамзина, она так прельстилась сказанными в ней истинами, что взяла ее из рук у автора и заперла в столик; а потом показала ее государю. Государю сначала не понравились откровенные замечания историографа. После благоволения за чтение *Истории* Александр на другой же день после прочтения *Записки* оказал к нему холодность и, разговаривая милостиво с супругой Карамзина, Екатериной Андреевной, не обращал к нему ни слова. Но на третий день все стало по-прежнему, как будто ничего не бывало.

Государь, между многотрудных дел войны и политики, брал с собою в путешествие рукопись *Истории госу-*

дарства российского; читал со вниманием и даже делал на полях отметки, особенно в 9-м томе. На вопрос Карамзина: прикажет ли исправить места, им отмеченные? государь отвечал, что он делал эти отметки только для себя; но чтобы печатал, как есть в рукописи.

История государства российского была напечатана в 1818 году без цензуры, по высочайшему повелению...

По летам государь любил жить в Царском Селе. Карамзин, переехавший в Петербург для печатания *Истории*, проводил каждое лето тоже в Царском Селе, где для него, по приказанию государя, всегда приготавливалось помещение...

Расскажу здесь, как я получил камер-юнкерство. Дядя мой уже был семь лет в отставке и жил в Москве. Я тогда помолвил жениться. Дяде хотелось к моей свадьбе доставить мне звание камер-юнкера. Не смея писать об этом прямо к государю, несмотря на уверенность в его милости, он написал к Карамзину, что желал бы узнать, сохранил ли к нему государь прежнее благоволение и может ли он написать к нему о своей просьбе. Император жил тогда в Царском Селе. Встретившись с Карамзиным в саду, он сел на скамейку и посадил его подле себя. Первый вопрос был, как почти и всегда: «Пишет ли к тебе Иван Иванович и здоров ли он?» — «Пишет, государь; я еще имею от него и поручение». — «Какое?» — «Он желает узнать от меня; сохранили ли вы к нему прежнее милостивое благоволение?» — «Что́ это значит? Разве ты сомневаешься?» — «Нет, государь; но у него есть просьба». — «Какая?» — Карамзин сказал о камер-юнкерстве. — Надобно сказать, что государь при начале разговора с Карамзиным взял у него трость. — Не отвечая ничего на последние слова его, он начал писать на песке тростью и написал: *быть по сему*. Карамзин, видя это, ободрился и решился спросить: какой же ответ прикажете мне написать, государь? — Александр отвечал: «Ты ответ видишь!» — «Но это, государь, написано на песке!» — заметил Карамзин с улыбкою. — «Что́ я написал на песке, то напишу и на бумаге!» — По уведомлении об этом, дядя мой написал уже письмо к самому императору. Таким образом 19 августа 1821 года получил я звание камер-юнкера.

При Александре этим званием жаловали не за службу, а по известности фамилии или во уважение службы родственника; оно давалось как милость, а не в награду. В 1818 году мы трое — Д. П. Голохвастов, М. Ап. Волков и я — были представлены к этому званию от графа Нессельроде, при канцелярии которого мы тогда находились некоторое время; но государь изволил отвечать, что он за службу не награждает придворным мундиром.

Отец Карамзина, Михаил Егорович, был симбирский дворянин. Он был женат два раза. От первого брака были у него сыновья: Василий Михайлович, Федор Михайлович (род. 1767) и Николай Михайлович (род. 1765). Я знал и тех обоих братьев. Во втором браке был он женат на родной сестре моего деда и родной тетке моего дяди и отца, Авдотье Гавриловне Дмитриевой. От этого брака имел он сына Александра Михайловича и дочь Марфу Михайловну, по мужу Философову. Таким образом, младший брат и сестра Николая Михайловича были моему дяде двоюродные; а Николай Михайлович не родня. Но они были с ним ближе родных по своей дружбе.

Много писали в журналах о месте рождения Карамзина. Я имел случай получить об этом вернейшее известие от его родного племянника, а моего внучатого брата, живущего и ныне в Симбирской губернии, известие, подтвержденное и другими лицами. Это сведение прошу почитать самым достоверным.

Карамзин родился, по нынешнему разделению России, Симбирской губернии и уезда, в деревне *Карамзинке*, она же и *Знаменское*; а по тогдашнему разделению: Казанской губернии, Симбирской провинции и того же уезда.

Некоторые полагали, что он родился в Оренбургской губернии. Но это решительно неверно. Оренбургская деревня, которую считали местом рождения Карамзина (ныне Самарской губернии, Бузулукского уезда), именуемая *Преображенское*, она же и *Михайловка*, тогда еще не была поселена: тут была в 1765 году степь. — Я желал бы, чтоб будущие биографы Карамзина приняли это к сведению, как окончательное решение вопроса о месте рождения нашего историографа.

Еще доказательство. В 1767 году (два года после рождения Карамзина) во время бытности императрицы Екатерины в Симбирске мать его сожалела, что не могла

ехать в Симбирск и видеть государыню, по причине своей беременности (третьим сыном, Федором Михайловичем), хотя она жила и *близко* от Симбирска, в той же деревне Карамзинке. (А оренбургская деревня очень далеко). — Следовательно, если она третьим сыном была беременна, все еще живучи в Карамзинке, то и по давню второй сын Николай Михайлович родился там же.

Начало службы Карамзина было, как и всех дворян хорошей фамилии того времени, в гвардии. Гвардейская его служба продолжалась недолго; но сколько и с которого года по который, не знаю; знаю, однако, что он в своей молодости (это было до 1787 года) приезжал на свою родину, в Симбирск, и едва там не остался.

Там молодой человек, умный, хорошенький собою и приехавший из Петербурга, разыгрывал роль светского юноши. Тапцевать он, вероятно, не танцевал, потому что был и не мастер: он сказывал при мне, что за его танцеванье было заплачено танцмейстеру всего 15 рублей медью; он взял 30 уроков, по полтине за урок, но в замену этого он пристрастился было к картам. К счастью, в это время был в Симбирске Иван Петрович Тургенев (отец Александра Ивановича). Он знал способности молодого человека; знал его переводы, первые его опыты в литературе. Ему стало жаль умного и талантливому юношу, который губит свои способности в кругу людей, которые не могли и оценить их, не только придать им силы. Он устыдил молодого Карамзина образом его жизни, уговорил его ехать в Москву и приняться за что-нибудь полезное. Этому-то достойному человеку обязаны мы сохранением Карамзина от рассеянной, пустой жизни и неразлучных с нею искушений. Тогда-то возвратился Карамзин в Москву и тогда-то, по рекомендации Тургенева, вступил в Общество Новикова, к которому принадлежал уже его Агатов — Александр Андреевич Петров.

Первые опыты Карамзина, до его путешествия, были следующие:

Деревянная нога, швейцарская идиллия, перевод из Геснера — 1783.

Некоторые переводы, напечатанные более в двух первых томах *Детского чтения* — 1785. В последующих он помещал их изредка, без постоянного участия.

О происхождении зла, поэма, перевод из Галлера — 1786.

Юлий Цезарь, трагедия, перевод из Шекспира — 1787.
(Замечу для библиоманов, что есть другой старинный перевод Р. А., то есть: Арсеньева. Перевод Карамзина напечатан был в типографии компании типографической.)

Эмилия Галотти, трагедия Лессинга — 1788.

Все эти опыты предшествовали путешествию Карамзина в чужие края. Он сделался известен с издания *Московского журнала* в 1791 году, особенно по *Письмам русского путешественника*, которых были помещены в нем первые четыре части.

В книжке Карамзина *Мои безделки* напечатан был рассказ под названием: *Фрол Силин, благотворительный человек*, с таким примечанием автора: «Он еще жив, один из моих приятелей читал ему сию пиесу. Добрый старик плакал и говорил: я этого не стою, я этого не стою!»

Я обязан сказать, что все написанное о *Фроле Силине* совершенная правда. Он был крестьянин моего деда Ивана Гавриловича Дмитриева, из деревни *Ивановское*, более известной под другим названием: *Чекалино*, в семи верстах от нынешнего моего села. Я знал Фрола Силина и помню, как теперь гляжу, его умное лицо, высокий рост, редкую седую бороду и красный нос, потому что он любил-таки выпить. — Сколько раз, в моем детстве, он приносил мне меду, только что вынутых сотов, потому что он был зажиточный. — Приятель Карамзина, читавший Фролу Силину описание его добрых поступков, это мой дядя Ив. Ив. Дмитриев. — Фролу Силину казалось чрезвычайно дико, что о нем написано в книге: как-то он не верил и думал, кажется, не шутят ли над ним и не читают ли наизусть, чего совсем не написано.

Есть пословица: «Каков корень, таковы и отростки». — Но, видно, она не совсем справедлива. — Расскажу происхождение Фрола Силина, годное хоть бы в роман.

Мать его, молодая баба, работала в поле; пахали разбойники и увезли ее с собой. У них прожила она целый год. Наконец, когда они в ней уже уверились и могли, по их соображениям, безопасно оставлять ее одну, они отравились на разбой, оставивши ее без надзора. Она скрылась, ушла к своему мужу и, говорят, не без денег. Один из разбойников, который был к ней ближе, отыскал ее,

приехал к ней в дом и велел дать знать — в известное место — когда она родит; и ежели родит сына, дать ему имя *Фрол Силин*. Так и сделалось.

Скажут: «Где же разбойники могли жить зимою?» — Во-первых, их так боялись в старину, что им везде было пристанище. Мог же разбойник безопасно приехать в дом к этой бабе. — А если бы его схватили и представили в город, товарищи его не оставили бы без отмщения: подпустили бы *красного петуха*, т. е. зажгли бы все селение. — А во-вторых, сколько других убежищ! Недалеко от моей деревни, в бывшем имении моего деда, находится и доныне пещера из одного камня, в которой может поместиться человек двадцать и более. Вход в нее низкий, ползком, но в ней высоко и просторно; из нее такой же спуск в другую, нижнюю пещеру, на противоположную сторону горы. А с лесистой горы открытый вид кругом, верст на пятнадцать. В пещере заметны следы дыма; как не жить тут разбойникам, даже и зимой!

По странности происхождения *Фрола Силина* ходили о нем разные, конечно, вздорные, слухи. Говорили, что он знал какое-то слово, по которому его не трогали разбойники, и даже некоторые слова, которым приписывали таинственную силу. — Я рассказываю это натурально, не за истину, а за слухи, которые о нем ходили между крестьянами и которым они верили.

Говорили, например, что однажды, когда он ехал куда-то один в телеге, на него самого напали разбойники, разумеется, уже другие, не той шайки, которая похитила его мать, потому что прошло много времени. Одни схватили под уздцы его лошадь, другие ухватились за телегу. — Он будто бы промолвил какое-то слово и закричал на лошадь. Руки их пристали к узде и к телеге, и таким образом он их привел к себе домой. — Приехавши, велел их накормить; но они просили только, чтобы он отпустил их. Фрол Силин взмилдовался и отпустил, сказав только: «Теперь знайте Фрола Силина!» — Само собою разумеется, что это сказка, доказывающая только, как все необыкновенное вызывает в народной фантазии рассказы, превращающиеся по большей части в чудесное.

Сочинения Карамзина были приняты с необыкновенным восторгом. Красота языка и чувствительность — вот

что очаровало современников. Молодые люди и женщины всегда восприимчивее и к чувствительному и к прекрасному: по крайней мере, так было в то время. Их-то любимцем сделался Карамзин как автор. Его слог чрезвычайно быстро пропик в молодое поколение писателей, по тем более возбудил он против себя закоснелость стариков и старых писателей, которым переучиваться было уже поздно. Между ними восстал на него Шишков в своей книге *Рассуждение о Старом и Новом слоге* (1802).

Нынче эта книга забыта, по в свое время она наделала много шума в пишущей публике, и Шишков сделался знаменем, под которое стекались литературные старожилы. Впрочем, этих людей было немного; все они были люди, не отличавшиеся ни знаниями, ни талантами. Таковы были, например, Захаров (который написал *Похвалу женам* и в переводе Телемака прославился своею фразою: *восседали старцы обоего пола*); потом: *Станевич, Анастасевич, Политковской*. Кто об них ныне знает и помнит, что они написали? А язык Карамзина распространялся более и более.

Ныне пишут о Шишкове, как об учредителе школы, противодействовавшей Карамзину, как будто Шишков имел в нашей литературе какую-нибудь силу и произвел на нее какое-нибудь влияние! Ничего этого не было! — Один Шишков писал против Карамзина, а другие, немногие, молча лепились около него, по зависти к недостижимому таланту, по недоверчивости к нововведениям в слоге и по незнанию языка, а не потому, чтобы отстаивали коренные его свойства. Сам Шишков, имевший пристрастие к славянскому языку, плохо знал его и вообще не имел достаточных сведений в филологии. Если бы нынешние защитники Шишкова прочитали его книгу *Рассуждение о Старом и Новом слоге; Прибавление к рассуждению, и О красноречии Св. Писания*, они сами могли бы это увидеть.

Это пишут они оттого, что книг Шишкова не читали; вот этому и доказательство.

Г. Плаксин в своей книге *Краткий курс Словесности* (С.-П.-Б. 1832, стр. 161) говорит: «Критики Шишкова имели весьма значительное влияние в нашей литературе, особливо: *о легчайшем способе возражать на критику* может

почесться лучшим образцом и теориею критики». Я в этом согласен, что эта небольшая книжка действительно превосходный образец критики; но дело в том, что она написана не *Шишковым*, а *против Шишкова* и что в ней-то и доказано, что Шишков плохо знает славянский язык и что он плохой критик. Эта книжка написана *Дм. Вас. Дашковым*, который после был министром юстиции. Об ней я упомяну после.

Там же говорит г. Плаксин: «*Полемический спор* Карамзина с Шишковым — может быть читан с пользою». Не говорю о том, что полемический спор — это все равно, что *спорный спор*; но где бы достать прочитать такую редкость, которой никогда не существовало, т. е. спор Карамзина с Шишковым. Карамзин, это всем известно, никогда не отвечал Шишкову на его нападки, ибо критики прямо против Карамзина и на его имя Шишков тоже никогда не писал! Стало быть, г. Плаксин тоже не мог читать того, что советует прочитать ученикам своим.

Шишков находил у Карамзина *галлицизмы*, которых нет, а сам, употребляя славянские или старинные русские слова и думая писать подобно предкам, очень часто делал галлицизмы и не замечал этого. Причиной этого то, что он все иностранные слова (кроме немецких, ибо он по-немецки, как и по-итальянски, знал хорошо) принимал за французские, а не французские слова за галлицизмы. Он не знал, что галлицизм, германизм и прочее заключается не в слове, а в *обороте речи*; что он относится не к этимологии языка, а к синтаксису.

В доказательство, что Шишков сам делал галлицизмы, вот одна его фраза: «*Не могла она* (т. е. пчела) *как токмо* самонаименованную *часть онаго* (меда) высосать». Это оборот совершенно французский: *elle ne pouvait en tirer que la plus petite partie*. По-русски надобно было сказать: «*Она могла только*» или «*Она не могла более, как только*». А вот пример его худого знания русского языка: «Так писали предки наши, *которых* нынешние писатели не читают, или смеются им». По-русски следовало сказать: «или *которым* смеются».

Пример того же, что все иностранные слова он почитал французскими, напечатан был в «Москвитянине» А. С. Стурдзою. Слово *Trésor* (вместо латинского *thesaurus*) Шишков производил от *très* и *or* и переводил по-рус-

ски словом *презлаго*. Его книги наполнены подобными примерами.

Он до такой степени был нетверд в понятии о свойствах языка, что для него *слово, оборот речи и самая метафора*, все это, и *фигуры*, и *тропы*, принадлежали самому языку. Находит ли он метафору — это у него свойство и красота славянского языка; находит ли он эллинизм и такую перестановку, такое сочетание частей речи, от которых речь запутана и вовсе непонятна для русского человека: это у него опять свойство и красота славянского языка.

Истинный знаток языка, как, например, *Евгений Иоаннович*, епископ Карловацкий (написавший недавно грамматику церковнославянского языка) различает легко ошибки неискusstных переводчиков от истинных свойств языка. На это же указывал и Дашков в своей маленькой, но драгоценной книжке, написанной против Шишкова. Но Шишков принимал это за раскол в словесности и вместо дельного возражения укорял своих противников, что сроду не бывали ни у заутрени, ни у обедни. (См. *Цветник*, изд. Измайлова и Никольского, 1810, т. 8, стр. 430).

Вот подлинные слова Шишкова: «Новораспространившееся о словесности толкование умы многих молодых людей, впрочем весьма острых и благомыслящих, удивительным образом заразило. Иной, не читав ничего, кроме переводимых по два тома в неделю романов, и не бывав сроду ни у заутрени, ни у обедни, не хочет верить, что *благодатная, неискusобрачная, тлетворный, злокозненный, багрянородный* — русские слова, и утверждает это тем, что он ни в Лизе (т. е. в «Бедной Лизе» Карамзина), ни в «Анжюте» их не читал». (См. *перевод двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика*.)

В «Рассуждении о красноречии св. писания» говорит он о разделении славянского и русского языка, между прочим; следующее: «На что ж чуждаться нам первого из оных и стараться приводить его в забвение и презрение? Для того ли, чтоб ум и сердце каждого отвлечь от правоучительных духовных книг, отвратить от слов, от языка, от разума оных и привязать к одним светским писаниям, где столько расставлено сетей к помрачению ума и уловлению невин-

лости, что, совлеченная единожды, она непременно должна попасть в оныя. Какое намерение полагать можно в старании удалить нынешний язык наш от языка древняго, как не то, чтобы язык веры, став невразумительным, не мог никогда обуздывать языка страстей». — Таковые-то мнения включал Шишков в простое рассуждение о языке!

И таковы-то были тогдашние споры филологов! — Когда сравнишь их с нынешними филологическими исследованиями, когда вспомнишь тогдашнее издание Российской Академии, под названием *сочинений и переводов* и сравнишь их с нынешними трудами Академии наук по 2-му отделению, то ясно увидишь, что с того времени мы сделали великие успехи и что только ныне филология сделалась у нас наукою; а тогда была только поприщем, на котором изощрялась охота к словопрению.

Надобно, однако, отдать справедливость Шишкову в том, что он был как бы предшественник нашей филологии, хотя не имел о ней понятия ученого. Большую честь делает ему и то, что в своих *разговорах о словесности* (1811) он силился обратить внимание словесников к *простонародным русским песням*, которые тогда были в пренебрежении. — Время много значит! Пиши он ныне — он писал бы не так, и не так бы понимали его направление! У него не доставало критики и разумного, хладнокровного исследования: в направлении того времени было много увлечения и не было разумного отчетливого созерцания науки.

Шишков, под неприветливою наружностью, был добродушен; под холодною наружностью, пылок. Таков он был и в молодости. Дядя мой, С. Ф. Филатов, капитан первого ранга и георгиевский кавалер, служил с ним вместе в морской службе и знал его коротко, как товарища. Он рассказывал, что Шишков в молодых летах влюблялся беспрестанно и страдал от любви. Он не изменил себе и под конец жизни: в глубокой старости он вторично женился на женщине молодой, в сравнении с ним, летами.

Добродушный, честный, благонамеренный, он увлекался слепую страстию к старине и к красотам славянского языка; говорю: слепую, потому что он худо знал и понимал предмет своей страсти. Эта слепая страсть делала его несправедливым; при цели, с его стороны, конечно, благо-

намеренной, он почитал дозволенными все средства. В своей книге *О слоге* он беспрестанно употребляет вот какую уловку. Он выписывает фразу Карамзина, всем известную; а вслед за нею фразы *плохие* или *смешные* других молодых прозаиков: так, чтобы не знающий или недогадливый читатель подумал, что и последние принадлежат Карамзину же. Этими уловками и тоном нетерпимости, господствующим в его книге, он более всего возбудил против себя почитателей Карамзина; а примерами собственного незнания, соединенного с уверенностью знатока и с упреками, не всегда умеренными, возбудил негодование просвещенных литераторов.

Но со стороны нравственных требований от слова человеческого, которое, особенно в руках писателя, может сделаться и благотворным и вредным орудием, Шишков, несмотря на свои крайности, был прав: в этом отношении нельзя не пожалеть, что люди его времени оставляли в пренебрежении его указания. Он восставал, например, не собственно против французского языка, но против его безрассудного употребления, которое было таково, что нынче мы устыдились бы видеть это между нами. Одним словом: до 1812 года чистый французский язык был у нас — и грамота на благородное происхождение, и аттестат на отличное воспитание. Один Шишков видел, задолго до нашествия врагов, что под этим скрывается пристрастие не к одному языку, а ко всему чужому; что и посредством языка Франция, так сказать, налагала на нас безотчетное покорство самому образу мыслей чужого народа. Кроме того, он видел, хотя и не умел выразить этого, что *одна* чужая литература, особенно же французская, красивая, легкая, неглубокая, ведет к расслаблению понятий и к односторонности; что русские писатели, не зная других литератур, не могут извлекать пользы из сравнения, и потому, вместо расширения своих понятий, суживают свои понятия; что они осуждены черпать из *одного* источника, и то не из чистой глубины, а по большей части типистую мутную воду пологого берега, к которому доступ легче. Шишков предсказывал многие плоды этого пристрастия к чужому, этого отчуждения от самих себя: что и сбылось и что мы только теперь поняли. Шишков был, в некотором смысле, пророк; за то его и не слушали, как в древности пророков! Несмотря на все, что сказано много выше, несмотря на его исключительность, на те средства обличения, кото-

рые он иногда позволял себе в своем негодовании, несмотря, говорю, на все это, честная его память, как человека, заслуживает вечное уважение.

Эта-то его односторонность и раздражительность и становились против него: хладнокровные указания и строгость мысли были бы действительнее. Это надобно принять в соображение и нынешним славянофилам.

Карамзин не возражал Шишкову. Первый восстал на книгу Шишкова *О старом и новом слоге* Петр Иванович Макаров в своем журнале *Московский Меркурий* (1803 года). Макаров этой дельной рецензией сделал себе почетное имя между тогдашними литераторами. Ранняя смерть не допустила его до дальнейших успехов на поприще словесности; но он был один из самых благоразумных и беспристрастных последователей Карамзина. Его слог был следствием изучения языка, а не подражательности. Он не заботился поддерживать его легкими и пустыми фразами, как другие, не замечая, что не в пустоте фразы состояла легкость Карамзинского слога.

Сказавши с похвалою о слоге и дельных замечаниях Макарова, я не могу, однако, умолчать о направлении его журнала. *Легкость* была тогда достоинство; но у некоторых она переходила границы, обнаруживаясь не в одном слоге и содержании, но и в самом образе мыслей относительно до тех понятий, которые ныне остановят руку пишущего, не дожидаясь напоминания цензуры. Довольно взглянуть в его журнале на поклонение женщинам, совсем не однозначачшее с уважением; довольно видеть его апофеозу Ниноны Ланкло! — Мы, кажется, в этом отношении лучше и застенчивее наших предшественников. — Еще одна заметная сторона этого журнала, относящаяся тоже более к тому времени. Чуть появлялась книга важного содержания, критик (т. е. сам издатель) оказывался, при всем своем уме, *incompétent*, неспособным произнести суждение и отделивался короткою фразой или отказывался от произнесения своего мнения. — Одним словом, до указа 1809 года, заставившего нас учиться, и самые просвещенные литераторы были так небогаты основательными знаниями, что каждый из нас, нынешних стариков, не говорю уже о учившихся после нас молодых людях, показался бы в то время ученым человеком! — И в этом видно, как Карамзин был выше своих современников между писате-

лями! — А как подвигалось просвещение, еще до упомянутого указа, и как важно было в этом отношении содействие университетского благородного пансиона, близкого к университету, доказывает собою Жуковский.

Кстати, о тогдашней легкой литературе. Я не знаю, читал ли кто из читателей моих *Мелочей* «*Журнал для милых*», издававшийся (1804 года) другим Макаровым, Михайлою Николаевичем, недавно умершим. — Довольно названия, чтобы разинуть рот от удивления! А если бы знали содержание: пустота, и под фирмою сентиментальности какое-то жалкое и бессильное поползновение к непристойности! — Ныне это — морально невозможно! Правда, Михаил Николаевич Макаров был тогда очень молод; но нынешняя молодежь имеет притязание на *лучшую* известность по уму и постыдилась бы нескромности! — Михаил Николаевич Макаров рассказывал мне, что в первый раз он встретил Карамзина в типографии и тотчас поднес ему билет на «*Журнал для милых*». Карамзин поблагодарил его и сказал: «В первый раз еще вижу детей журналистами». Он знал уже журнал Макарова. А *Северный Вестник* Мартынова поспешил дать совет, чтоб «милые» и в руки не брали этого журнала. «Это, — говорил мне в старости сам издатель, — было и справедливо».

Любопытно, однако, знать и цель, и участников этого журнала. Семнадцатилетний Макаров начал его с помощью одного студента Славяно-греко-латинской академии И. В. Смирнова. А цель их была не одно утешение милым; но (как признавался мне в старости сам издатель), «ниспровергнуть *варварские укрепления* Шишкова против Карамзина» — хотя во всем журнале и подозревать нельзя такого героического предприятия! Полемика была поручена *сотрудницам*, известным только одним издателям. — Но кто же были эти сотрудницы?

Завлеченные какими-то обстоятельствами, приехали в Москву две молодые *кroatки* княжна Елизавета *Трубеска* и сестра ее А. *Безнина*. Они учились по-русски у того же студента Смирнова. Им-то вверена была критика. — Журнал не мог, однако, продолжаться. Тогда издатели уговорили одну из сотрудниц издавать другой от своего имени. — Она не задумалась и немедленно объявила в газетах о новом журнале *Амур* и перевела свою фамилию по-русски, т. е. вместо кн. *Е. Трубеска* подписалась под программой:

княжна Елизавета *Трубецкая*.— Княжна такого имени и фамилии была известна в Москве в большом свете: можно себе вообразить, сколько хлопот стоило это бедному Макарову! — Журнал не состоялся; а Безнина и Трубеска уехали в свою сторону, не в Кроацію, а в Богемию.— Все это читаешь ныне, как сказку.

Но никто не писал против Шишкова так сильно и основательно, как Дмитрий Вас. *Дашков*, первоклассный знаток русского языка, в своем разборе *двух статей из Лагарпа (Цветн. 1810)* и в упомянутой выше книжке *о легчайшем способе возражать на критику* (1811) он выводит на свежую воду всенезнание Шишкова и поражает его строгою логикою и строгим знанием языков славянского и русского.

Дашков доказал, что некоторые примеры, приводимые Шишковым из старинных книг, как красоты славянского языка, суть не что иное, как буквальный перевод с греческого, противный словосочинению славянского языка. Он указал ему на предисловие Св. Синода к изданию Библии 1758 года, где упоминаются слова одного из трудившихся в издании Острожской Библии: «*Аз, рече, составих, елико могох, умалением си смысла; ибо училища николи же видих, но повеления Благочестиваго Князя отрещися отнюдь не возмогах*». — Это был бой зрелого просвещения с упрямой стариной, достойный и нынче быть в памяти. Небольшая книжка Дашкова доставила ему между беспристрастными литераторами большую славу.

В этой книжке, очень дельной и по содержанию своему важной, есть, однако, и смешное. Шишков, например, говорит, что мудрые составители славянского языка (как будто язык кем-нибудь составляется) для изображения предметов круглых выбирали и буквы круглые, так в слове *око* находятся два *О*. — Дашков спрашивает его, от чего же эти мудрецы забыли при этом два прототипа круглости *шар* и *круг*, в которых нет ни одного *О*? Шишков, разгорячившись на своего противника, говорит, что он никогда не утверждал, что все славянские выражения принадлежат к высокому слогу; что есть и низкие, например: «*И сотворю ти подзатыльницу*». Дашков отвечает, что он в этом согласен; но что на это можно возразить высоким слогом: «*И абие воздам ти сторицею!*» — и что это будет гораздо

сильнее! — Вот что находится в этой книжке, которую г. Плаксин приписывает самому Шишкову.

Против него-то и других тогдашних славенофилов, и отчасти против Державинской *Беседы*, где они нашли себе прибежище в литературе, учреждено было в Петербурге то шутливое *Арзамасское общество*, о котором напечатал в «Москвитянине» А. С. Стурдза.

Оно названо было *Арзамасским* вот по какому случаю. Воспитанник петербургской Академии художеств живописец Ступин переехал на житье в Арзамас и завел там школу живописи. Я, в один проезд мой через Арзамас с моим дядею, посетил его и с ним познакомился. Молодые литераторы, которым, при всем уважении к предприятию Ступина, казалось смешным, что в Арзамасе есть школа живописи, называли ее *Арзамасскою Академиею* и в подражание этому учредили в Петербурге *Арзамасское ученое общество*.

В этом обществе, посвященном шуткам и пародиям, каждый член имел свое имя. Некоторые имена я помню: Жуковский назывался *Светлана*; А. И. Тургенев — *Золова Арфа*; С. П. Ж. — *Громобой*, Д. Н. Б. — *Кассандра*; Ф. Ф. Вигель — *Ивиков Журавль*; Д. П. С. — *Резвый Кот*; С. С. Уваров — *Старушка*; В. Л. Пушкин — *Вот*. Других не помню. Они читали пародии, и каждое заседание начиналось похвальным словом какому-нибудь из литературных староверов, противников Карамзина, или кому-нибудь из стихотворцев.

В этих пародиях и речах, произносимых членами, много упоминался известный гр. *Дм. И. Хвостов*. Кстати вспомнить при этом случае об нем.

Гр. Хвостов теперь забыт; но в наше время он составлял наслаждение веселых литераторов и молодых людей, не чуждых литературе, которые хотели позабавиться. Слушатели бегали от его чтения; но словесники находили в его сочинениях неисчерпаемый источник забавы и шуток.

Он был по происхождению не граф и начал свое литературное поприще еще в старинном журнале *Собеседник*, потом печатал в *Аонидах* Карамзина, еще без графского титула. Но он был женат на племяннице Суворова, который и выпросил ему графство у короля Сардинского.

Его сочинения замечательны не тем, что они плохи: плохими сочинениями нельзя прославиться, так как не прославился своими Николев. А он, в Петербурге и в Москве, составил себе *имя* тем, что в его сочинениях сама природа является иногда наизусть. Например, известный закон оптики, что отдаленный предмет кажется меньше; а у него в притче *Два прохожие* сперва кажется им издали *туча*; потом она показалась *горою*; потом подошли ближе, увидели, что это *куча*. У него, в тех же притчах, *осел* лезет на рябину и крепко *лапами* за дерево хватается; *голубь* — разгрыз *зубами* узелки; *сума* надувается от *вздохов*; *уж* — становится на *колени*; *рыбак*, плывя по реке, *застрелил лисицу*, которая не видала его потому, что шла к реке *кривым глазом*; *вор* — ружье наметил *из-за гор*. И множество драгоценностей в этом роде, особенно в первом издании его притчей 1801 года.

Журналы наконец неохотно печатали его сочинения. Были и другие стихотворцы, которым еще меньше было счастья у журналистов; трое из них, Гр. Хв., П. И. Г. — К. и С., согласились издавать журнал для помещения своих сочинений и уговорили П. П. Бекетова печатать этот журнал на его счет в его типографии, рассчитывая на большие выгоды. Таким образом составилась в 1803 году *Друг просвещения*, памятный только тем, что в нем поместил Евгений начало своего *Словаря светских писателей*. Три стихотворца (имена их обозначены при имени этого журнала в росписи книг бывшей библиотеки Плавильщикова) собирались вместе читать свои произведения и решать, достойны ли они помещения в журнале. При этом разборе, как скоро пьеса третьего оказалась плоха, двое наперерыв превозносили ее, для того только, чтобы их собственные произведения при ней показались читателям лучше. После этого можно судить, каковы были все стихотворения, помещаемые в этом журнале!

Граф Хвостов был известен охотою читать всякому свои сочинения. Ф. Ф. Кокошкин был его племянник. Однажды в Петербурге гр. Хвостов долго мучил его чтением. Наконец, Кокошкин не вытерпел и сказал ему: «Извините, дядюшка! Я дал слово обедать; мне пора! Боюсь, что опоздаю; а я пешком!» — «Что же ты мне давно не сказал, любезный!» — отвечал гр. Хвостов: — У меня готова карета; я тебя подвезу!» — Но только что они сели в карету,

гр. Хвостов выглянул в окно и закричал кучеру; «Ступай шагом!» — а сам поднял стекло кареты, вынул из кармана тетрадь и принялся запертого Кокошкина опять душить чтением.

Летом 1822 года несколько петербургских литераторов, в том числе и Крылов, нанимали на общий счет дачу близ Руки. Иногда бывали у них и чтения. В этом маленьком обществе прозвали Крылова *Соловьем*. Вдруг является к ним гр. Хвостов, с стихами *певцу-соловью*. Ему объявили, что если кто хочет быть членом их общества, тот должен покоряться их правилам; что они готовы его слушать, но за каждое рукоплескание — у них положена с автора бутылка шампанского! Граф Хвостов начинает читать: за каждым куплетом раздаётся рукоплескание; за каждым необыкновенным стихом, в его роде, опять рукоплескание! — Их начлось так много, что автор должен был отплатиться таким количеством шампанского, которое стоило ему довольно дорого.

Но он же был добродушен. Алекс. Еф. Измайлова, издателя *Благонамеренного* и баснописца, просил о пособии в бедности бедный и больной симбирский баснописец *Маздорф* (я знал его лично); но с тем вместе он просил не объявлять об этом в *Благонамеренном*. Гр. Хвостов, как скоро сказали ему об этом, по неимению на этот раз наличных денег, немедленно взял вперед 100 руб. из своего жалованья и отдал их Измайлову для отсылки к Маздорфу (1819).

С ним делали много мистификаций, которые были тогда в употреблении. 1 апр. 1822 прислали к нему печатное траурное приглашение на похороны Измайлова, который совсем был здоров. Гр. Хвостов, несмотря на то, что Измайлов написал на него несколько сатирических басен, огорчился; но, наконец, догадался и выразил в письме своем к Измайлову все неприличие огорчать подобными шутками. Говорили, будто он явился на похороны; но это несправедливо! Как, однако, тогда все были веселы и наклонны к шуткам: это надобно заметить!

Известно четверостишие *Буало* на поэму *Шапеленя*, написанное его жестким слогом. Некоторые тогдашние литераторы (Жуковский, Дашков, Воейков и А. И. Тургенев)

нев) в подражание этому сочинили надпись к портрету русского стихотворца, которая была напечатана в *Вестнике Европы*. Вот она:

Се русска Флакка зрак! Се тот, кто, как и он,
Выспрь быстро, как птиц царь, нес звук на Геликон!
Се лик од, притч творца, муз читателя, Свистова,
Кой поле испестрил российска красна слова!

В числе авторов, страдавших от *Арзамасского общества*, был и кн. А. А. *Шаховской*, известный драматический писатель. Но это по особой причине. Он не любил Карамзина. В одной из первых своих комедий, *Новый Стерн*, он представил в карикатуре чувствительного автора; он метил в ней на князя Шаликова, но стороной хотел выставить направление, будто бы данное Карамзиным. Потом в комедии *Липецкие воды* метил на Жуковского, хотя и невпопад. Этим его комедия наделала в Петербурге много шума; этим раздражил он всех почитателей Карамзина и Жуковского, всех лучших и даровитых литераторов. — В Москве печатали на него эпиграммы. Три замечательнейшие из них были напечатаны в 12-й книжке *Российского Музеума*, — (1815) под заглавием *Целительные воды*, просто *Эпиграмма и К переводчику китайского си-роты* (потому что кн. Шаховской переводил трагедию Вольтера этого имени). — Там же помещено еще *письмо с Липецких вод*, аллегория, в которой под видом посетителей этих вод представлены лица из комедии кн. Шаховского.

Вот как принимали в члены Арзамасского общества Василия Львовича Пушкина. Это происходило в доме С. С. У.

Пушкина ввели в одну из передних комнат, положили его на диван и навалили на него шубы всех прочих членов. Это прообразовало шутливую поэму князя Шаховского *Расхищенные шубы* (которая была напечатана в *Чтениях Беседы любителей Российского слова*) и значило, что новопринимаемый должен вытерпеть, как первое испытание, *шубное прение*, т. е. *претъ* под этими *шубами*. Второе испытание состояло в том, что, лежа под ними, он должен был выслушать чтение целой французской трагедии какого-то француза, петербургского автора, которую и читал сам автор. Потом с завязанными глазами водили его с лестницы на лестницу и привели в комнату, которая

была перед самым кабинетом. Кабинет, в котором было заседание и где были собраны члены, был ярко освещен, а эта комната оставалась темною и отделялась от него аркою, с оранжевою, огненною занавескою. Здесь развязали ему глаза — и ему представилась посредине чучела, огромная, безобразная, устроенная на вешалке для платья, покрытой простынею. Пушкину объяснили, что это чудовище означает *дурной вкус*; подали ему лук и стрелы и велели поразить чудовище. — Пушкин (надобно вспомнить его фигуру: толстый, с подзобком, задыхающийся и подагрик) натянул лук, пустил стрелу и упал, потому, что за простыней был скрыт мальчик, который в ту же минуту выстрелил в него из пистолета холостым зарядом и повалил чучело! Потом ввели Пушкина за занавеску и дали ему в руку эмблему Арзамаса, мерзлого арзамасского гуся, которого он должен был держать в руках во все время, пока ему говорили длинную приветственную речь. Речь эту говорил, кажется, Жуковский. Наконец, поднесли ему серебряную лохань и рукомойник, умыть руки и лицо, объясняя, что это прообразует *Липецкие воды*, комедию кн. Шаховского. Все это происходило в 1816 или 1817 году. Разумеется, так принимали только одного добродушного Василия Львовича, который поверил, что все подвергаются таким же испытаниям. Общий титул членов был: *их превосходительства гении Арзамаса*.

Случилось, что Василий Львович, едучи из Москвы, написал эпиграмму на станционного смотрителя и мадригал его жене. И то и другое он прислал в Арзамасское общество; и то и другое найдено плохим, и Пушкин был разжалован из имени *Вот*; ему дано было другое: *Вот-рушка!* Василий Львович чрезвычайно огорчился и упрекнул общество дружеским посланием, которое напечатано в его сочинениях:

Что делать! Видно, мне кибитка не Парнас!
Но строг, несправедлив ученый Арзамас!
Я оскорбил ваш слух; вы оскорбили друга! — и проч.

При рассмотрении послания оно было найдено хорошим; а некоторые стихи сильными и прекрасными — и Пушкину возвращено было прежнее *Вот*, и с прибавлением *я вас*: т. е. *Вот я вас*, *Виргилиево quos ego!* — Пушкин был от этого в таком восхищении, что ездил по Москве и всем это рассказывал.

Так забавлялись в то время люди, которые были уже не дети, но все люди известные, некоторые в больших чинах и в важных должностях. Никто не почитал предосудительным в то время шутить и быть веселым, следуя правилу царя Алексея Михайловича: *делу время, и потехе час*. Тогда не считали нужною педантическую важность, убивающую природную веселость, и не любили педантических споров, убивающих общественное удовольствие.

Василий Львович Пушкин был родной дядя Александру Сергеевичу. К нему-то писал молодой Пушкин:

Нет, нет! Вы мне совсем не брат!
Вы дядя мой и на Парнасе!

Он писал басни, послания и мелкие стихотворения. Стих его был правилен, гладок, чист; но все дарование его ограничивалось *вкусом* и не имело силы. Между напечатанными его сочинениями всего более заслуживает внимание сатира *Вечер*, которая была помещена еще в *Аонидах* Карамзина. — Но более всего он прославился в свое время рукописною сатирою, в роде Ренье, под названием *Опасный Сосед*. Она ходила по рукам, как произведение действительно замечательное верностью и живостью картин и лиц, не совсем нравственных.

В ней главное лицо *Буянов*. Потому-то Александр Пушкин и написал в своем *Евгении Онегине*: «*Мой брат двоюродный Буянов*», т. е. потому, что родитель Буянова — его родной дядя, Василий Львович!

Но ни в чем так не отличался Василий Львович, как в стихах на заданные рифмы. В мастерстве и проворстве писать *bouts-rimés* никто не мог с ним сравниться! Я упомянул уже об одних его *bouts-rimés*, читанных у Хераскова.

Он был чрезвычайно добродушен. Не сердился за шутки, был постоянен в дружбе и дорожил сохранением приятельской связи; был человек светский, хорошего тона и вообще приятен в обществе. Он знал языки: французский, немецкий, латинский, итальянский и, кажется, английский. Любил читать вслух стихи лучших русских и иностранных поэтов; я слышал его, читающего паизусть оды Горация. Он путешествовал по Европе; жил в Париже и Лондоне; видел Бонапарта еще консулом и познакомился

в Париже с многими тогдашними авторами. Говорил и писал на французском языке, как на своем природном; русский язык знал отлично. Все его любили, особенно за его добродушие.

За несколько дней до его отъезда в чужие края дядя мой, бывший с ним коротко знакомым еще в гвардейской службе, описал шутливыми стихами его путешествие, которое, с согласия Василия Львовича и с дозволения цензуры, было напечатано в типографии Бекетова, под заглавием: *Путешествие Н. Н. в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия*. К этому изданию была приложена виньетка, на которой изображен сам Василий Львович чрезвычайно сходно. Он представлен *слушающим Тальму*, который дает ему урок в декламации. Эта книжка у меня есть: она не была в продаже и составляет величайшую библиографическую редкость.

В. Л. Пушкин, как почитатель Карамзина, был тоже в числе противников Шишкова. Известно, не однажды напечатанное, его послание к В. А. Жуковскому, где он, между прочим, говорит:

Я вижу весь собор раскольников-славян,
Которыми здесь вкус к изящному попрап,
Против меня теперь рыкающий ужасно.
К дружке вопиет наш Балдус велегласно:
«О братие мои! зову на помощь вас!
Ударим на него, и первым буду аз!
Кто пам грамматике советует учиться,
Во тьму кромешную, в геенну погрузится!
И аще смеет кто Карамзина хвалить,
Наш долг, о люди! злодея истребить!»

Тогда все это возбуждало внимание, печаталось, читалось и повторялось. Тогда стихотворство было в ходу; оно проникало во все круги светского общества и было правом на отличие; следовательно, ни одна черта не пропадала!

Добрый и любящий общественную жизнь, Василий Львович переходил, так сказать, от поколения к поколению; он был приятель дедов, отцов и внуков. Он был приятель с Карамзиным и Дмитриевым; потом с Жуковским, Батюшковым, Дашковым и их современниками, которые все были его моложе; потом сделался приятелем и с нами, которые были и их моложе.

Макс. Ив. Невзоров издавал журнал *Друг юношества*, который в последнее время называл *Другом юношества и всяких лет*. Кто-то применил очень удачно это название к В. Л. Пушкипу и очень верно называл его другом юношества и всяких лет.

Под конец своего литературного поприща, когда молодой Пушкин прославился поэмами, Василий Львович, в подражание своему племяннику, начал писать тоже поэму: *Капитан Храбров*. Он не успел ее кончить, но всем читал ее; он был страстный охотник читать свои сочинения. Я помню, что старушка, мать капитана Храброва, представлена очень робкою и верящею снам и предчувствиям. Я спросил автора после чтения: «А этой старушке фамилия тоже Храброва?» Василий Львович почувствовал намерк на несообразность ее характера с именем и отвечал нехотя: «Тоже Храброва!» — Я, в свою очередь, почувствовал неуместность моего вопроса.

Талант князя Шаликова известен: вялость мыслей и слога, поддельная чувствительность; в стихах — никакого одушевления, прозаический, жидкий период с рифмами; переносы смысла в недоконченный стих и никакого искусства; но в прозе слог его был чист, правилен и гладок.

Когда дядя мой станет, бывало, нападать на его пустоту, холодность и вялость, то Карамзин прекрасно защищал его, говоря, что в нем есть *что-то тепленькое*.

Кн. Шаликов был один из тех несчастливых подражателей, за которых упрекали Карамзина его противники, как будто хороший писатель виноват, что бездарная толпа идет по следам его. Скорее можно было поставить ему в заслугу, что и эти люди научились писать чисто, гладко и правильно.

Таково было действие, произведенное примером Карамзинской прозы, что и бесталантные писатели научились от него не только правильности и чистоте языка, но и благородству слога. Последнее надобно заметить особенно в нынешнее время. Ни один из тогдашних писателей не писал *языком лакейским*; ни один журналист не вставил бы в свою фразу: *изволите видеть*. Чувство вкуса предупредило бы его, что такими *любезностями* и такими *поговорками* не говорят в хорошем обществе. — Ни один из них не писал, как пишут нынче: *взойди в дверь и войди на*

лестницу. Ни один не сказал бы: *не хватало на это*; а сказал бы: *недостало на это!* А нынче так пишут даже и дамы.

Князь Шаликов был чрезвычайно известен и смешон своею нежностью, которой совсем не было в его характере: он был только сластолюбив и раздражителен, как азиат; его сентиментальность была только прикрытием эпикурейства. Он был странен и в одежде: летом всегда носил розовый, голубой или планшевый платок на шее. Его очень забавно описал молодой тогдашний поэт к. В.

С собачкой, с посохом, с лорнеткой
И с миртовой от мошек веткой,
На шее с розовым платком,
В кармане с парой мадригалов
И чуть звенящим кошельком,
Пустился бедный наш Вдыхалов
По свету страивать пешком.

Продолжения не помню.

Кн. Шаликов был по происхождению грузинец, что обнаруживала и его физиономия: большой нос, широкие черные брови, худощавость. Отец его был в военной службе, в офицерском чине. Сын был вместе с ним в походах, тоже записанный в какое-то военное звание, и находился в армии Потемкина при взятии Очакова...

Потом он жил в Москве, имея собственный домик на Пресне, и во время пашествия на Москву неприятелей остался в ней по недостатку средств для выезда. *Историческое известие о пребывании в Москве французов* напечатано им особой книжкой, и так как она содержит в себе свидетельство очевидца (а у нас таких книг мало), то и она не должна быть забыта. Это, может быть, из всего, написанного князем Шаликовым, одно, что должно сохраниться в библиотеках. Потом, когда был издателем *Московских Ведомостей*, кн. Шаликов жил в доме университетской типографии, на Страстном бульваре. Потом он оставил службу и переехал в маленькую свою деревеньку в Серпуховском уезде, где и умер 16 февраля 1852 года, 84 лет от роду.

Его нежные бульварные похождения невообразимы! Иногда за это ему случалось попадать или в неприятные,

или в смешные приключения, которые не подлежат скромному описанию, но которые забавляли его современников! А любопытно бы было описать в подробности *se vétéran — voltigeur et ses campagnes à la rose*. Он был очень оригинален. Нынче оригиналы так редки, бульвары и гулянья сделались так пошлы, что для современников князя Шаликова — его именно недостает на Тверском бульваре, как необходимой принадлежности.

Он написал в молодости два *Путешествия в Малороссию*, которые оба были бледным оттенком путешествия В. В. Измайлова в *полуденную Россию*, как то было слабым оттенком *писем русского путешественника Карамзина*. Он издавал три журнала: *Московский зритель*, 1806; *Аглая*, 1808—1812 г. и *Дамский журнал* 1823—1828 года. — Все они наполнялись легкими повестями, стихами и мелкими статьями в прозе. *Аглая* была из них всех лучше.

В *Дамском журнале* кто-то сыграл с ним непозволительную штуку, прислав к нему для помещения в журнале длинную шараду, которая составляла и акrostих. Князь Шаликов не заметил акrostиха и напечатал, а начальные его буквы составляли смысл: *глуп как колода!* — Но он совсем не был глуп, а только странен, кривлялся и сентиментальничал.

Он много трудился в переводах. Им переведены: *История Генриха Великого*, г-жи Жанлис; *Воспоминания об Италии, Англии и Америке*, Шатобриана; *Путевые записки в Иерусалим* и многие другие книги.

Он был довольно раздражителен. Если кем он был доволен, тот не избегал его маленького мщенья и попадал в его книжку *Мысли, характеры и портреты*, изд. 1815. — Мне случалось слышать, как спрашивали его: «Это вы не меня ли описали в таком-то портрете?» — «Нет! — отвечал кн. Шаликов: — это я описал такого-то; а вот это вас!» И на него за это нимало не сердились, потому что эти сатирические портреты были очень вялы.

А. Ф. Воейков в известных тогда стихах *Дом сумасшедших* поместил туда и князя Шаликова. Выписываю этот куплет:

Вот на розовой цепочке
Спичка Шаликов в слезах!

Разрумяненный, в цветочке,
В ярко-плащевых чулках,
Прижимает веник страстно,
Кличет Граций здешних мест
И, мяуча сладострастно,
Размазну без масла ест!

Но дядя мой, всегда благосклонный к трудам литературным, снисходительный к недостаткам и уважавший самое намерение в благородной любви к поэзии, написал к его портрету следующую надпись:

Янтарная заря, румяный неба цвет,
Тень рощи, в ночь поток, сверкающий в долине,
Над печкой соловей, три Грации в картине,
Вот все его добро, и счастлив: он Поэт!

Никогда не забуду я, однако, как узнал в первый раз князя Шаликова. Это было в 1813 году, когда мой дядя, будучи еще министром, приезжал на время в Москву, и мы жили на Маросейке, в доме канцлера графа Румянцева. К дяде моему съезжалось по вечерам довольно много: тут я видел брата канцлера, графа Сергея Петровича, графа Ростопчина и других. Я был тогда еще очень молод и воображал князя Шаликова, судя по его нежным сочинениям, белокурый молодым человеком, *blanc et rose*! Вижу однажды вечером человека с большим носом и черными бакенбардами, который говорит фигурно и кривляется. Вдруг, к моему удивлению, дядя мой говорит ему: «Что это, князь, вас так коробит?» — Я тем более удивился этому, что мой дядя был большой наблюдатель приличий и учтивости. По отъезде гостей я спросил: «Кто это?» И получил в ответ: «Князь Шаликов!» Я чрезвычайно удивился.

Последнее его дело было издание *Московских Ведомостей*, которые всегда начинались его стихами *На Новый год*. Впоследствии нашли ненужным это невинное приветствие. И для чего? Может быть, в отдаленных губерниях были люди, которые восхищались этими стихами или ждали их на новый год, как новинки! — Однако в московских газетах не обходилось иногда без ошибок, которые только и могли удасться князю Шаликову! Однажды он напечатал «союзные монахи» вместо: «союзные монархи». В другой раз, печатая переводную статью о Наполеоне, где было сказано: «что он был кровожаден подобно Алек-

сандру» (т. е. Македонскому), он напечатал, по привычке, имя Александра крупными буквами!

Он любил жизнь и боялся смерти; но называл жизнь всегда гадкою. Однажды, после философского рассуждения в своем роде, он простонал нежно: «Жизнь и сама по себе гадка; а там умрешь, да еще Макаров напишет эпитафию!» Но это не сбылось: он пережил М. Н. Макарова и умер после него.

Однако с одного конца России до другого, кому не было известно имя князя Шаликова? — Добейтесь до такой известности! — Гоголь, которого талант был так силен и живописен; Гоголь, которого так прославляют друзья его, желая прицепиться к нему, как паук к хвосту орла в басне Крылова, Гоголь никогда не пользовался такою известностью. — Чему приписать это? — Времени! — Тогда читали *много*, читали *всё*, не мудрствуя лукаво, и потому находили больше удовольствия в чтении; но были благодарны писателю не только за удовольствие, а и за самый труд его, за желание доставить удовольствие читателям. Тогда смотрели на словесность, как на самое благородное занятие; нынче смотрят, как на царство пустых людей, которые взялись потешать за деньги! — Тогда всякому автору приписывали дарование, в той или другой степени, но отличающее его от людей обыкновенных. — Тогда было еще уважение; нынче всё в пренебрежении, кроме денег и силы.

Еще забыл один анекдот о князе Шаликове, доказывающий, что он в нужных случаях не терял присутствия духа. За обедом рассердился на него гордый и заносчивый В. Н. Ч-н и вызвал его на дуэль. Кн. Шаликов сказал: «Очень хорошо! Когда же?» — «Завтра!» — отвечал Ч-н. — «Нет! Я на это не согласен! За что же мне до завтра умирать со страху, ожидая, что вы меня убьете? Не угодно ли лучше сейчас?» Это сделало, что дуэль не состоялась!

После французов (т. е. когда они вышли из Москвы) граф Ростопчин призвал кн. Шаликова для объяснения: «Зачем он остался в Москве?» — «Как же мне можно было уехать! — отвечал кн. Шаликов: — Ваше сиятельство объявили, что будете защищать Москву на Трех Горах, со всеми московскими дворянами; я туда и явился воору-

жепный; но не только не нашел там дворян, а не нашел и вашего сиятельства!» — Еще забавнее, что он к этому прибавил по-французски: «Et puis j'y suis resté par curiosité!»...

В разряде почитателей Карамзина, но в противоположность князю Шаликову, следует сказать о Сергее Николаевиче Глинке. Нежный кн Шаликов обожал в Карамзине чувствительного автора. С. Н. Глинка видел в нем, сквозь европейскую его образованность, человека полезного и с русскою душою. Это делало ему тем больше чести, что немногие видели это качество в Карамзине в начале его литературного поприща.

Глинка воспитывался в Сухопутном Кадетском корпусе, под руководством графа Ангальта. Он служил в военной службе, был в армии в первые войны с французами (1805 и 1807) и вышел в отставку майором. Он сделался известен изданием *Русского Вестника* с 1808 года, в ту пору, когда после войны с французами и Тильзитского мира Глинка возненавидел Наполеона и французов. Сначала цель его, при издании этого журнала, была напомнить русским родную Русь, ее старину и подвиги; потом мало-помалу он перешел к совершенной ненависти враждебного нам тогда народа, очаровавшего нас языком, модами и вредными обычаями. Журнал Глинки, несмотря на оппозицию приверженцев моды и галломании, пришелся совершенно по времени и имел успех необыкновенный. Приверженцы европейства не возлюбили Глинку, идущего поперек; но многие обрадовались его патриотизму.

Надобно вспомнить, надобно знать то время, чтобы понять всю важность появления *Русского Вестника*. Теперь о нашей старине нам твердят беспрестанно; а тогда — многие в первый раз слышали, из *Русского Вестника*, о царице Наталье Кирилловне, о боярине Матвееве, о Зотове, воспитателе Петра Великого, и в первый раз увидели их портреты. Кто первый об них напомнил, кто первый, так сказать, утвердил нам об этих людях, тот, конечно, заслуживает и сам остаться в памяти.

В *Русском Вестнике* (1810) было, между прочим, напечатано в первый раз (но не вполне, а в извлечении)

Сказание о Задонском побоище, какое было то побоище за рекою Доном, Великого князя Димитрия Иоанновича Московского с Мамаем царем Татарским.— Это та самая рукопись, которую в наше время напечатал вполне И. М. Снегирев...

По приезде государя в Москву граф Ростопчин позвал к себе Глинку, что испугало чрезвычайно жену его. Но Ростопчин вручил ему от имени государя Высочайший раскрипт и орден св. Владимира 4-й степени и сказал ему: «Именем государя развязываю вам язык и руки; говорите и пишите, что найдете нужным. Вот вам триста тысяч: употребляйте их по вашему усмотрению, безотчетно, и действуйте на народ к доброй цели, потому что он имеет к вам доверенность!» Глинка действовал сильно и много способствовал к восстановлению народной толпы против Наполеона и французов. Но по изгнании французов из Москвы и по возвращении в нее графа Ростопчина он принес и возвратил ему эти триста тысяч в целости. Сам он провел всю жизнь в бедности. Что приобретал трудами, то у него велось недолго! — Его *Записки о 1812 годе* писаны хотя в том беспорядке, который всегда, особенно в последнее время, господствовал в писаниях Глинки; но, несмотря на то, они живы и чрезвычайно любопытны своим безыскусственным рассказом.

Эта книга издана под названием: *«Записки о 1812 годе, С. Г., первого ратника Московского ополчения»*, потому что он первый подписался о готовности своей идти в ополчение.

Кстати, о тогдашнем рвении на защиту отечества: мой двоюродный дядя Степан Федулович Филатор, флотский капитан первого ранга и георгиевский кавалер, будучи лет шестидесяти и живучи давно на покое, в Симбирске, первый записался в Симбирское ополчение, и такими словами:

Хоть в артиллерию,
Хоть в кавалерию,
Хоть в пехоте,
Хоть во флоте!

Стихи не хороши; но дело в том, что он водил свое войско и был с ним под Глогау.

Еще отступление. Дядя мой Иван Иванович Дмитриев, увидевшись с Филатовым и уважая его старческую решимость, спросил его: получил ли он за это какую-нибудь награду? — «Нет, В. Высокопревосходительство! — отвечал старик: — Да, впрочем, это я думаю потому, что государю нечем было меня наградить! В мои лета одна награда: летом в халате, а зимой в тулупе; так это у меня уже есть».

Глинка писал много, и в стихах, и в прозе: трагедии, повести, книги для воспитания; перевел много книг. Но большая часть его сочинений относится к славе и подвигам русских. Полное собрание его сочинений напечатано в 12 частях (1817—1820). Мы не читаем ныне его сочинений по трем разным причинам: 1) Они не щеголяют изяществом. Впрочем, слог Глинки чист, правилен и благороден, как у всех писателей того времени, следовавших Карамзину. Но в его слоге замечен недостаток расположения речи, того искусства, которое дает ей силу и красоту, нисколько не мешая естественности. Его речь необдуманна, а попадает на бумагу, как случилось выразить мысли. Он писал очень скоро, так сказать наскоро. Разговорная речь его была звончее и красноречивее письменной. 2) Мы не читаем его потому, что мы вообще равнодушны ко всему, что делалось прежде нас, исключая разве самую старину, которая теперь у пишущих в моде. Мы или прославляем, или презираем: у нас нет середины; мы не любим находить *немногое* в целых *томах* и вызывать это *немногое* из забвения. Мы и уважаем *все гуртом* у такого-то писателя, и презираем *все гуртом* у другого. 3) У нас новое всегда выгоняет старое. Но в свое время патристические сочинения Глинки имели обширный круг читателей, особенно между сельскими дворянами, между грамотными купцами и мещанами столицы и между всеми читающими людьми простого народа. Одним словом: имя Глинки, его журнал (особенно в начале) и его сочинения имели, говоря нынешним арлекинским языком, *большую популярность*, даже, чтобы выразиться совсем по-нынешнему, скажу: *огромную популярность*, и прибавлю в доказательство: «*Это факт*». После этого слова, кажется, как не поверить!

Русская история Глинки, написанная без всякого критического взгляда и языком простым, имела 4 издания.

Стало быть, она раскупалась и нашла себе читателей. Для ученого исследователя и знатока и *История* Карамзина имеет недостатки; для читающего простолюдина и *история* Глинки приносит пользу.

Есть одно сочинение С. Н. Глинки, совершенно забытое, но, при нашей бедности в трудах мысли и науки, оно должно быть помянуто. Это *История ума человеческого от первых успехов просвещения до Эпикура* (1804). Она содержит в себе изложение систем древней философии. Автор делал извлечения из Кондильяка и других, но книга принадлежит, собственно, ему и доказывает как его начитанность, так и то, что он занимался разными предметами мышления и что они не были ему чужды.

Начитанность С. Н. Глинки была удивительна! Он не только помнил все, что прочитал; но помнил наизусть целые места из Монтескьё, Бекарии, *Наказа* Екатерины, Руссо, Вольтера, Дидерота, Франклина, одним словом, из всего, что ни читал. Все это он приводил неожиданно и в сочинениях, и в разговорах, так что эта неожиданность иногда похожа была на какой-то беспорядок. Он очень хорошо знал языки французский и немецкий.

Французов, их воспитания, их образа мыслей терпеть он не мог; но по-французски говорил охотно и нередко. Это совсем наоборот, против нынешних писателей, которые или не хотят, или не умеют говорить по-французски; а сами беспрестанно перенимают их образ мыслей и их литературу, даже, между нами сказать, и их сведения, хоть и называют их невеждами в сравнении с немецкими учеными. Но эти, одной своей номенклатурой, одними своими учеными терминами, недоступны для многих; французы служат для них проводниками и к немецкой учености, а пренебрежение к ним служит только к тому, чтобы этого не заметили! Но оставим эти тайны эрудиции: они повели бы далеко! Глинка был откровенен, не любил французов и пользовался тем, что есть у них хорошего.

Он перевел на французский язык и напечатал первые томы *писем русского офицера*, младшего своего брата, почтенного Ф. Н. Глинки. Во время прений в Париже о цензуре он напечатал на французском языке книжку, содержащую его откровенный и прямой образ мыслей о цензуре. Она была напечатана в С.-Петербурге.

С. Н. Глинка был цензором в одно время с Измайловым. Это был самый снисходительный и беспристрастный цензор из всех бывших и будущих; он не смотрел ни на что и ни на кого, был верен Уставу и не думал прежде всего о собственном самосохранении, а потом уже о чужой рукописи. Он был цензором и моих сочинений. В продолжении рассматривания моей книги мне показался один стих в пьесе *Наполеон* несколько смелым и потому опасным. Я написал об этом к нему записку и просил переменить его другим, поневиннее; он отвечал мне: «Стыдитесь! Поэт, а еще боитесь! Не хочу переменить стиха потому, что новый хуже. Оставляю прежний и пропущу его!» Так и сделал.

Вот как он был беспристрастен и беспечен. На *историю русского народа* Полевого — М. П. написал справедливую, но сильную рецензию для своего журнала. Зная короткое знакомство Глинки с Полевым и опасаясь как цензора и простодушного человека, не любившего строгой критики, П. вздумал позвать его обедать, угостить по-русски и потом, после шампанского, предложить ему чтение рецензии. Но каково было удивление хозяина, когда тотчас после обеда Глинка схватил шляпу и начал прощаться! П. его удерживает. «Нельзя, — отвечает Глинка (ничего не зная о приготовленной ему засаде), — у Николая Алексеевича Полевого родился сын; он назвал его в честь меня Сергеем и звал меня в крестные отцы!» — «Как же это, Сергей Николаевич! А я хотел прочитать вам рецензию; думал, что вы выслушаете на досуге!» — «Нельзя! Да что это за рецензия?» — «На *историю* Полевого!» Глинка призадумался. — «Ну! — произнес он наконец: — Хотя я и еду крестить у него сына, но надобно быть беспристрастным. Рецензии слушать некогда; но я вас знаю; думаю, что тут ничего нет непозволительного! Давайте перо!» Схватил перо и подписал не читавши: «Печатать позволяется. Цензор Глинка»: — а сам бегом из дому! Поразил Полевого и поехал крестить у него сына.

Однако цензура не прошла ему даром, хотя без всякой вины с его стороны как цензора. В одном *альманахе* была напечатана элегия девицы Тепловой на смерть утонувшего юноши. В ней сказано было, что волны бьют в его гробницу. Не знаю почему, приняли подозрение — что в этой

элегии оплакивается кто-нибудь из тех, которые содержались в казематах по происшествию 14 декабря 1825 года; а под гробницею, в которую бьют волны, разумеется Петропавловская крепость.— Вдруг прислано было повеление посадить Глинку на ивановскую гауптвахту (в Кремле, у колокольни «Иван Великий»). Это случилось зимою 1830 года. Но это было торжеством Глинки! Как узнали в Москве, что Глинка на гауптвахте, бросились навещать его: в три-четыре дня перебивало у него человек триста с визитом. Дядя мой, бывший некогда министром юстиции, один из первых навестил его. Не всякий бывший министр на это бы решился.

Я тоже поехал на гауптвахту. Время было дурное; шел снег; я был после болезни и потому ехал в карете с поднятыми стеклами. Въехав в Кремль, я заметил сквозь стекла, заносимые снегом, сани с сидящим в них человеком; а против него стоял на снегу другой и размахивал руками. По этим жестам мне показалось, что это был сам Сергей Николаевич. Я опустил стекло и, увидев, что не ошибся, вскричал ему: «Сергей Николаевич! Я еду к вам». — «Милости просим! — отвечал Глинка: — Я вышел только прогуляться; вот мой и дядька!» — промолвил он, указывая рукой на стоящего в стороне солдата. «Там вас примут жена и дочь; а я сейчас ворочусь!» — Я приехал на гауптвахту; сперва надобно было пройти через комнату, которая была вся битком набита солдатами; потом вошел я в другую, соседнюю комнату, где содержался Глинка; нашел там супругу и дочь арестанта; нашел там книги и фортепиано.— Комната, однако ж, была черна, сыра и неопрятна; а с окон текла ручьями сырость.

Минут через десять вошел хозяин. «Милости просим! А я вот перевез сюда жену и дочь: день они проводят со мною, а ночевать уезжают домой! — перевез сюда и альманах, в доказательство, что я прав и пропустил эти стишки по уставу; перевез и цензурный устав, потому что не я виноват, а он: так я его и посадил на гауптвахту!» — Потом он сел за фортепиано и запел, аккомпанируя себе, свою песню:

Ах ты, горе, жизни горе!
Как кипящее ты море,
Залило меня собой!
Видно, в гроб сойду с тобой! и проч.

В продолжение моего посещения двери не затворялись: беспрестанно приходили новые лица. Я помню, что вошел вдруг молодой артиллерийский офицер и обратился к Глинке с следующей речью, которую я упомянул слово в слово: «Сергей Николаевич! Я такой-то. (Сказал свою фамилию.) Мой батюшка был знаком с вами. Я не могу себе простить, что до сего времени не имел чести представиться вам и засвидетельствовать вам моего уважения; но я не нахожу к тому приличнее времени, как теперь».

Выходя от Глинки, я встретился на пороге с профессором Надеждиным. — «А вы, — спросил он, — знакомы с Глинкой?» — «Знаком». — «Так воротитесь и представьте ему меня». — Я воротился и познакомил с ним Надеждина. — Так показала свое негодование Москва.

До Петербурга дошли слухи об этих визитах, и они подействовали. Не прошло еще определенного срока его *осадному сиденью*, как пришло повеление его выпустить. Потом, когда он не захотел более служить, ему дали две тысячи рублей ассигнациями пенсии... Да! Если бы мы всегда были тверды и не отступались друг от друга, может быть, нас во что-нибудь бы и ставили, и нам было бы лучше! Этот пример служит доказательством.

Кстати уже, заодно скажу о запрещении *Телеграфа* Полевого. В Петербурге представляли трагедию Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла», которая чрезвычайно понравилась государю (Николаю Павловичу). А Полевой, вероятно, совсем не зная этого, напечатал разбор этой трагедии и доказывал ее недостатки. За это запретили журнал Полевого; выходит, за то, что он осмелился быть в литературе различного мнения с государем. — А. Д. Курбатов очень забавно сказал после этого:

Рука всевышнего отечество спасла
И погубила Полевого!

Еще анекдот о тогдашней строгости. В московском театре не понравилась зрителям какая-то актриса. Многие зашумели, зашикали, затопали, — это дошло до Петербурга. — Приказано было всех посадить под арест, кого на гауптвахту, кого просто в полицию. Посадили человек двадцать, в том числе графа Потемкина. Между ними же попался один *Сибилев*. Я знал его: человек за 50 лет, самый смиренный, толстый, красного лица, который являл-

ся безмолвно на бульварах и имел привычку, бывая в театрах, ходить по ложам всех знакомых, что, как известно, не принято в свете. Кн. Николай Борисович Юсупов, старик просвещенный, любезный, придворный Екатерины, любил его, потому что над ним можно было посмеяться. Он называл его, по круглой его фигуре и по красноте лица, *арбуз*; а по охоте его лазить по ложам *ложелаз*, что было тем смешнее, что напоминало Ловеласа, на которого совсем был непохож Сибилев.

Повеление было исполнено. Но вся Москва раскричалась: лица были известные. В Петербурге немножко струсили, и тотчас велено было всех выпустить. Мало этого: государь сам приехал в Москву погладить впечатление. На вечере у кн. Сергея Михайловича Голицына он изъявил желание играть в карты в одной партии с графиней Потемкиной, которой муж был посажен под арест, был с ней очень любезен; выиграл у нее пять рублей ассигнациями и, получая от нее деньги, сказал ей очень благосклонно, что сохранит эту бумажку на память. Графиня отвечала ему, что она, с своей стороны, не имеет нужды в напоминании, чтобы помнить о его величестве. Государь отвечал: «А! Вы все еще на меня сердитесь за мужа! Забудемте это с обеих сторон!»

Между тем в Москве вышла карикатура, представляющая лица всех, посаженных под арест, и впереди них — смиренный Сибилев, с надписью: *Le chef de la conjuration*.

Продолжаю о С. Н. Глинке. — Он был чрезвычайно бескорыстен и любил следовать первому движению своего сердца. Государь император Александр пожаловал ему бриллиантовый перстень в 800 рублей ассигнациями. Глинка приехал в один дом и показал свой перстень гостям и хозяевам. В эту минуту предложили сбор в пользу какого-то бедного семейства. Денег с Глинкою не случилось: он, не задумавшись, пожертвовал свой перстень. Сколько ни уговаривали его, сколько ни предлагали ему отдать за него небольшую сумму, которую он после пришлет хозяину дома, он никак не согласился и приехал домой без перстня.

В 1812 году, во время пожертвований на ополчение, он пожертвовал все свои серебряные ложки; на другой день пригласил гостей обедать и подал им деревянные! —

Спросят: зачем же было приглашать гостей, чтобы подать им деревянные ложки? — Не знаю; я только пишу то, что было и как было.

Русский Вестник под конец сделался очень плох и небрежен. Иногда он опаздывал выходить не только месяцы, но почти целым годом. — Причиной этого было — с одной стороны, множество разной книжной работы, которою заваливал себя Глинка, ибо этим он кормил свое семейство; с другой — беспечность, которая всегда была в его характере.

Возвращаясь опять к началу нынешнего столетия и к поэзии. — И. И. Дмитриев совершил для русского языка то же, что Карамзин для прозы; т. е.: он дал ему простоту и неприпущенность естественной речи; чистоту выражения и совершенную правильность словосочинения, без натяжек и перестановок слов для меры и для наполнения стиха, чем обезображивали старинные стихотворцы язык поэзии. Язык поэзии, язык богов, должен быть текучее и плавнее обыкновенного языка человеческого; а у них он был всегда связан и с запинкой. И поэты, и читатели оправдывали это тем, что стихотворный язык стесняет мера; но Дмитриев доказал, что она не стесняет дарования. Жуковский, Батюшков, Пушкин подтвердили то же своим примером. Дмитриев и Карамзин стоят на одном ряду, как преобразователи языка нашего: один в стихах, другой в прозе. С них началась в нашей литературе эпоха художественности.

Дмитриев начал свое литературное поприще, как и Карамзин, с переводов. Первый опыт его был: *Философ, живущий у хлебного рынка*, небольшая статья, написанная в Париже, по случаю рождения дофина; но как русский перевод был напечатан 1777 года, вскоре по рождении великого князя Александра Павловича, то он принят был с большим вниманием, как размышление о судьбе, ожидающей порфирородного младенца. Эта книжка имела два издания: второе 1786 года.

Другой его опыт в прозе был: *Жизнь графа Никиты Ивановича Панина*. Эта книжка имела тоже два издания; второе 1786 года. Она кончается замечательным рескриптом великого князя Павла Петровича к московскому ар-

хтепископу (впоследствии митрополиту) Платону. Не помню, напечатан ли этот рескрипт, и потому выписываю его здесь:

«Ваше преосвященство! Уже известны Ваше преосвященство о посетившей нас печали смертью графа Никиты Ивановича; известны вы и о всем том, чем я ему должен, следственно и об обязательствах моих в рассуждении его. Судите же, прискорбно ли душе моей? Я привязан по долгу и удостоверению к законѹ и не сомневаюсь, что получающему награждение в той жизни за добродетели — всеконечно отрада и покой; но поелику души остающиеся еще со слабостями тела соединены, то нельзя нам не чувствовать печали от разлуки. Разделите оную со мною, как с другом вашим. Павел».

Стихотворное поприще начал Дмитриев с сочинений сатирических; первый же напечатанный им опыт в стихах — была *надпись к портрету Кантемира*, помещенная Новиковым в издававшемся им еженедельнике под заглавием *Ученые Ведомости*. Но, услышавши своему произведению строгий приговор одного неизвестного, разговаривавшего в театре о литературе, Дмитриев не скоро после этого решился опять печатать, и то, не подписывая своего имени.

Даже гораздо позже первых опытов, печатая свои стихи в *Московском журнале* (1791 и 1792), он подписывался только одною литерою *И.*; а в *Аонидах* и последующих журналах ставил под своими стихами только три звездочки: ***. По этим признакам можно узнать те из его стихов, которых он не поместил в собрании своих сочинений.

Но, несмотря на аноним, публика скоро узнала даровитого поэта. Басни и сказки Дмитриева очаровали современников; последние и теперь, через шестьдесят лет, остаются единственными. Он первый начал говорить в них языком светского общества и первый проложил путь языку *Онегина*. Басни его уступают Хемницеру в простодушии, Крылову в изобретении и народности; но по чистоте и благородству слога и по языку поэзии остаются и доныне первыми.

Один из нынешних авторов, г. Мизко из Одессы, написал в своей книге, будто «записные Аристархи того времени, благоговей перед именитостию, столько же литературною, сколько и чиновною, Дмитриева (каков слог нынешнего Аристарха!) не смели промолвиться лишним словом о новом его сопернике Крылове; о старом же Хемницере и помину не было!» — «В последнее время своей государственной службы (прибавляет г. Мизко в примечании) Дмитриев был министром юстиции».

Это доказывает только, что нынешний Аристарх не читал того, что писали тогдашние Аристархи; иначе он не обвинил бы их в низком побуждении молчать о Крылове, потому только, что другой баснописец был министр юстиции. Он не забыл бы, что Жуковский (в 1809) написал прекрасную статью «О басне и баснях Крылова». Он вспомнил бы, что Каченовский писал о баснях Крылова в *Вестнике Европы* 1812 года именно тогда, когда Дмитриев был министром. Он знал бы, что Мерзляков в своих лекциях, которые были напечатаны, превозносил Хемницера! — Зачем позволять себе такие упреки, которые доказывают только наше собственное незнание русской литературы.

Но многие из наших нынешних *литературищиков* (как справедливо заметил кто-то в «Москвитянине») в первый раз узнали русскую словесность из изданий Смирдина, который открыл им новую руду русской литературы! Нет, словесность изучается, как история, постепенно, и в самых источниках; а история ее хранится не в одних книгах, но и в преданиях.

Нынешний Аристарх, конечно, не знает и того, что Каченовский писал критику на сочинения самого Дмитриева (1806); что А. Е. Измайлов делал на его басни строгие замечания, когда тот был уже министром; что Дмитриев воспользовался рецензией последнего и исправил в последующем издании все, замеченное критиком.

Прибавлю к этому известию, как встретил Дмитриев басни своего соперника. Первые свои две басни Крылов принес к Дмитриеву, который обрадовался даровитому сопернику и сам отдал их напечатать. Они были помещены в *Московском Зрителе* (1806, стр. 73) с таким примечанием издателя: «Я получил сии прекрасные басни от

Ив. Ив. Дмитриева. Он отдает им справедливую похвалу и желает, при сообщении их, доставить и другим то удовольствие, *которое они принесли ему*. Всего замечательнее, что одна из этих басен была *Дуб и трость*, в которой Крылов (переводя ее после Дмитриева) именно вступал этим с ним в соперничество! Но в нынешней нашей литературе, без авторитета, без прадедов и преданий часто встречаются такие критики, которые судят, не читавши, как г. Плаксин о книге Дашкова. — Жалко!

Надобно сказать, однако, что побудило Каченовского написать критику на сочинения Дмитриева. Сначала он был один из его почитателей, посвятил ему даже первое издание своего перевода *Афинских писем* и ни одной книжки *Вестника Европы* не печатал без его одобрения. В 1806 году Державин прислал к Дмитриеву кантату *Цирцея* из Руссо и стихи *Дева за клавесином* из Шиллера. В одной из них Дмитриев поправил некоторые стихи, как это случалось и прежде, и, не уведомив об этом Державина, отдал напечатать Каченовскому в № 7 *Вестника*. Державин, думая, что эта поправка сделана самим издателем, написал к нему строгое письмо. Каченовский пришел к Дмитриеву с изъяснением своей досады, как будто это сделано было с намерением. Дмитриев отвечал ему, что он напишет к Державину и оправдает издателя, но что, впрочем, он очень равнодушен к *Вестнику Европы*, который вышел уже из рук Карамзина и теперь ему *ни друг ни брат*. Каченовского это рассердило, и он напечатал критику на сочинения Дмитриева в апрельском (8-м) номере журнала. После этого, хотя Дмитриев и признавал некоторые, весьма немногие, из его замечаний справедливыми, но, видя побуждение издателя к мелкому мщению, перестал печатать свои стихи в его *Вестнике*. С этого времени они сделались холодны с Каченовским. Ответ Державина Дмитриеву виден из его писем, напечатанных мною в № 10 «Москвитянина» 1848 года.

Один давнишний петербургский критик написал очень забавно, еще при жизни Дмитриева, что в его стихах «*Размышление по случаю грома*» только и есть хорошего, что *рифмы*; а рифм-то и нет, потому что эта пиеса написана белыми стихами! — Действительно, эта пиеса написана такими гармоническими стихами, что отсутствие рифм в них незаметно. Между тем это может служить

примером для иногородних подписчиков, что значит критика в некоторых журналах.

Я записываю одни мелочи, которые мне приходят на память. Но кто хочет узнать жизнь Ивана Ивановича Дмитриева, тот может прочитать его подробную биографию, написанную князем П. А. Вяземским и напечатанную при издании сочинений Дмитриева в 2 томах, 1823 года.

Это издание, не умноженное, как бывает обыкновенно, но уменьшенное самим автором, изображает этим, как нельзя лучше, замечательную черту его характера и таланта: его благоразумную осторожность и строгость вкуса. Он к себе был строже в поэзии, чем к другим. Когда он мне передал рукопись, составленную им для этого издания, и поручил переписать ее, я с удивлением заметил, что, между прочим, он выключил три лучшие свои произведения: *Освобождение Москвы*, *Чужой Толк* и *Послание к Карамзину*. Не вступаясь за другие пьесы, тоже прекрасные, я решился уговорить его, чтобы он не выключал, по крайней мере, этих. Дядя мой никак не соглашался. Наконец, я просил хоть объяснить мне причину их изгнания.

«*Освобождение Москвы*, — сказал мне дядя: — Я чувствую, что эта пьеса мне не удалась. Я хотел сделать нечто драматическое: но не сладил, и с той поры она всегда напоминает мне мою неудачу!» — «Но она, — отвечал я, — прекрасна в том виде, в каком есть; а читатели не могут сравнивать ее с тем, чем она могла бы быть, если бы вы написали ее иначе». — «А *послание к Карамзину*?» — «*Послание к Карамзину*, — сказал он, — не имеет в себе *целости и круглосты*!» — «Как и всякое послание», — возразил я и начал читать из него стихи, составляющие прекрасную картину природы:

Как волжанин, люблю близ вод искать прохлады;
Люблю с угрюмых скал гремещи водопады,
Люблю и озера спокойный гладкий вид,
Когда его стекло вечерний луч златит;
А временем, идя — куда и сам не зная —
Чрез холмы, чрез леса, не видя селям края,
Под сводом зелени, вдруг на свет выхожу
И новую для глаз картину нахожу:
Открытые поля под золотою нивой!
Везде блестят серпы в руке трудолюбивой!

Какой приятный шум! Какая построта!
Здесь взрослый, тут старик, с ним рядом красота;
Кто жнет, кто вяжет сноп, кто подбирает класы;
А дети между тем, амуры светловласы,
Украдкой по снопу играючи берут,
Крехтят под ношею, друг друга ею прут,
Валяются, встают и, усмотря цветочек,
Все врознь к нему летят, как майский ветерочек.

Наконец, я спросил и об исключении *Чужого толка*. — «Сатира у меня только одна и есть, — отвечал мне дядя: — стоит ли труда помещать ее? Кроме того, цель ее нейдет уже к нынешним произведениям поэзии».

Мне чрезвычайно любопытно было слышать его мнение о собственных его произведениях. Однако я отстоял все эти три пиесы, сказав, что непременно перепишу и их вместе с другими и что можно будет выключить их и после, если он не переменит своего мнения.

Это издание напечатано было по желанию «Петербургского Общества Словесности, Наук и Художеств» и издано его изданием, с портретом автора; это то общество, которое называлось в Петербурге *Обществом Соревнователей*. Портрет литографирован с оригинала, рисованного знаменитым *Тончи*.

Иван Иванович Дмитриев глубоко почитал Ломоносова; любил и высоко ценил Державина; уважал в Петрове обилие мыслей и силу; в Хераскове признавал главным достоинством терпение. Нередко смеялся он, вспоминая некоторые стихи Державина, которые он, по его совету, принимался поправлять, но потом, не славив с поправкою, махнул рукой и бросит!

Сам он был чрезвычайно восприимчив к красотам природы и чувствителен к красотам поэзии. Однажды, в старости, незадолго до своей кончины, он стал читать мне вслух некоторые строфы Ломоносова. Вдруг голос его задрожал, и на глазах показались слезы. Это меня тем более удивило, что в строфах Ломоносова не было ничего чувствительного. Я спросил его об этом. — «Это так хорошо, — отвечал он: — так живописно и полно гармонии, что меня несколько тронуло!» — Кто так чувствует поэзию, тот, конечно, и сам поэт! — А что писали в «Отечественных записках» 1841 года и повторяли после!

Вот что там писали: «Ломоносов не поэт, не лирик; в Ломоносове нет ни чувства, ни воображения». — «Оды Державина лишены и тени какого бы то ни было содержания. Его поэзия лишена всякой художественности. Едва прошло 25 лет после его смерти, а его уже никто не читает». — «Дмитриев не поэт, а версификатор». — «Жуковского нельзя назвать поэтом в смысле свободной, творческой натуры!» Все это было в 1 N., стр. 2, 3, 8, 10, 19. — Кто же, по их мнению, поэт? — «Кольцов — звезда первой величины!» — Впрочем, чему удивиться, когда тут же сказано было на стр. 15: «Карамзин не написал (Истор. Государ. Росс.), а только хотел написать. Государство Российское началось с творца его, Петра Великого, до появления которого было оно младенец; а кто же пишет историю младенца?» — Все это выписано слово в слово: я указываю страницы.

Не было писателя и стихотворца, которому бы Дмитриев не отдавал справедливости и той именно похвалы, которую тот заслуживает по мере своего таланта. Он разбирал строго, анализировал подробно и доказывал ошибки без уступчивости; но всегда хладнокровно, учтиво, с достоинством. Если же находил черту таланта, теплое чувство, хороший стих, он поднимал их, возвышал и показывал во всем блеске. Если хорошее превышало дурное, давал перевес похвале перед порицанием. Это тем замечательнее, что от самого себя требовал он полного совершенства, и в частях, и в целом, и никогда не довольствовался частностями, что доказывается его мнением о своем *послании к Карамзину*. Одного не прощал он: низкого чувства и низкого, площадного выражения, которые при нем уже начинались. О стихах просто вялых он говорил неохотно, нехотя и забывал их на суде своем. Но над стихами графа Хвостова «le sublime du galimatias» от души смеялся и с каким-то особенным добродушным наслаждением.

Это ведет меня опять к отступлению. Гр. Хвостов любил посылать, что ни напечатает, ко всем своим знакомым, тем более к людям известным. Карамзин и Дмитриев всегда получали от него в подарок его стихотворные новинки. Отвечать похвалою, как водится, было затруднительно. Но Карамзин не затруднялся. Однажды он написал к нему, разумеется, иронически: «Пишите, пи-

дите! Учите наших авторов, как должно писать!» — Дмитриев очень укорял его, говоря, что Хвостов будет всем показывать это письмо и им хвастаться; что оно будет принято одними за чистую правду, другими за лесть; что и то и другое нехорошо: — «А как же ты пишешь?» — спросил Карамзин. — «Я пишу очень просто. Он пришлет ко мне оду или басню; я отвечаю ему: «Ваша ода или басня ни в чем не уступает старшим сестрам своим!» — Он и доволен, а между тем это правда». — Оба очень этому смеялись!

Однѣжды только сочинения гр. Хвостова вывели из терпения Дмитриева. Вот по какому случаю. Он ожидал из Петербурга книг, которые обещал ему прислать из чужих краев Д. П. Северин. Получается с почты огромный ящик. Ив. Ив. чрезвычайно обрадовался давно ожидаемой посылке. Открывает с нетерпением — и что же? — множество экземпляров полного издания сочинений гр. Хвостова, и к нему, и с поручением раздать другим! — Чрезвычайно смешно было видеть эту неудачу!

Не могу отстать от гр. Хвостова. — Он так любил дарить свои сочинения и распространять свою славу, что по дороге к его деревне (село Талызино, в Симбирской губернии), по которой я часто ездил, он дарил свои сочинения станционным зрителям, и я видел у них приклеенные к стенке его портреты. Замечательное славолубие во всех видах, и феномен метромании!

Было время, когда Иван Иванович Дмитриев считался в Москве авторитетом в литературе. Ничего не выходило в печать из рук лучших авторов, не подвергнувшись прежде его суждению и совету. Жуковский, приготовив к печати первое издание своих стихотворений (2 части in 4°), прежде давал ему на рассмотрение свою рукопись.

Я помню, когда жил в доме моего дяди (1813—1814) и после этого, когда государь Александр Павлович приезжал на несколько месяцев в Москву, Жуковский, Батюшков, Воейков, князь Вяземский, Дм. В. Дашков собирались часто по вечерам у моего дяди. Их разговоры и суждения о литературе были для меня, молодого еще человека, истинным руководством просвещенного вкуса. Но впоследствии времени, когда изменилось направление ли-

тературы, когда появились молодые писатели, самонадежнее прежних, это новое поколение отделялось от Дмитриева (кроме Пушкина, кн. Одоевского и С. Е. Рача). Оно отделялось потому, что Дмитриев, уважая других, требовал и к себе уважения и соблюдения всех приличий; равняя всех своих знакомых своею равною ко всем приветливостию, он любил, однако, чтоб они не забывались и чтобы всякий знал свое место.

А. Ф. Мерзляков, который после своей женитьбы отстал от прежних знакомых, бывал у него редко, и то по утратам. Он принял на свой счет эпиграмму Дмитриева, напечатанную в его сочинениях:

Подзобок на груди, и, подогнув колена,
Наш Бавий говорит, любуясь сам собой:
Отныне будет всем поэтам модным смена;
Все классики уже переводимы мной;
Так я и сам ученым светом
Достоин признан быть классическим поэтом!
— Так, Бавий! Так стихи, конечно, и твои
На лекциях пойдут — в пример галиматши!

Правда, что этот портрет похож был и на фигуру Мерзлякова; притом — слова *классик* и *лекции* могли подать Мерзлякову повод к подозрению; но Дмитриев уважал труды Мерзлякова и самого его, как человека, достойного уважения по своему благородному сердцу. Эта эпиграмма написана была на графа Хвостова, который переводил французских классиков; я это знаю верно и утверждаю.

Во всяком авторе встречаются места, к которым нелишне прибавлять объяснения. Так, например, в *карикатуре* Дмитриева:

Сними с себя завесу,
Седая старина,
Да возведу я в шукам,
Что ты откроешь мне!

Это описано истинное происшествие, случившееся в Сызранском уезде, в деревне Иваневке, в 12 верстах от нынешней моей деревни. Описанный в *карикатуре* — вахмистр Шешминского полку, Прохор Николаевич Патрикеев. Он, в молодых годах, женился, будучи еще *недорослем* (так называли дворян, не бывших еще на служ-

бе), потом, оставя жену в деревне, отправился в полк. Это было еще до Петра Третьего, когда чины шли туго и отставок не было; почты тоже не было, а потому он, как человек небогатый, вероятно, не имел никаких средств получать известия о своем семействе. Наконец, дослужившись до вахмистров в царствование Екатерины, и в пожилых уже летах он вышел в отставку и воротился верхом на своем боевом коне в свою Ивашевку.

«Узнает ли Груняша? —
Ворчал он про себя: —
Когда мы расставались,
Я был еще румян!»

Жену его звали Аграфена Семеновна. Но жены он не нашел уже. Она была судима в пристанодержательстве и, вероятно, сослана. Некому было дать мужу и известия о ее участи: происшествие это было уже старое и забытое. Развязка очень простая в такой глуши и по тогдашним правам:

Тотчас ее схватили
И в город увезли;
Что с нею учинили,
Узнать мы не могли.

Автор прибавляет и окончание этой справедливой истории:

Что делать! Как ни больно,
Но вечно ли тужить? —
Несчастный муж, поплакав,
Женился на другой.

Сей витязь и поныне,
Друзья, еще живет;
Три года, как в округе
Он земским был судьей.

Я знал его сына от второго брака. Его звали Василий Прохорович. Я помню, что он, по доброте своей, был предметом мистификаций всего уезда.

У меня есть картинка, написанная пером самим Дмитриевым в его молодости: она изображает *Патрикеева*, подъезжающего на старом рыжаке к селу Ивашевке. Там не забыт и тощий кот, мяукающий на кровле.

Эта деревня Ивашевка в старицу отличалась чудаками. Драгунский витязь, ротмистр *Брамербас*, к которому обращается Дмитриев в сказке *Причудница*, тоже списан

с натуры. Это был тамошний же помещик, самый чиновный из многочисленных мелких дворян той деревни майор Ивашев.

О если бы восстал из гроба ты сейчас,
Драгунский витязь мой, о ротмистр Брамербас,
Ты, бывший столько лет в малороссийском крае
Игралищем злых ведьм!.. Я помню, как во сне,
Что ты рассказывал еще ребенку мне.

Как ведьма некая в сарае,
Оборотя тебя в драгунского коня,
Гуляла на хребте твоём до полуночи,
Доколе ты уже не выбился из мочи!
Каким ты ужасом разил тогда меня!
С какой, бывало, ты рассказывал размахкой,
В колете вохряном и в длинных сапогах,
За круглым столиком, дрожащим с чайной чашкой!
Какой огонь тогда пылал в твоих глазах!
Как волосы твои, седые с желтиною,
В природной простоте взывали по плечам!
С каким безмолвием ты был вникаем мною!
В подобном твоему я страхе был и сам!
Стоял, как вкопанный, тебя глазами мерил
И, что уж ты не конь... еще тому не верил!

Что за прелесть эти стихи! Что за тонкая и легкая эпиграмма в последнем! — Нынче не умеют этого! — И после этой верной, чисто отделанной картины Дмитриев не поэт?

Расскажу, кстати, анекдот об этом майоре Ивашеве. Однажды вечером возвращался он под пьяную руку верхом на коне в свою Ивашевку. Видит он, что на лугу, недалеко от околицы, расставлены два белые шатра. Вспомнив, вероятно, сказки, вскрикнул он громким голосом: «Кто в моих заповедных лугах шатры разбил?» — Ответа не было. — Он пустил вскачь своего коня, богатырского прямо на шатры и попал между ними в веревки, которыми они были натянуты и которые переплетались одни с другими. Конь запутался и упал; шатры зашатались и тоже упали. — Дело было вот в чем. Это проезжал Казанский архиерей осматривать свою епархию. В одном шатре служили в его присутствии вечерню; а в другом готовили ему кушанье. — Архиерей выбежал и, видя лежащего человека, закричал: «Шелепов!» — По окончании наказания Ивашев вскочил опять на коня, ударился скакать в Ивашевку и повестил всем жителям, что едет архиерей и пресердитый так, что его высек! Поутру все ивашевские барыни собрались чем свет к околице встре-

чать владыку; и при въезде его упали ниц, с воплем, сквозь который было слышно: «Батюшка, земной бог! Не погуби!» — Архиерей расхохотался и проехал мимо. — Кто поверит, что это правда? — Таковы были люди, таковы были правы!

Стихотворение *Отъезд* было написано Дмитриевым в Сызране, при возвращении его из годового отпуска в Петербург, на гвардейскую службу, в Семеновский полк. Написавши эту пиесу, он читал ее в домашнем кругу, где были и посторонние. Когда дошел он до этого места:

И где в замерзлом ручейке
Видался каждый день с Наядой,
Где куст, береза вдалеке
Казались мне Гамариадой,
А *дьяк* или и *сам судья*
Какой-нибудь Цирцей жертвой...

Один из слушателей, бывший в то время судьей, встал, поклонился и очень добродушно сказал: «Покорнейше благодарю, батюшка Иван Иванович, что и нас не забыли!» — Какова была простота! Может быть, и нынче не знают, что спутники Одиссея были превращены в свиней; но не поблагодарят же так добродушно! — Какое-то чувство сказало бы: «Верно, он над нами смеется!»..

Все лучшие стихотворения Дмитриева были написаны им в Сызрани, во время отпусков из гвардейской службы. Спокойная, беспечная жизнь, недостаток рассеянности влекли его к тихим занятиям с Музою; а живописные виды с высокого берега реки Крымзы, сливающейся с великолепною Волгой, во время их разлива, видимой с высоты, на которой стоял дом отца его, возбуждали в нем картины воображения. Таким образом, с первой молодости, в стороне, где он не мог находить общества просвещенного, общества по себе, он создавал вокруг себя мир другой, мир поэтический. Таким образом, сказывал он мне, что план *Ермака* обдумывал он, играя в шашки с одним гостем своего отца.

Когда он рисовал в воображении картину, которую намеревался представить в стихах, он имел привычку обдумывать все ее части и подробности и спрашивать себя: мог ли бы их изобразить на полотне живописец? — Только в таком случае он признавал картину достойною кисти

поэта. От этого мы видим у него удивительную целость и полноту и тонкую отделку частей! — Таким образом решены были им эти два стиха *Ермака*:

*То сей, то оный на бок жнетя,
Крутятся — и Ермак сложил.*

Или это изображение плачущих муз:

*Из рук их лиры покатились,
Главы к коленам преклонились,
Вдасы упали до земли!*

Или, наконец, эта картина в стихах *к Волге*:

*Там кормчий, руку простирая
Чрез лес дремучий на курган,
Вещал, спутников сзывая:
«Здесь Разинов был, други, стан!»
Вещал, и в думу погрузился;
Холодный пот по нем разлился,
И перст на воздухе дрожал!*

Приемы великого мастера всегда поучительны; а потому нелишне делать их известными.

Привыкнувши с молодости к природе, простоте жизни и деятельности, Иван Иванович Дмитриев вставал очень рано, сам варил себе кофей, потом немедленно одевался. Редко, очень редко мне случалось заставить его в шлафроке, и то разве тогда, когда он был нездоров. Всякий день он ходил пешком, и ходил много. Этой ранней привычки он не оставлял даже и тогда, когда он был министром: у него на все доставало времени. В Москве, в своих прогулках, нередко вслушивался он в разговоры людей из простого народа и сам вступал в речь с ними. Иногда он приносил из этих прогулок очень верные замечания и черты народного характера, которые он умел рассказывать с неподражаемым искусством! Его шутка, сопровождаемая всегда важным видом, была необыкновенно метка и забавна. — Читал он очень много; следил постоянно за происшествиями своего времени и за литературою. Садоводство, или лучше сказать зелень деревьев и луга английского сада, — это было его страстию! Другая его страсть были эстампы лучших мастеров. Но в этом он не следовал записным охотникам, которые ценят эстампы по признакам, описанным в каталогах. Он следовал своему вкусу и никак не ошибался! Иногда покупал

он эстамп для поэтического его сюжета, чего не делают охотники. Страсть к саду и к эстампам наследовал и я от него и присовокупил к тем, которые мне от него достались.

Так, например, был у него Миллеров эстамп *La madonna di santo Sisto*, которым он дорожил по красоте экземпляра, не зная, впрочем, в чем состоит его достоинство у знатоков, и любовался им, не заботясь об этом. Однажды рассматривал его известный знаток в этом деле, Иванчин-Писарев. Вдруг показалось ему, что это отпечаток *avant — l'aurole*; но, не доверяя своим глазам, он просил снять эстамп со стены и выпнуть из рамки; открылось, что это не только *avant la lettre*, но действительно *avant l'aurole*, т. е. величайшая редкость! Писарев восторженно от радости, найдя такую драгоценность, и оценил эстамп по крайней мере в тысячу рублей ассигнациями, если не дороже.

Но здесь следует анекдот. Иван Иванович сказал ему: «Хочешь, Николай Дмитриевич, я завещаю наследникам, чтобы они подарили тебе этот эстамп? Изволь; обещаю тебе!» — Но Иван Иванович чрезвычайно боялся смерти и не любил, чтобы об ней вспоминали. На другой день Иванчин-Писарев приходит к нему и подает ему бумагу, прося ее подписать. — «Что это такое?» — «Расписка в вашем обещании, чтоб после вашей кончины этот эстамп достался мне». — Дмитриев взял перо и подписал; потом сказал Писареву: «Я твое желание исполняю; дай же мне слово, что и ты мое исполнишь!» — «Даю!» — отвечал в радости Писарев. — «Итак, я по твоему желанию подписал эту бумагу; а ты по моему желанию оставь ее у меня».

После кончины Ивана Ивановича мне большого труда стоило уговорить его наследников отдать этот эстамп Писареву: анекдоту моему не верили, принимая все это за шутку, и ничто не помогало; самое домогательство иметь эту вещь заставляло их думать, что она должна быть непростая! — Но, к счастью, я нашел в бумагах Ивана Ивановича его расписку; и эстамп был наконец отдан по обещанию.

Выписываю некоторые происшествия его жизни, которых нет в его биографии, напечатанной при последнем издании его сочинений.

Многим современникам известно, что в начале царст-

воования императора Павла Иван Иванович Дмитриев был взят под стражу; но неизвестны причины и подробности этого происшествия...

В начале царствования императора Павла Дмитриев вышел из гвардии в отставку с чином полковника и с мундиром.

В самый день крещения (1797), в который бывает церковный ход на воду и парад войск, Дмитриев, перед самою обеднею, лежал еще в постели и читал книгу — какую же книгу! — *La conjuration de Venise, par Saint — Réal.* — Входит к нему двоюродный его брат Иван Петрович Бекетов, в мундире и в шарфе, и говорит ему шутя: «Вот, право, счастливец! Лежит спокойно; а мы будем мерзнуть на вахт-параде!» — Пробывши у него с четверть часа, он вышел — и находит у наружных дверей часового! — Он хотел воротиться назад; но его уже не пустили.

Вдруг вошел к Дмитриеву второй военный губернатор, Николай Петрович Архаров (первым был наследник, великий князь Александр Павлович), и сказал ему очень учтиво, чтоб он одевался и ехал с ним. Дмитриев начал одеваться, хотел, по тогдашней строгой форме, причесываться, делать букли, косу и пудриться; но Архаров сказал, что это не нужно, — и потому Дмитриев оделся наскоро в мундир, и с распущенными волосами сел с Архаровым в его карету и поехал. Проходя через переднюю, он сказал только своему слуге: «Скажи братьям». — Карета остановилась у дворца. Взойдя на крыльцо, он увидел своего сослуживца Лихачева, тоже привезенного полицмейстером, под надзором которого Архаров оставил их обоих, а сам пошел вверх по лестнице во внутренние комнаты. Оба арестанта бросились друг к другу с вопросами: «Не знаешь ли, за что?» — И оба вдруг отвечали: «Не знаю!»

Вскоре их обоих позвали. Надлежало проходить чрез все парадные комнаты дворца, наполненные, по случаю торжественного дня, генералитетом, сенатом, камергерами, камер-юнкерами, высшими чинами двора, придворными дамами. Их ввели в кабинет государя; он был окружен одним императорским семейством.

Император сказал им: «Господа! Мне подан донос, что вы покушаетесь на мою жизнь!» — В эту минуту великие князья Александр и Константин оба заплакали и бросились обнимать отца. — Павла это тронуло. — Он продолжал: «Я хотя и не думаю, чтоб этот донос был справедлив, по-

тому что все свидетельствуют об вас одно хорошее; особенно за тебя все ручаются!» — сказал он, оборотясь к Дмитриеву. — (Действительно, за него все ручались, и сам наследник; особенно же тогдашний генерал-майор Федор Ильич Козлятьев, человек добродетельный и строгий к долгу, хотя и добродушный философ; об нем я напечатал некогда статью в прежней *Молве*, издававшейся Надеждиным.) Впрочем, — продолжал государь, — я так еще недавно царствую, что никому, думаю, не успел еще сделать зла! — Однако, если не так, как император, то как человек, должен для своего сохранения принять предосторожности. — Это будет исследовано; а пока — вы оба будете содержаться в доме Архарова». — Их вывели, и они поселились у военного губернатора. В первый день они обедали вместе с хозяином; но так как начало приезжать множество любопытных, то Архаров предложил им обедать одним в своей комнате, чему они были и рады. Три дня прожили они в неизвестности о своей участи.

В это время (рассказывал мой дядя) один случай рассмешил его. Вдруг выглядывает к нему в комнату мальчик, хорошо одетый, и спрашивает, можно ли войти. Дмитриев позвал его, приласкал и спросил: что ему надобно? — это был племянник Архарова. — «Я слышал, — отвечал мальчик, — что вы пишете стихи; я тоже пишу и пришел попросить вас, чтоб вы поправили».

Через три дня вся эта история кончилась. — Дело было вот в чем. Слуга Лихачева (но не этого, а двоюродного его брата, с которым Дмитриев вовсе не был знаком) подал этот донос в надежде получить за это свободу. Для достоверности нужно ему было припутать другого, и он припутал Дмитриева. Архаров, немедленно по взятии их под стражу, бросился обыскивать слуг, их платье; у доносчика найдено было в кармане черновое письмо к родственникам, в котором он писал, что скоро будет вольным. Это письмо, при сходстве почерка с доносом, послужило к открытию истины...

Эта история послужила к счастью Дмитриева. Государь приказал великому князю Александру Павловичу спросить Дмитриева: чего он хочет? — Он не хотел ничего, кроме спокойной жизни в отставке. — Наконец, в третий раз Александр Павлович настоятельно уже сказал ему: «Скажи что-нибудь; батюшка решительно требует!» — Тогда он отвечал, что желает посвятить жизнь свою службе государю. — Вследствие этого ответа он был сделан товарищем минист-

ра уделов. Потом уже он получил место обер-прокурора. Тогда это было повышением.

По кончине Михаила Никитича Муравьева, 1807 года от 10 сентября, министр народного просвещения граф Петр Васильевич Завадовский, исполняя волю государя Александра Павловича, предлагал Дмитриеву звание попечителя императорского Московского университета и его округа; но Дмитриев, не признавая себя достаточно ученым, отказался от этого звания. Вместо его 2 ноября попечителем был назначен граф Алексей Кириллович Разумовский.

В 1809 году, в последних числах декабря, когда Иван Иванович Дмитриев был уже четыре года сенатором, получил он письмо от Александра Дмитриевича Балашова, который писал к нему, что государь император приказал звaть его в Петербург, и приказал написать, что ему *приятно бы было видеть его к новому году*. Вслед за этим получил он другое письмо от Сперанского, что государь рассчитал, что к новому году он не успеет приехать, и ожидает его после 1 января. Это был вызов на министерство при новом учреждении министерств 1810 года.

Будучи уже министром, Дмитриев имел все еще одну Анненскую ленту. Однажды, после доклада, он сказал государю: «Простите, ваше величество, мою смелость и не удивитесь странности моей просьбы». — «Что такое?» — «Я хочу просить у вас себе Александровской ленты». — «Что тебе вздумалось?» — спросил государь с улыбкой. — «Для министра юстиции нужно, государь, иметь явный знак вашего благоволения: лучше будут прижиматься его предложения». — «Хорошо, — отвечал государь: — скоро будут торги на откупа: ты ее получишь». — Так и сделалось. — Когда Дмитриев пришел благодарить государя, он спросил с улыбкой: «Что? Ниже ли кланяются?» — «Гораздо ниже, ваше величество!»

Много слышал я от него об императоре Александре. Однажды Иван Иванович Дмитриев докладывал ему дело о жестоком обращении одной помещицы с дворовой девкой, вследствие которого последняя умерла. Александр, слушая доклад, плакал и говорил: «Боже мой! Можем ли мы знать все, что у нас делается! Сколько от нас закрытого, мы и вообразить этого не можем!» В этом случае, при

утверждении сентенции, Александр забыл уже свою кротость для правосудия...

При Александре ходила по рукам бумага под названием *Концерт*, которой все от души смеялись. Это было объяснение о концерте. Начало составлял *хор* Государственного совета, который пел:

С тем ли нас хозяин звал,
Чтобы мы молчали!

Далее пели *соло* все министры. — *Граф Аракчеев*:

Вы раздайтесь, расступитесь,
Добрые люди!

Министр финансов *Гурьев*:

Ах ты, батюшка, царев кабак!

Министр юстиции *Дмитриев*, который просился уже в отставку:

Я в пустыню удаляюсь
От прекрасных здешних мест!

Министр полиции *Балашов*, который был беспрестанно в посылках по разным государствам:

Мне моркотно, молоденьке:
Нигде места не найду!

Статс-секретарь *Шишков*, который все ездил с государем по чужим землям:

Ах тошно мне
На чужой стороне!

Других не помню, но все песни были прибраны очень кстати и очень забавно...

Возвращаясь опять к Ивану Ивановичу Дмитриеву. До войны 1812 года, или, лучше сказать, до последовавших за нею отлучек государя, Дмитриев был совершенно доволен своею службою и своим положением. Государь его любил и ценил его чистые правила, его благородный характер. Но с отлучками государя из Петербурга положение Ивана Ивановича Дмитриева как министра переменилось. Известно, что во все это время распространены были действия Государственного совета и даже власть Комитета министров; что в них поступали и ими разрешались оконча-

тедьно некоторые дела административные, которые прежде вносились на утверждение самого государя; что кн. Н. И. Салтыков, который был тонкий и лукавый придворный, в это время почти правил Россиею. Вместе с делами по некоторым отдельным частям управления, по поставкам на армию и прочее Совет и даже Комитет начали присваивать себе эту власть и по Сенату.

Многие такие действия Комитета министров побудили Дмитриева проситься в отставку. На случай же несогласия на это государя, писал он к Балашову, чтоб ему исходатайствовать бессрочный отпуск. Государь уволил его на четыре месяца; потом еще на два; наконец, не согласился уволить долее, и Дмитриев возвратился на министерство.

Но когда возвратился государь из-за границы, дела приняли другой оборот. Личных докладов министров уже не было: их докладные дни были отменены; все дела шли через графа Аракчеева. Дмитриев не имел случая объяснить с государем и просил уже решительно об отставке. Министерство принял по его рекомендации сенатор Алексей Ульянович Болотников. Ему оставил Дмитриев замечательное письмо, в котором писал, что, может быть, ему и впредь не удастся объяснить государю, почему он так настойчиво просился в отставку, и потому он просил его, при удобном случае, довести об этом до сведения государя. «Таким образом, — заключает Дмитриев, — я вас делаю душеприказчиком моей чести».

Вероятно, наконец государь узнал истину: ибо, уволивши Дмитриева от службы с заметным неудовольствием, он вскоре как будто искал случая вознаградить его. В Москве была учреждена Комиссия для рассмотрения просьб, подаваемых на высочайшее имя от людей, разоренных неприятелем. Дмитриев был сделан председателем этой Комиссии и получил потом две награды, которые возбудили большую зависть и много толков...

Итак, после своей отставки Иван Иванович Дмитриев переехал опять в Москву, думая найти в ней прежнюю жизнь, прежних друзей, прежнее общество. Но время, особенно 1812 год, многое изменили: под старость он скучал в Москве, которая была им столь любима.

Более всего его привлекало в Москву то, что там он бу-

дет вместе с Карамзиным. Но Карамзин с 1816 года переехал для печатания своей *Истории* в Петербург. Другие старые знакомые мало-помалу померли. Те, которые оставались в живых, сохраняли, конечно, постоянное к нему уважение и привязанность; но их, его современников, было уже немного. Знавшие его прежде молодые люди кн. Вяземский, Жуковский и их ровесники оказывали величайшее уважение и ему, и его таланту. Но последующее младшее поколение отвыкало уже от форм почтительного внимания и к характеру человека, и к его общественному значению, и к заслугам литературным; да и обращение их с людьми заслуженными начало уже отзываться небрежностью, которая не могла нравиться Ивану Ивановичу, Дмитриеву, привыкшему к хорошему тону и к хорошему обществу. Все это делало для него последние годы его жизни несколько скучными, и его общество людей близких более и более уменьшалось; более и более он проводил вечера один, с книгами. Конечно, человек умный и образованный всегда найдет в самом себе средства против скуки; но тем не менее такое отшельничество было для него несколько тяжело в его последние годы.

Прочитавши это в первом издании, один приятель заметил мне, что И. И. Дмитриев был холоден в обращении и что будто от него отдаляла эта холодность. Ответствую на это, что люди хорошего обращения никогда не кидаются на шею, как провинциалы; может быть, некоторым из тогдашнего нового поколения он казался холоден потому, что ровный тон порядочного общества был им в диковинку, т. е. они хотели бы не сами ему учиться, а переменить старика. Но этим людям прошлого века трудно бы было переродиться. Надобно сказать и то, что это провинциальное радушие ненадежно. А на Дмитриева, кто приобрел его внимание, можно было твердо положиться.

Я знаю, многие удивлялись, что он находил наконец удовольствие в обществе Иванчина-Писарева и Волкова, автора поэмы «Освобожденная Москва». Но очень натурально, что он платил благодарностию тем, которые сами находили с ним удовольствие и не скушали проводить с ним вечера, когда другие об нем и не вспоминали. Впрочем, из числа прежних образованных людей, до конца своей жизни приверженных к Дмитриеву, надобно назвать В. Л. Пушкина и М. М. Солнцева, человека светского, ум-

ного, хорошего тона и очень приятного, который после был и из моих лучших знакомых.

Не только Иван Иванович Дмитриев, принадлежавший к образованному веку Екатерины, но и я, уже человек позднейшего времени и не имеющий заслуг моего дяди, нахожу, что многое переменилось не к лучшему! — Я не имею ни капли гордости в своем характере; я вообще прост в обращении и общежителен; но обращение нынешнего поколения, особливо нынешних *выходцев*, заставляет и меня *сжаться и приосамиться*. Что же делать, если на твою вежливую предупредительность отвечают грубостию; если за быты все отношения самой обыкновенной в наше время учтивости, все условия хорошего общества...

Иные приписывают это за гордость; а эта гордость состоит только в чувстве своего морального самосохранения: боишься, чтоб тебя не задела, чтобы не сказали или не оказали тебе грубости.

Кончина И. И. Дмитриева последовала 1837 года, 3 октября, в 35 минут 5-го часа пополудни. В это время меня не было в Москве; я лежал несколько уже месяцев больной, безногий, в Симбирске...

Чтобы не утратить подробностей о его кончине, переписываю здесь два письма Михаила Петровича Погодина, который, как человек с горячею душою, не почитает для себя посторонним делом ничего, касающегося до сердца другого. Где семейное горе, где или честь, или утрата России, он там, пезваный, непрошенный! — Ничто не обязывало его уведомлять меня с такими подробностями обо всем, касающемся до последних минут моего дяди и даже о последующих обстоятельствах. Но я уверен, что мысль о Дмитриеве, последнем поэте екатерининского века, вместе с мыслию о Карамзине, вместе с чувствами дружества ко мне и с мыслию о тогдашнем моем болезненном состоянии, — все это должно было сильно потрясти такое горячее сердце, как его... Вот эти два драгоценные для меня письма.

«1837. 13 окт. Москва.

Не думал я, любезнейший М. А., писать к вам в таком грустном расположении духа, сообщать такие горестные подробности; но они, верно, составляют теперь потребность вашего сердца и ваших близких, и я принимаю на себя печальный долг.

Иван Иванович был совершенно здоров в начале этой

недели: в среду мы обедали с ним вместе в клубе; перед столом он говорил со мною о *Вивлиофике* Новикова, о многих любопытных статьях, в ней помещенных, о выборке из нее, которую он когда-то делал касательно древней нашей дипломатики, о том, что было бы полезно перепечатать ее теперь, по крайней мере в извлечении. Потом рассказал мне, и с большим участием, если не чувством, историю бедного книгопродавца Кузнецова, у которого остановлено издание *Христианского календаря* и который теперь совсем разоряется; бранил привязчивых цензоров: «Не стыдно ли двум ученым сословиям, гражданскому и духовному, Университету и Академии, напасть так на бедняка, и из чего? — Из каких-то пустяков! Я пришлю его к вам, и вы увидите, в чем дело. А незаконное пропускают!» После обеда он остановился в кофейной комнате с Шевыревым и Жихаревым и рассказывал им, с обыкновенною своею живостию и шуткой, похождения Кострова; представление Кострова Потемкину, вопросы Потемкина о Гомере, как провожали его издали на обед к Потемкину, потому что стыдно было идти с ним рядом, и как встречные бабы одни сожалели о больном, а другие бранили пьяницу. — В четверг поутру он делал визиты, приехал довольно поздно домой обедать. За столом ел мало, но кушанье было тяжелое: щи, поросенок. После обеда он напился шоколада вместо обыкновенного кофе, выпил стакан холодной воды и тотчас, надев бекешь и кенги, пошел садить акацию около кухни, чтобы заслонить ее с проезду. Тут он почувствовал дрожь, и насилу привели его в комнату. Послали за доктором. Газ прописал лекарство, не нашедши ничего дурного. Иван Иванович разговаривал с ним, заплатил за визит, послал в аптеку; но лишь только тот уехал, как он впал в беспамятство и целую ночь бредил. Пятница вся прошла в беспамятстве. Доктора были: Газ, Высоцкий, Шнауберт, Иовской, по нескольку раз. В субботу поутру я узнал об его отчаянной болезни. Мне надо было ехать на лекцию и читать о Карамзине. С тяжелым чувством поехал я к больному, опасаясь, что не застаю его в живых, и взял с собою Мишу.

Иван Иванович только что опаматовался перед моим приездом; услышав стук дрожжек, спросил, кто приехал, и позвал меня к себе; встретил по всем своим правилам. При нем был Боголюбов. Он рассказал мне тотчас историю своей болезни, как я вам выше описал ее, и тотчас обратился к любимому своему предмету, литературе, но говорил уже

гораздо медленнее, расстановистее, искал слов часто, ошибался в их изменениях и даже мешался; но везде видна была заботливость о своей речи и старание скрыть болезнь.

«Что это пишет Макаров в *Наблюдателе* о Виноградове, будто бы Виноградов познакомил Карамзина с сочинением... этого... швейцарского фил... софа...» — «Боннета?» — «Да, Боннета. Виноградов жил сначала в Москве и отличался, разумеется, между своими сверстниками; но потом его отправили служить в полк, в Петербург. Там Козодавлев заставил его присесть за Боннета, которого Карамзин гораздо прежде переводил с Петровым, Александром Андреевичем, а после и познакомился с ним лично. Как можно писать так наобум! Надо справляться, спрашивать!» — Потом рассказал, мешаясь, о вашей болезни, спросил о занятиях Миши. Я отвечал ему, что Миша ветрен и рассеян и что я начинал с ним ссориться сильно, но что теперь он лучше, и я надеюсь, что вперед он исправится совсем, зная, какое имя должно ему поддерживать. Иван Иванович вспомнил, что покойный Павлов, Михаил Григорьевич, профессор, говорил ему то же, и советовал ему приняться за ученье. Потом спросил у меня, скоро ли я кончу свою расправу с новыми толковниками о русской истории? — Я отвечал, что к новому году. — «А дохвальное слово Карамзину?» — Начал. — «Пожалуйте, привезите мне». — В таком положении я простился с ним. Он силился встать и поднял руку. Я думал, что он подавал ее мне, и поцеловал ее. В два часа перед обедом я заезжал к нему опять; но не зашел в кабинет, потому что там было много дам. Мне сказали, впрочем, что ему не хуже. На крыльце встретился с Иовским, который говорил, что если к вечеру не будет хуже и если он будет слушаться, то болезнь пройдет. Но ввечеру он опять впал в беспамятство, больно страдал, метался, беспокоился, приходя в себя только минутами. В одну такую минуту человек его Николай спросил, не угодно ли ему послать за священником. — «Зачем?» — «Приобщиться святых таин на здоровье». — «Не худо». — Священник пришел; но больной опять был в беспамятстве и исповедывался глухой исповедью. В 35 минут пятого часа пополудни, 3 октября, он скончался, успокоившись перед последними минутами и погружившись в тихий сон. Никого не было при нем, кроме Миши.

Здесь я останавливаюсь, потому что пора посылать на почту, и окончание письма пришлю к вам в субботу. Все

идем мы по одной дороге и придем в одно место. Дай Бог только с миром о Христе Иисусе.

1837. Октября 19. Москва.

«Принимаюсь опять за печальное повествование, любезнейший М. А.! Горько будет услышать вам некоторые подробности в другом отношении; но историческая верность обязывает меня передать все, как было. В первый день никто не принимался за распоряжения. Между тем дом тотчас был опечатан. В понедельник поутру я, узнав об смерти, отправился туда. Он лежал на столе в столовой. Свечи взяли где-то на честное слово. Я старался убедить г. Боголюбова и вызвался ему на помощь. Князь Дмитрий Владимирович Голицын, московский генерал-губернатор, позволил вынуть ему деньги на расходы; но полиция не могла допустить без бумаги. Я поехал к нему с Шевыревым; но не застали его дома. Мы просили гувернера, чтоб он попросил князя, от нас, прислать казенные деньги, кои после ему доставятся. Не успели мы воротиться, как пришло, однако, разрешение обер-полицмейстера г. Боголюбову. Начались торги гробовщиков перед столовой, и я насилу увел всех наверх, в темную комнату, между кабинетами, чтоб оставить в покое мертвого. Тяжкая смерть бессемейному, судя по нашему! Сенат прислал курьеров своих. К вечеру понедельника все удалось, благодаря господину Боголюбову, который хлопотал один. Весь обряд и все требования светского приличия были выполнены. На вынос, 7 октября, в четверг, приехали сенаторы Нечаев, Писарев, Яковлев, Озеров, граф Строганов и сенатские секретари по наряду. В церкви их уже не было. В грустном расположении стоял я у гроба. Дмитриев отжил свой век, он прошел с честью свое поприще, исполнил свое назначение; но тяжело было видеть его во гробе. Мы как-то привыкли все видеть в нем и Карамзина, и Державина, и Богдановича. Он был для нас представителем лучшего времени, когда литература наша была чище, благороднее, прекраснее! Что скажет он Карамзину на его вопрос об теперешнем ее состоянии? Мерзость запустения на месте святе, купующие и продающие, и нет бича изгонителя, и какие виды в будущем! Горько, тяжело! Отпевание совершал митрополит Филарет. Приехал и князь Дмитрий Владимирович. Проповедь сказал приходский священник. В церкви были из нашего звания Шевырев, Баратынский, Макаров, Андросов, Шаликов, Павлов, Давыдов и только. Профессоров только четверо (т. е. Шевырев, я, Давыдов и Морошкин). Студентов пя-

теро. Люди его плакали горько. Поставили гроб на дроги и стали по сторонам сепатские курьеры; за кисти держались квартальные; ордена понесли секретари, почти без ассистентов. Похоронили его в Донском монастыре. Там встретил опять граф Строганов. Опустили в землю — и нет его совсем! Человек почтенный, особенно когда, в теперешнем отдалении, не видать человеческих слабостей и пятен его! — В ранге действительного тайного советника он любил литературу; в трех звездах, он приезжал во всякое учное собрание; министр юстиции, он оставил после себя только шесть сот родовых душ; русский помещик — без долгов; поэт, умолкнувший вовремя; старик, с которым всегда приятно было проводить время, приветливый, ласковый! Да почует в мире прах его, а имя его останется навсегда незабвенным в истории русской литературы!

Комнаты все опечатаны. Мы просили еще генерал-губернатора, чтоб приказал полиции иметь надзор. В доме все благополучно. Люди приходят по временам ко мне и рассказывают. Они очень печальны, в недоумении о своей судьбе. Я одобрял их и уверял, что их службы, разумеется, не забудут родственники покойного, и особенно вы. — Когда же вы приедете к нам? Прощайте!

М. П.». .

Над могилой Ивана Ивановича поставлен точно такой же памятник, какой над Карамзиным. Это было его желание, которое я и исполнил. Как у того «лежит венец на мраморе могилы» *, так лежит бронзовый венок и на его могильном камне. Только камень не белого мрамора, как у Карамзина, а гранитный, который по нашему климату, показался мне прочнее. Скульптор Кампиони нарочно поручил снять рисунок и точную меру с камня Карамзина. Кроме обыкновенной надписи, состоящей из титулов, имени и фамилии, я велел на камне Дмитриева надписать слова Св. Апостола Павла: «Подобает бо тленному сему обещаться в нетление, и мертвенному сему обещаться в бессмертие». 2. Кор. 15.53. — Я не хотел никакой надписи в стихах над могилой поэта; потому что не хотел над ней никакого знака человеческой суетности!..

Кто знал Алексея Федоровича *Мерзлякова*, тот, конечно, любил и уважал его: любил за его добрую, чистую

* Стих Жуковского. (Прим. автора.)

душу, уважал за его талант, за его прямой характер, чуждый всяких извилищ, всяких искательств. Это уважение было полно и искренно.

Известно, что Алексей Федорович был сын пермского купца из города Далматова; что, обучаясь там, в Пермском народном училище, он, будучи 13 лет от роду, написал *Оду*, которая была представлена императрице Екатерине, и что по ее повелению он был отправлен, по окончании там курса наук, в Московский университет; об этом сказано подробно в *Истории русской литературы* г. Греча и в *Словаре московских профессоров*. Обращаю к ним моих читателей: ибо я, по словам Авла Геллия, *non docenti magis, quam admonendi gratia scribo*.

В первый раз я узнал его, поступивши в высший класс Московского университетского благородного пансиона (ныне 4-я гимназия), в котором он, как печаталось прежде на пансионских программах, обучал *российскому слогу*; а в мое время (1812 г.) он преподавал *русскую словесность*.— Я помню уважение наше, смею сказать, благоговение к Мерзлякову.— Оно было таково, что мы могли бы выразить его словами учеников Пифагора: *учитель сказал*; ибо что он сказал, было для нас неопровержимо.— Чем объяснить это? — полною доверенностью к его знанию и к его прямому характеру.

Может быть, многие, не имеющие точного понятия о тогдашнем университетском пансионе, подумают, что это была безотчетная уверенность *детей*? Нет! У нас в высшем классе литературные сведения были не детские: у нас были старшие воспитанники — люди образованные и не малышечки, а лет 20 и старше, потому что они, не выходя из пансиона, получали звание студента и, живучи в пансионе, оканчивали курс университетских лекций. Между нами были: *Саларев*, о котором после его кончины напечатал столь красноречиво свои воспоминания Иван Иванович Давыдов; между нами был и Аркадий Гаврилович *Родзянка*, имевший неоспоримо большое дарование к лирической поэзии и написавший оду на смерть *Державина*, оду, исполненную восторга, и в которой он схватил удачно и язык, и самый тон Державина. Она была напечатана в *Благонамеренном* Измайлова; но, к сожалению, была впоследствии забыта. Указываю только на двоих воспитан-

ников; но таких было много. Эти люди были тогда уже литераторы и могли оценить достойно Мерзлякова.

Я слушал его лекции и в университете (1813—1817). Надобно сказать, что здесь он посещал их лениво, приходил редко; иногда, прождавши его с четверть часа, мы расходились.— Спросят: как же учились? — Отвечаю: учились хорошо: а доказательство: все студенты того времени, ныне уже старики, знают словесность основательно! Вот объяснение этого. Живое слово Мерзлякова и его неподдельная любовь к литературе были столь действительны, что воспламеняли молодых людей к той же неподдельной и благородной любви ко всему изящному, особенно к изящной словесности! Его одна лекция приносила много и много плодов, которые созревали и без его пособия; его разбор какой-нибудь одной оды Державина или Ломоносова открывал так много тайн поэзии, что руководствовал к другим дальнейшим открытиям законов искусства! Он бросал семена, столь свежие и в землю столь восприимчивую, что ни одно не пропадало, а приносило плод сторицею.

Я не помню, чтобы Мерзляков когда-нибудь искал мысли и выражения, даром что он немножко заикался; я не помню, чтобы когда-нибудь, за недостатком идей, он выпускал нам простую фразу, облеченную в великолепное выражение: выражение у него рождалось вдруг и вылетало вместе с мыслию; всегда было живо, ново, сотворенное на этот раз и для этой именно мысли. Вот почему его лекции были для нас так привлекательны, были нами так ценимы и приносили такую пользу! Его слово было живо, неподдельно и убедительно.

Мерзляков читал и публичные лекции: в доме князя Бориса Владимировича Голицына в 1812 году и в доме Ф. Ф. Кокошкина в 1815-м. На них собиралось множество слушателей: и литераторы, и люди светские, и вельможи, и дамы лучшего круга. Большая часть из этих лекций и, говорят, лучшие остались ненапечатанными; некоторые помещались по временам в *Вестнике Европы*. Кажется, и разбор *Россиады* Хераскова, напечатанный в *Амфионе* в форме писем, и разборы трагедий Сумарокова, помещенные в *Вестнике*, принадлежали к тем же лекциям. Сколько ни просил я Мерзлякова собрать их и напечатать во всей полноте,— он обещал, но лень к постоянному труду

препятствовала ему исполнить обещание. Конечно, при нынешнем воззрении на основания литературы теоретическая часть его лекций была бы уже несвоевременной и отсталою; но разборы русских писателей никогда не могли бы быть столь образцовыми, как в наше время, забывающее многое из прежнего и следующее в своей критике нередко одному произволу.— В критике Мерзляков был едва ли не далее нас на пути искусства!

В 1811 году и в начале 1812-го в Москве было много жизни в литературе. Литераторы часто собирались между собою и всякий раз читали друг другу свои произведения. Эти вечера, и в то время, и еще прежде, бывали по большей части у Федора Федоровича *Иванова*, автора известной драмы *Семейство Старичковых*. Тут бывали Федор Федорович *Кокоскин*, переводчик Мольерова *Мизантропа*; Александр Федорович *Воейков*, переводчик Делилевой поэмы *Сады*; *Батюшков*, когда он приезжал в Москву; *С. И. Смирнов*, тоже занимавшийся литературою, на сестре которого после Мерзляков и женился.

На этих вечерах играли иногда в коммерческие игры. Воейков, исстари остряк и весельчак, играл иногда с Мерзляковым не в деньги, а на столько-то стихов! Мерзляков по большей части проигрывал, и за это повинен был проигранное число стихов перевести из *Садов* Делиля, которые он, добродушный, и действительно переводил; а Воейков брал их, как свою собственность и вставлял в свой перевод Делилевой поэмы. Может быть, он несколько и переделывал их, чтобы они приходились к тону его собственного перевода; но дело в том, что это действительно было.

Лучшее время жизни Мерзлякова было до 1842 года. Это время было для него самое приятнейшее, самое цветущее, и для человека, и для поэта, время, исполненное мечтаний несбывшихся, но тем не менее оживлявших его пылкую душу. В это время он проводил летние месяцы в сельце Жодочах, подмосковной Вельяминовых-Зерновых, где все его любили, ценили его талант, его добрую душу, его необыкновенное простосердечие; лелеяли и берегли его природную беспечность.

Вот никому неизвестные его стихи *Маршрут в Жодочи*.

Дорога ко друзьям верна и коротка;
 Но в наш проклятый век железной
 Стал надобен маршрут и к дружбе даже нежной!
 Итак — вам встретится сперва Москва-река,
 Ступайте по стезе, давно уже известной
 Бедами россиян; дерзайте на паром,
 И по *Смоленской* прокатитесь
 До ближних горы, где бьют Москве челом.
 И вы не поленитесь
 Последний дать поклон московским суетам,
 И тотчас влево от *Поклонной*
 К унылой *Сетунь* струям,
 И близ *Волыни* сонной
 К *Очакову* направить путь,
 Отколе сладостный писатель «Россиады»
 Вливал восторги в русску грудь.
 А там, без всякия преграды,
 Стезею ровной и прямой,
 Вы на *Калужскую* явитесь столбовую
 И мимо *Ликовой*
 В деревню вьедете ямскую:
 Ее *Давыдовым* зовут.
 Оттоле... как сказать?... вот вся премудрость тут:
 Вы там заметьте дом, зовомый постоялым,
 И близ его ворот
 Велите рысакам удалым
 Налево сделать поворот
 И, поручив себя всеильной вышней воле,
 Стремитесь к *Старому Николе*,
 Где барин Есипов, пятнадцать лет
 Готовит сахар пам, а сахару все нет!
 А там — что говорить — малютка всякий скажет,
 Где радость, где любовь, где *Жодочи* для вас,
 И путь вернейший вам укажет;
 И вы с любезными обниметесь чрез час!
 Когда же путь свой совершите,
 Прошу вас, о певце печальном вспомняните,
 О скуке сироты, коль можно, потужите,
 И всем его поклон низжайший объявите.

Эти стихи были написаны, кажется, в 1811 году и действительно даны вместо маршрута одной даме, П. А. Даниловой, которая просила Мерзлякова дать ей сведения о дороге.

В *Жодочах* написал он большую часть своих романсов и простонародных песен. Когда в 1830 году он вздумал издавать их или, лучше сказать, решился их издать по просьбе книгопродавца Салаева, многих пиес у него не было; иные он позабыл, иные растерял. Тогда он обратился ко мне, чтобы достать, что есть, из *Жодочей*. Вот полушутливое письмо его:

«Вы некогда проговаривали мне, что у вас есть некоторые вздоры мои, писанные во время моих мечтаний и той сладостной *жизни*, или *нежизни*, о которой жалею и в которой не можем дать себе отчета, как во сне.— Я совершенно забыл об них; ибо обстоятельства настоящего, настоящее состояние нашей литературы, дух господствующий, и все... уморили уже меня для света и для крамол бурной нашей словесности; но он, г. Салаев, солит мои раны и хочет, чтобы я не отчаивался и собирал кое-как мои вздоры.— Итак, подражая великому примеру подобного мне страстотерпца, гр. Хв. и я хочу еще одурачить себя собранием своих сочинений.

Сделайте одолжение, почтеннейший Михаил Александрович, сообщите, если можно, мне, больному отцу хворых деток, все те безделки, которые у вас находятся или которые можете вы достать из пыли старого комода, принадлежащего почтеннейшему и вечно для меня незабвенному семейству. Может быть, я нашел бы что-нибудь похожее на дело, выбрал, поправил, как смогу. Я действительно, собрал все свои маранья — преогромную жертву на алтарь невежества, злобы и подлости — трех божеств нынешней литературы!» — Это писано 5 апреля 1830 года.

Песня Мерзлякова *Среди долины ровныя* написана была в доме Вельяминовых-Зерновых. Он разговорился о своем одиночестве, говорил с грустью, взял мел и на открытом ломберном столе написал почти половину этой песни. Потом ему подложили перо и бумагу: он переписал написанное и кончил тут же всю песню.

В 1812 году В.-З. уехали в свою Орловскую деревню. Мерзляков был у них при отъезде и проводил их. Там прожили они три года; возвратились уже в 1815 году. Во все это время Мерзляков не видал их. Они нашли его уже женатым. По возвращении их, сколько ни приглашал его отец этого семейства, он уже не хотел быть у них, и ни разу не был. Вероятно, он хотел воспользоваться отвычкою, чтобы искоренить вовсе прежнее чувство и не возобновить прежних впечатлений своего сердца.

Но вместе с отвычкою от этого семейства и от их общества Мерзляков более и более приобретал другую привычку. Обыкновенное общество, в котором он тогда бывал, состояло, правда, из людей, занимающихся литературою;

но вечера их оканчивались веселым ужином. Шампанское сменялось пуншем, и этот-то образ жизни решительно отдалил совестливого Мерзлякова от прежних знакомств его.

Женившись, он совсем отстал от прежних знакомств и от прежнего светского общества. Ему уже дико было в нем являться. После моей женитьбы на одной из В.-З. сколько раз я звал его к себе; сколько раз он обещал мне приехать, назначал день — и никогда не мог решиться, как будто не имел силы перешагнуть стену, отделявшую его от прошлой жизни. Но вздыхал, и я видел, что сердце его в эту минуту было в борьбе и беспокойно.

С самого начала своего поприща Мерзляков избрал род лирический и, очевидно, следовал в своих одах Ломоносову. Такова одна из старейших его од *на восшествие на престол императора Александра*, написанная им, когда он был еще бакалавром Московского университета. Но первая ода его, возбудившая всеобщее внимание и показавшая в нем истинного поэта, — это *На разрушение Вавилона*, из пророчества Исаии, ода, исполненная поэтического движения и силы и написанная чистым и сильным языком, что не всегда удавалось Мерзлякову. Другая ода «На победы при Кремсе» была уже слабее; но и она не прошла без особенного внимания читателей и литераторов. Впоследствии его торжественным стихотворениям много вредила напыщенность слога.

Вот начало оды *На разрушение Вавилона*:

Свершилось! нет его! — сей град,
Гроза и трепет для вселенной,
Величья памятник надменный,
Упал! — Еще вдали горят
Остатки роскоши полмертвой! —
Тиран погиб тиранства жертвой!
Замолк торжеств и славы клич!
Ярем позорный прекратился,
Железный скиптр переломился,
И сокрушен народов бич!

Многие обвиняли Мерзлякова за эту оду, находя в ней некоторые применения к смерти императора Павла. Действительно, Мерзляков написал это стихотворение вскоре по его кончине, что было очень некстати. Но я уверен, что добродушный Алексей Федорович не имел никакой постоной мысли, а напечатал свою оду просто как произведение поэзии. Если же она припала не ко времени, то

это объясняется тем, что он был совсем не дипломат и не придворный.

Мерзляков написал одну трагедию, названия не помню, но он был педоволен ею и не напечатал ее. Кто читал ее, говорят, что она была классически правильна, но холодна.

Гексаметры начал у нас вводить Мерзляков, а не Гнедич. Сначала перевел он отрывок из *Одиссеи* «*Улисс у Алкиноя*»; правда, не совсем гексаметром, а шестистопным амфибрахией, т. е., прибавив в начале стиха один краткий слог. Это доказывает только, что он, как писатель опытный в стихосложении, чувствовал, что слух русских читателей не может вдруг привыкнуть к разнообразным переменам гексаметра, и хотел приучить его амфибрахией, как переходною мерою от привычного ямба к новому для нас чисто эпическому размеру, который в своих вариациях требует уже учено-музыкального слуха. Один наш критик видит в гексаметрах только то, что они *длинные*; но Мерзляков видел в них разнообразнейший из метров и потому осторожно приучал к нему слух непривычных читателей. И потому-то после первого опыта, переведенного амфибрахией, он перевел отрывок из *Илиады* *Единокорство Аякса и Гектора* уже настоящим гексаметром. За Гнедичем осталась слава вводителю только потому, что он усвоил нам гексаметр трудом продолжительным и важным, т. е. полным переводом Илиады. Мерзляков и Гнедич — это Колумб и Америк-Веспущий русского гексаметра.

Мерзляков был вообще прямодушен, снисходителен и отдавал полную справедливость талантам. Тем более удивила всех московских литераторов одна выходка его против Жуковского. Расскажу, как это было.

Московское общество любителей русской словесности, которого и я был действительным членом, перед каждым своим публичным заседанием имело собрание приготовительного комитета, составленного, кажется, из шести членов, которые обсуживали предварительно, какие пиесы читать публично, какие только напечатать в *Трудах общества* и какие отвергнуть. Я сам был впоследствии членом этого комитета. Письма, получаемые председателем, прочитывались предварительно им самим и только объявлялись комитету; но в публичных заседаниях читались и они, если заключали в себе не одно уведомление, а что-ни-

будь о предметах литературы. Председателем был Антон Антонович Прокопович-Антонский, к благоразумию и осторожности которого члены имели полную доверенность. Но иногда приходили письма и к членам, тоже о предметах литературы.

В одно заседание комитета Мерзляков объявил, что он получил *письмо из Сибири* о гексаметрах и о других предметах словесности. Письмо о словесности из такого отдаленного края обещало очень любопытное чтение. Мерзляков был сам член комитета: его одобрению можно было поверить; и положили прочесть это письмо публично, без предварительного рассмотрения.

На заседаниях общества собирались тогда высшая и лучшая публика Москвы: и первые духовные лица, и вельможи, и дамы высшего круга. Каково же было удивление всех, когда Мерзляков по дошедшей до него очереди вдруг начал читать это письмо из Сибири — против гексаметра и баллад Жуковского, который и сам сидел за столом тут же, со всеми членами! И, не колеблясь нисколько, Мерзляков прочитал хладнокровно статью, в которой явно указано было на *Адельстана Жуковского*, на две огромные руки, появившиеся из бездны, на его *красный карбункул* и *овсяный кисель* как на злоупотребление поэзии и гексаметра. Жуковский должен был вытерпеть чтение до конца; председатель был как на иглах: остановить чтение было невозможно; сюрприз и для членов и для публики очень неприятный!

По окончании заседания, я помню, Антонский взял под руки Мерзлякова и Жуковского и повел их к себе; мимоходом велел попросить к себе Ивана Ивановича Дмитриева, и началось объяснение. Я это помню, потому что был при этом.

Мерзляков уверял Жуковского, что из любви к нему и к литературе хотел открыть ему глаза, хотел оказать ему услугу. Жуковский отвечал, что это похоже на услугу медведя в басне Крылова; медведя, который, сгоняя муху, «хватит друга камнем в лоб!» и прочее. Как бы то ни было, но и Мерзляков и Жуковский были оба люди добродушные; а Антонский не выпустил их, покуда они не помирились, не обнялись и не поцеловались. — Они были давно коротко знакомы и говорили друг другу *ты*. Это *письмо из Сибири* было, спустя много времени после публичного чтения, напечатано в *Трудах общества люб. слов.*, но сокращено чрезвычайно.

Но и здесь, я думаю, нельзя вподре винить Мерзлякова. Напротив, мне кажется, что самая добросовестность и желание добра литературе побудили его к этому восстанию: не хорошо было только средство. Старая привычка к классицизму, старое убеждение и опасение нововведений, колебавших тогда нашу литературу: вот что было причиной мгновенной выходки этого доброго человека! — Вообще он никак не мог привыкнуть к новым формам и новому духу нашей поэзии. Часто он с каким-то горьким чувством говорил против Пушкина и Баратынского. — Старой привычке мудрено переучиться.

Упомянутое мною *Общество любителей русской словесности* учреждено было в 1811 году. Председателем его был с самого начала профессор Московского университета Антон Антонович Прокопович-Антонский. Оно имело публичные заседания один раз в месяц. Каждое заседание начиналось обыкновенно чтением оды или псалма, а оканчивалось чтением басни. Промежуток посвящен был другим родам литературы, в стихах и прозе. Между последними бывали статьи важного и полезного содержания. В числе их читаны были: *рассуждение о глаголах* профессора Болдырева; статьи *о русском языке* А. Х. Востокова; *рассуждения о литературе* Мерзлякова; *о церковном славянском языке* Каченовского; *опыт о порядке слов и парадоксы из Цицерона* красноречивого Ивана Ивановича Давыдова. Здесь же был прочитан и напечатан в первый раз отрывок из *Илиады* Гнедича: *Распря вождей*; первые переводы Жуковского из Гебеля; *Овсяный кисель* и *Красный карбункул*; и стихи молодого Пушкина: *Гробница Анакреона*. — Баснею под конец заседания утешал общество обыкновенно Василий Львович Пушкин.

Это общество напечатало 20 томов под заглавием *Труды общества* (1812—1820) и 7 томов под заглавием *Сочинения в прозе и в стихах* (1822—1828). Самые блестящие его собрания были в 1818 году, когда государь император Александр Павлович и весь двор были в Москве. Тогда присутствовали в собраниях общества и приехавшие в Москву петербургские литераторы: Жуковский, Батюшков, Ф. Н. Глинка (оба еще в военных адъютантских мундирах); А. Ф. Воейков и другие. Пушкин (А. С.) был тоже наконец выбран в члены общества; но никогда в нем не бывал, потому что приезжал в Москву редко и на самое короткое время.

Мир праху Алексея Федоровича Мерзлякова и вечная память Обществу любителей русской словесности! Вот как оно упало и, не будучи закрыто, не будучи уничтожено, перестало существовать.

При самом начале Общества (1811) избран был в председатели Антон Антонович Прокопович-Антонский. Я помню, что тогда дивились этому избранию, потому что Антонский был совсем не литератор. Во всю свою жизнь он написал только одну маленькую книжку *о воспитании*; правда, написал дельно, благоразумно, слогом ясным, точным, правильным, кратким и сжатым, но по тогдашним понятиям одна книжка, только полезная и умная, но не принадлежащая писколько к литературе изящной, не давала прав литературных. — Однако последствия доказали, что не могло быть председателя лучше Антонского и что он в этом почетном звании был именно на своем месте. Пока он был председателем, Общество собиралось почти всегда раз в месяц, кроме заседаний экстраординарных, в которых присутствовали одни действительные члены. Антонский, не будучи сам литератором, живо чувствовал выгоду соединенных сил для литературы. Он умел соединять, умирять, прекращать несогласия и ставить выше всего общую пользу; он умел внушить членам уважение к себе и к своим мнениям, которые всегда были благоразумны и держались середины, между крайностей; наконец, он умел из малых денежных средств Общества извлекать многое.

После него был председателем Ф. Ф. Кокоскин. Перед избранием его, правда, говорил мне Александр Иванович Писарев (автор *Лукавина* и многих водевилей), что Кокоскин не сладит с Обществом; но многие думали, в том числе и я, что он, как человек степенных лет, немалою чина, известный в обществе прежними своими связями, а в литературе переводом Мольерова *Мизантропа*, будет полезен в звании председателя. Но Кокоскин, нетвердый в характере и страстный более к театру, нежели к литературе, не умел направлять мнений членов, думал более о наружном блеске собраний и сделал из них один спектакль для публики.

После него выбрали Михаила Николаевича Загоскина. Это было уже без меня, когда я, видя безурядицу, вышел из членов Общества. Михаил Николаевич начал свое председательство тем, что сел, крякнул, потрел себя по брюху и обратился к членам со следующей речью: «Фу,

батюшки! Обедал у Акулова! Так накормил, проклятый, что дышать не могу: всего расперло! Ну! Что же бы нам поделаться?» — Очевидно, что Общество перестало видеть в председателе лицо важное и уважительное. С тем вместе между членами возродилась такая неразборчивость, что начали принимать в члены всякого, кого ни предложат. При Антонском же обращали внимание не только на способности и трудолюбие, но и на общественный и нравственный характер предлагаемого в члены, помня, что иногда один человек может повредить целостности настроения и согласию всего Общества. Был выбран и Полевой: вследствие этого выбора вышел из членов С. Т. Аксаков; другие перестали ездить в заседания, и Общество мало-помалу начало расстраиваться. Загоскин был председателем недолго: кажется, он и сам видел, что это не его дело! — Выбрали наконец Ал. Ал. Писарева, как попечителя университета: Обществу уже нужна была поддержка, в которой прежде оно не нуждалось.

Александр Александрович был человек добрый, но не имевший основательных сведений в литературе и, к несчастью, сам литератор. Он издал в печать пять книг: 1) *Предметы для художников* (1807), выбранные из русской истории, по одному чувству патриотизма, но без всякого знания о возможности художнического исполнения; 2) *Начертание художеств*; 3) *Общие правила театра*, выбранные из Вольтера (1809); 4) *Военные письма* (1817), в которых на первой же странице, в первой строке заглавия, сделал уже ошибку против правописания, напечатав: *военные*. 5) Он стоял некогда с своим полком в Калуге, завел там литературное общество и напечатал в двух томах *Калужские вечера* (1825): собрание совершенно талантливых произведений по большей части военных литераторов.

При Писареве пошли одни *парады* в Обществе. В последний год существования Общества (в 1830 или 1831 году) было даже одно торжественное заседание с музыкой, с арфой, с пением и чтением актера Мочалова с кафедры. Шуму и блеску было много, но на один раз. Кончилось тем, что на свечи и на угощение истратили все деньги и казначей общества Михаил Николаевич Макаров остался без гроша! — А теперь — где дела Общества, где его библиотека, никто не знает: прошло почти три земские давности, не на ком и спрашивать!

Собрания Общества с того времени прекратились.

С 1830 или 1831 года и по сие время (1857), вот уже около 27 лет, как не было ни одного собрания, и об Обществе не слышно! А оно процветало! И папрасно винить само Общество! Об этом свидетельствуют 27 томов трудов его, выданных с 1812 года по 1828-й, т. е. в продолжение 14 лет его действительного существования....

Я упомянул о Кокошкине.— Он был более любитель литературы, нежели литератор. Главное его право в литературе, кажется, основывалось на том, что он обращался с словесниками. Что он писал в других родах, кроме драматического, даже трудно вспомнить. В *Трудах* Общества люб. росс. слов. была напечатана его ода *Человек*; еще написал он стихи на кончину государя императора Александра Павловича под заглавием *Излияние чувств верно-подданного*. Других его лирических произведений не помню; они печатались в *Вестнике Европы*, *Сыне Отечества*, *Трудах* Общества, люб. росс. словесности и проч.

В драматическом роде он перевел Мольерова *Мизантропа* и написал собственную комедию в стихах *Воспитание* (1824). Я не сказал «оригинальную», потому что в ней нет ничего оригинального. Перевод *Мизантропа* близок к подлиннику; но стих тяжел и отчасти грубоват. Впрочем, тогда на это мало еще обращали внимания, и этот перевод все-таки заслуга. Кроме того, он перевел с французского несколько комедий стихами: *Урок старикам* Делавиня, в прозе; *Роман на один час*, *Перегородка* и еще *Осаду Миссолунги*, что-то вроде лирической мелодрамы.

Мизантроп был игран в первый раз в Москве между 1814 и 1815 годами обществом благородных людей. В нем же в 1815 году декабря 15 в первый раз появилась на сцене, не принадлежа еще к театру, М. Д. Львова-Синецкая, в роли Прелестинной (т. е. Селимены).

Главное было его призвание, главная была его страсть — театр. Он и сам, игравший в благородных спектаклях, был хорошим актером. Все роли его были обдуманы, все шаги разочтены; искусства было очень много, но натура иногда скрывалась за искусством. Ему много был обязан Московский театр. Во время его директорства он пригласил лучших актеров; Щепкин был вызван на московскую сцену им же, и без Кокошкина, может быть, мы

не имели бы Щепкина. Но молодых дебютантов и воспитанников театральной школы он учил, так сказать, с голоса, как учат птиц, и потому некоторые играли немножко параспев с голоса самого Кокошкина.

И. И. Дмитриев, знавший даёпо Кокошкина, как человека хорошей фамилии, образованного и с умом, в то время, как был министром юстиции, предложил ему место московского губернского прокурора. Предварительно захотел он посоветоваться с его тестем, Иваном Петровичем Архаровым. Архаров отвечал так, слово в слово: «Ох, мой отец! Велика твоя милость; да малый-то к театру больно привязался!» И. И. не посмотрел на это выражение, думая, что театр не помещает делу: был бы ум и добрая воля; и сделал его прокурором. Однако последствия оправдали заключение тестя; Кокошкин не показал стойкости на этом важном месте и не долго занимал его.

Он был хороший чтец и большой охотник до чтения вслух и декламации. Остроумный Александр Иванович Писарев (автор *Лукавина*) говаривал даже, что он любит и литературу *как средство громко читать*. Это была не совсем правда, а отчасти и так. Голос у него был звучный, интонация обдуманная, но несколько однообразная. Особенное свойство его голоса была необыкновенная гибкость: когда он играл на театре, то у него были слышны даже и тихие тоны: он умел как-то и их послать на далекое пространство. Но много вредила ему на сцене какая-то важность и торжественность, которая была в нем и в обыкновенном обращении.

Мне случалось видеть его в благородных спектаклях, на репетициях. Между прочим, он требовал от актера, чтобы он непременно попадал *в октаву* (правильнее, в тон) с тем, кто кончил речь перед ним. Этому смеялись; но это доказывает тонкость его слуха и есть действительно не последнее правило сценического искусства. Хорошо актеру иметь счастливую натуру; но что она без искусства? Младший Мочалов был богат одарен природой; но, вверяясь одному природному таланту и не изучая искусства, он был так неровен, что иногда восхищал своею игрою и исторгал слезы, иногда был так дурён, что доходил до излишеств, не терпимых истинным чувством и истинною сценического искусства. Также надобно бы заметить и

поэтам: требуется натуру довести до искусства, а искусство до натуры. Во всех истинно-даровитых поэтах это было целию и законом: таковы были Дмитриев, Жуковский, Батюшков и Пушкин.

У Кокошкина была привычка говорить: «Мой милый!» — Об этом упоминает и Аксаков в своих воспоминаниях. Однажды он спорил с Александром Ивановичем Писаревым, утверждая, что Расин лучше Шиллера. Писарев спросил его: «Да читали ли вы Шиллера? Вы прочтите». — «Не читал, милый, — отвечал Кокошкин, — и читать не хочу! Я уж знаю, что Расин лучше!» Потом, взглянувши умилительно на Писарева, прибавил: «Эх, милый Александр Иванович! Когда я тебя в чем-нибудь обманивал? Поверь же ты мне, что Расин лучше!» — Этот анекдот был всем известен. Ф. Ф. Кокошкин был особенно уважаем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, который посвятил ему даже свой перевод 18-й сатиры Буало, с надписью: «Почтеннейшему моему другу, Федору Федоровичу Кокошкину». Эта сатира, и другая 10-я, по тогдашнему обычаю Марина, Милонова и других, были переделаны переводчиком *на русские нравы*, и потому Буало говорит:

Уже нотариус с подъячим из палаты
Приказным почерком и слогом крючковатым
Скрепили наконец твой брачный договор...

Придирчивый критик заметил бы, может быть, что у нас нет брачных контрактов, и удивился бы, каким образом при совершении такого контракта сошлись вместе нотариус с палатой; но тогда, при переложении на русские нравы, позволительно было не знать русских обычаев и русских законов. Блаженное время неведения!

По кончине государя Александра Павловича Кокошкин был беспрестанно то в печали о почившем, то в радости о восшествии на престол. Никогда еще игра его физиономии не имела такого опыта: это была совершенно официальная, торжественная ода в лицах! Когда было объявлено о воцарении Константина, он всем нам повторял: «Слава богу, мой милый! Он хоть и горяч, но сердце-то предоброе!» — По отречении Константина он восклицал с восторгом: «Благодари бога, мой милый! — и прибавлял вполголоса: — Сердце-то у него доброе; да ведь кучер, мой милый, настоящий кучер!»

На кончину Александра написал он стихи. В конце была рифма: «Екатерина» и «Константина». По вступлении на престол государя Николая Павловича, когда он не успел еще напечатать своих стихов, А. И. Писарев сказал ему: «Как же вы сделаете с окончанием ваших стихов?» — «Ничего, мой милый! — отвечал автор: — Переменю только рифму; поставлю: «рая» и «Николая!» — Однако ж конец он совсем переделал.

Большой Московский театр, называемый Петровским (по имени улицы Петровки), построен был, если я не ошибаюсь, в 1780 году; он сгорел 8 октября 1805 года. В 1811-м я застал в Москве деревянный театр на Арбатской площади, который сгорел во время нашествия неприятелей, 1812 года. После неприятеля открыли спектакли на Арбате, в доме С. С. Апраксина, где ныне Александровский Кадетский корпус; потом на Моховой, в доме Пашкова, что ныне новый университет, в том флигеле, который выходит на Никитскую. А в 1824 году, когда был директором Кокошкин, был возобновлен опять Петровский театр. Простоявши 20 лет в развалинах, он был открыт моим прологом *Торжество Муз*, к которому музыка была написана А. Н. Верстовским, А. А. Алябьевым и Шольцом. Наконец, в последнее время, простоявши 29 лет, он сгорел 11 марта 1853 года.

В. А. Жуковский воспитывался в Университетском Благородном пансионе (ныне 4-я гимназия); там получил он звание студента и слушал потом лекции университета.

Здесь надобно сказать, однако, что в то время воспитанники пансиона получали звание студента не по экзамену в университете, а объявлялись студентами на пансионском акте, который был всегда в конце декабря, и после этого допускались к слушанию лекций. Это продолжалось до декабрьского акта 1811 года. Так был объявлен студентом и Н. В. Сущков, наш *Шекспир*. Так получил звание студента и Жуковский; но с той разницею, что Жуковский, как я сказал, посещал потом университетские лекции и приобрел те высшие знания, которые приобретаются только в университетах и которые недоступны пансионерам. С 1812 года, когда и я был сделан студентом, нас в июне месяце потребовали уже на экзамен и экзаменовали в университете. — Помню, что довольно было страшно! Наставник наш в латинском языке Ф. С. Стопановский

приготовил было нас к изъяснению Горациевой оды: *Pindarum quisquis studet aemulare*, но ректор, добрейший, впрочем, человек, И. И. Гейм, вскочил в ярости, подозревая подготовку к экзамену, вырвал у него книгу и раскрыл на другом месте. Однако, слава богу, сошло с рук благополучно.

Тогда (и во время Жуковского, и в мое) в Университетском Благородном пансионе обращалось преимущественное внимание на образование литературное. Науки шли своим чередом; но начальник пансиона, незабвенный Антон Антонович Прокопович-Антонский находил, кажется, что образование общее полезнее для воспитанников, чем специальные знания: по той причине, что первое многостороннее и удовлетворяет большему числу потребностей, встречающихся в жизни и в службе. По тогдашним требованиям этот взгляд был совершенно современный. Вспомним еще, что домашнее воспитание вверялось тогда иностранцам; что французский язык (наделавший нам много вреда, потому что вносил нам и французские идеи) был тогда первым условием воспитания; вспомним это, и мы непременно должны будем согласиться, что предпочтительное познание языка отечественного и его литературы было тогда вполне разумно и вполне полезно.

Вместе с образованием литературным в пансионе обращалось особенное внимание на нравственность воспитанников. Жуковский был отличен и по занятиям литературным, отличен и по нравственности: не мудрено, что, соединяя эти два качества, он был во всем отличным.

К исполнению этой цели, соединения литературного образования с чистою нравственностью, служило, между прочим, пансионское общество словесности, составленное из лучших и образованнейших воспитанников. Оно составилось при Жуковском. Жуковский был один из первых его членов и подписался под уставом, под которым подписывались и после него все члены, по мере их вступления. Это общество собиралось один раз в неделю, по средам. Там читались сочинения и переводы юношей и разбирались критически, со всею строгостию и вежливостию. Там очередной оратор читал речь, по большей части о предметах нравственности. Там в каждом заседании один из членов предлагал на разрешение других вопрос из нравственной философии, или из литературы, который об-

суживался членами в скромных, но иногда жарких препиях. Там читали вслух произведения известных уже русских поэтов и разбирали их по правилам здоровой критики: это предоставлено было уже не членам, а сотрудникам, отчасти как испытание их взгляда на литературу. Наконец, законами общества постановлено было, между прочим, *дружество* между членами и ненарушимая *скромность*, к которой приучались молодые люди хранением тайны; тайна же эта состояла в том, чтобы не рассказывать другим воспитанникам о том, что происходило в обществе и не разглашать мнений членов о читанных там произведениях воспитанников. Где этот драгоценный устав? Где та доска, на которой писались имена первых воспитанников, которая висела в зале и передавала имена их позднейшим поколениям воспитанников? Жуковский, в последнее время посетив пансион, спросил об ней. Ее уже не было! Грустно было его чувство.

Антонский *всегда* присутствовал в заседаниях общества в качестве почетного члена. Другие почетные члены были лица известные: попечитель Университета, И. И. Дмитриев, Карамзин и другие; случалось, что и они заезжали в среду к Антонскому и неожиданно для воспитанников приходили в собрание их общества и сидели до конца. Сердце радовалось: и у них, видя возражающих литераторов, и у воспитанников пансиона, видя внимание к себе таких людей! — Так в то время приготавлились молодые люди в литераторы.

Первые опыты Жуковского в поэзии принадлежат ко времени его воспитания. Они были помещаемы в журналах *Приятное и полезное препровождение времени* (1797 и 1798) и *Ипокрене* (1798). За это замечание я обязан одному юному критику моих *Мелочей*. Потом они были помещаемы в *Утренней заре*, составлявшейся из трудов воспитанников пансиона. И. И. Дмитриев, знавший его и прежде, особенно обратил на него внимание по выслушании на пансионском акте его пьесы *К поэзии*. Он после акта пригласил его к себе и с этого времени больше узнал и полюбил его. Угадывая его сильный талант, с тех пор он никогда не пропускал недостатков молодого поэта без строгих замечаний. Щадя способности слабые и немощные, он почитал делом поэтической совести не скрывать недостатков и уклонений от вкуса тех молодых поэтов, которые

имели достаточно сил для овладения своим искусством. Таким образом, и в этой пьесе *К поэзии* в стихах

*Поет свой лес, свой мирный луг,
Возы, скрипящи под снопами —*

он заметил Жуковскому, что пение предполагает сладкозвучие, что оно мелодия, что оно не выражает *скрипа*, хотя и есть инструмент, называемый скрипка. Молодой Жуковский жадно выслушивал замечания Карамзина и Дмитриева и много воспользовался их строгими замечаниями.

Грееву элегию *Сельское кладбище* перевел Жуковский тоже еще в пансионе первый раз в 1801 году, по замечанию гр. Д. Н. Б-ва *не четырехстопными ямбами*, как я напечатал прежде, а шестистопными и принес свой перевод к Карамзину для напечатания в начинающемся в 1802 году *Вестнике Европы*; но Карамзин нашел, что перевод нехорош. Тогда Жуковский решился перевести ее в другой раз. Этот перевод Карамзин принял уже с восхищением; он был напечатан в *Утренней заре* и в *Вестнике Европы*, в последней декабрьской книжке 1802 года. Он был посвящен автором другу своей юности Андрею Ивановичу Тургеневу. Таким образом, известный нам перевод был второй; а последний, гексаметром, выпедший уже в старости поэта, должно считать *третьим*. Такова была настойчивость молодого поэта в стремлении к совершенству, и таких-то трудов стоил ему тот превосходный стих, та мастерская фактура стиха, которыми мы восхищаемся ныне.

Об этом-то Андрее Ивановиче Тургеневе вспоминает Жуковский в послании к брату его Александру Ивановичу, а вместе и об отце их Иване Петровиче.

Где время то, когда наш милый брат
Был с нами, был всех радостей душою?
Не он ли нас приятной остротою
И нежностью сердечной привлекал!
Не он ли нас тесней соединял?
Сколь был он прост, не скрытен в разговоре!
Как для друзей всю душу обнажал!
Как взор его во глубь сердец вникал!
Высокий дух пылал в сем-быстром взоре.
Бывало, он, с отцом рука с рукой,
Входил в наш круг — и радость с ним являлась,
Старик при нем был юноша живой;
Его седин свобода не чуждалась...

О нет, он был милейший наш собрат;
Он отдыхал от жизни между нами;
От сердца дар его был каждый взгляд,
И он друзей не рознил с сыновьями.

Один исчез из области земной
В объятиях веселых надежды.
Увы! Он зрел лишь юный жизни цвет;
С усилием его смыкались вежды.

Другой... старик... сколь был он изумлен!
Тогда, как смерть, ошибкою ужасной,
Не над его одряхшей головой,
Над юностью обрушилась прекрасной!

Андрей Иванович Тургенев был и сам поэт. В *Собрании русских стихотворений*, изданных Жуковским 1811 года (часть 4-я), помещена прекрасная его *элегия*, начинающаяся так:

Угрюмой осени мертвящая рука
Уныние и хлад повсюду разливает;
Холодный, бурный ветер поля опустошает,
И грозно пенится ревущая река!

По окончании курса учения и по выходе из пансиона Жуковский несколько времени все еще жил у Антонского. Пансион был на Тверской (ныне дом Шаблыкина). Главные ворота были тогда в Газетный переулок, а не на Тверскую; эта сторона двора не была еще застроена нынешним фасом. Тут была по переулку кирпичная ограда; у самых ворот был маленький флигель, покрашенный белою краскою, в котором, отдельно от воспитанников, жил Антонский. Тут, в маленькой комнате, жил у него Жуковский по окончании курса, пансионского ли только, или и университетского, этого не помню.

Здесь, как я слышал в пансионе, написал он *Людмилу*. Между воспитанниками, восхищавшимися ее ужасными картинами, существовало даже предание, что будто Жуковский писал эту балладу по почам, для большего настроения себя к этим ужасам. Может быть, это предание было и неверно; но оно свидетельствует о том, как сильно действовала *Людмила* на воображение читателей, особенно молодых сверстников автора и их преемников.

Жуковский, это известно, был небогат; в это время он должен был трудиться и из денег. Здесь перевел он (1801)

повесть Коцебу *Мальчик у ручья*; (1802) поэму Флориана Вильгельм-Тель с присовокуплением его же Сицилийской повести *Розальба*. Потом, по заказу Платона Петровича Бекетова, который имел свою типографию, перевел он с Флорианова же перевода — Сервантесова *Дон-Кихота*, который был напечатан (1804—1806) с картинками и с портретами Сервантеса и Флориана, на хорошей бумаге, как все издания Бекетова, в шести маленьких томах. Перевод отличается необыкновенно хорошим слогом, мастерством в передаче пословиц Санхо-Пансы и хорошими стихами в переводе романсов. Жаль, что он не напечатан в полном собрании переводов в прозе Жуковского. Переводы Жуковского — это памятник русского языка. Кто не изучал прозы Карамзина и Жуковского, последнего особенно в переводах, тот не скоро научится русскому стилю. Я не говорю, чтоб писать именно их слогом, хотя и ему некогда еще было устареть: я знаю, время изменяет и язык и слог; но *основания* их слога, чистота грамматическая, логическая последовательность речи, выбор слов и точность выражений, наконец, их благозвучие: это основания вечные, которые должны оставаться и при вековом изменении русского языка и слога русских писателей. Иван Иванович Давыдов, в своем *опыте о порядке слов*, в примере правильного расположения речи приводит всегда Карамзина; и, конечно, ученый академик делает это не по пристрастию!

В одном журнале (Б. д. Ч. 1852, в июньской книжке) была напечатана статья о Жуковском. Там сказано, что Жуковский «попал в школу Карамзина и сделался его сотрудником по изданию *Вестника Европы*».

Никогда этого не бывало; никогда Жуковский не был сотрудником Карамзина, и никого не было у Карамзина сотрудников. Как можно сообщать такие известия наугад и без справок? А с тех пор, как принялись наши журналы (т. е. со времени Смирдинских изданий русских авторов) делать *открытия* в русской литературе за минувшие десятилетия нынешнего века; с тех пор так много вошло в историю нашей литературы известий, утверждающихся на догадках и слухах! Карамзин трудился над изданием *Вестника* один. Он печатал стихи и статьи, присылаемые посторонними; но не только не было у него, по-нынешнему, сотрудников, но даже и постоянных участников. Подобные известия показывают только, что пишущие ныне в журна-

лы мало даже знают то прежнее время. Кого нашел бы Карамзин в сотрудники, если бы и искал? Кто тогда, в 1802 и 1803-годах, мог бы писать по-карамзински? — Это была бы такая пестрота в его журнале, которая тогда бросилась бы в глаза: это было такое время, когда русский журнал не был еще фабрикой. Сам Жуковский был тогда еще девятнадцатилетний юноша. В двух годах *Вестника* он только и напечатал Грееву *Элегию* (1802), да начало повести *Вадим Новгородский* (1803), которая не была копчена.

Жуковский начал несколько участвовать в *Вестнике Европы* с 1807 года; в нем напечатал он 17 басен, в которых много достоинства: они отличаются верностью разговорного языка, поговорочною формою некоторых выражений и непритворною веселостию. Очень жаль, что Жуковский не поместил их ни в одном из полных изданий своих сочинений; может быть, потому, что этот род поэзии казался ему совершенно различным с общим характером его стихотворений. (Ныне напечатаны они в последних трех томах сочинений Жуковского.) Постоянное же участие его в *Вестнике* началось с 1808 года. В этом году он помещал в нем много переводов, которые после были изданы отдельно. В 1809 году он сделался уже сам издателем *Вестника*; а в 1810 году издавал его вместе с Каченовским. Все эти годы *Вестника* были превосходны: отличались интересными статьями, изяществом слога.

В том же журнале сказано: «Есть люди, которым с самого рождения улыбалось счастье и которые до самой могилы не знают ни горя, ни печали. Таких счастливейшего не много на свете, и к ним-то принадлежит, между прочим, и Жуковский, который до последней минуты сохранил ровность характера и вовсе не знал разочарования в своей довольно долгой жизни».

Жуковский, напротив, много терпел и мало знал дней светлых. Он терпел и от недостаточного состояния, терпел и горе любящего сердца. Последнее выражено им во многих местах его стихотворений; между прочим, в следующих стихах, относящихся прямо к истории его жизни, к обстоятельству, известному всем, знавшим его в молодых его летах:

С каким бы торжеством я встретил мой копец,
Когда б всех благ земных, всей жизни припошлем

*Я мог — о сладкий сон! Той счастье искупить,
С кем жребий не судил мне жизнь мою делить!*

Едва ли не под конец своей жизни Жуковский успокоился в первый раз, узнавши семейное счастье, которое очень поздно озарило его любящую душу.

Там же сказано: «Еще в 1802 году Жуковский предвидел свою будущность и очень удачно предсказал то, что мог (бы) сказать в последней строке, написанной пред самою смертью:

Мой век был тихий день; а смерть успокоенье!

Нет! Разве последнее только справедливо; ибо всем нам известна мирная, христианская кончина Жуковского. Но век его, т. е. большая часть его жизни, не был тихим днем; вернее сказать, что он изобразил жизнь свою в стихах к *Филалету*:

*Скажу ль?.. Мне ужасов могила не являет;
И сердце с горестным желаньем ожидает,
Чтоб промысла рука обратно то взяла,
Чем я безрадостно в сем мире бременился,
Ту жизнь, которой я столь мало насладился,
Которую давно надежда не златит.
К младенчеству ль душа прискорбная летит,
Считаю ль радости мнувшего — как мало!
Нет! Счастье к бытию меня не приучало;
Мой юношеский цвет без запаха отцвел!*

Все мы помним тот период нашего стихотворства, когда все наши молодые поэты, будто бы по следам Жуковского, бросились в разочарование. В этом ложном разочаровании он, конечно, не был виноват; его взгляд на жизнь был для него истинным, хотя, конечно, жалобы на неудовлетворимость ее нередко встречаются во всех произведениях первой половины его жизни. От чего же? От того именно, что он мало знал радостей!

Как можно заключать à priori о жизни автора и о состоянии души его? Надобно знать подробности первой; а заключать о характере и чувствах по стихам автора можно только, или взявши в совокупности все, им написанное, или зная достоверно общие черты его жизни.

Кто-то заметил мне в каком-то журнале, что не стоило труда опровергать замечания *Библиотеки для Ч.* — Что стоило труда писать, то стоит труда и опровергать. У меня были замечены малейшие неисправности. Почему же не за-

метить и у другого ложного сведения о литераторе или ложного умозаключения о его жизни?

Очень похвально, что мы обратились нынче к исследованиям жизни и характера наших знаменитых поэтов. Но я боюсь, чтоб этими исследованиями, или à priori, или по немногим признакам и приметам, мы не ввели в заблуждение наших потомков. По большей части эти исследования, встречающиеся в журналах, бывают похожи на разбор иероглифов, или стрелчатого письма, которым исследователь начинает учиться из самого разбора. Повторяю сказанное и прежде мною: все это от того, что пресеклась наследственная нить преданий; что между Жуковским, Пушкиным и нынешним временем был промежуток, в который литература наша отторглась от памяти прежнего. Пушкин был последний из наших поэтов, примыкавший к родословному дереву наших литераторов и к непрерывной летописи преданий нашей литературы. Прежде долго созревали, долго наслушивались, пока не начинали сами говорить и писать; а нынче начинают с того, что других учат. Это началось с Полевого, который писал и о том, что знает, и о том, чего не знает, следуя пословице: смелость города берет!

Напрасно «Современник», журнал, прекрасный по составу своему и достойный уважения, упрекает меня в том, что будто я обнаруживаю нелюбовь мою к новой нашей литературе. Нет! всякий просвещенный человек знает, что литература изменяется вместе с ходом времени; что она не только не может стоять на одном месте, но и не должна. Я, с моей стороны, не только признаю в нынешней литературе все, что встречу хорошего; но, может быть, никто, моих лет, не восхищается с таким жаром всем хорошим. Немногие, может быть, читали с таким увлечением и радовались так, как я, читая *Записки Охотника* и романы *Обыкновенная история* и *Львы в провинции*. Знаю, что ни в Карамзинское время, ни в первые десятилетия нынешнего столетия не было и не могло быть таких произведений; но знаю и то, что в то время не было тех уклонов от изящного вкуса и от истины суждений, какие встречаются ныне.

Я узнал Жуковского или в конце 1813 года, или в начале 1814-го, наверное не помню. Я приехал тогда в Мо-

скву из Петербурга и жил вместе с моим дядею; а Жуковский приезжал туда на некоторое время после своей службы в ополчении и при главнокомандующем армиею. Постоянное же его место жительства было тогда и до 1815 года у родных его, в Белеве. Это видно и из послания к нему Батюшкова, писанного около этого времени:

Прости, баллажник мой,
Белева мирный житель!
Да будет Феб с тобой,
Наш давний покровитель!

В то время, когда я в первый раз видел Жуковского у моего дяди (т. е. 1813 или 1814 года), у него были уже приготовлены к печати два тома его сочинений (изданные в 4 долю, с виньетами в 1815 и 1816 годах). Он давал моему дяде свою рукопись на рассмотрение, она была и у меня; я читал ее и помню, что в ней была уже баллада *Старушка* из Саути, которой, однако, нет ни в одном из первых изданий. Она была напечатана уже гораздо позже. Елена Петровна Балашова, жена министра, рассказывала мне, что Жуковский читал эту балладу у них в доме, что она не понравилась многим дамам, слушавшим это чтение, и что они отсоветовали Жуковскому ее печать.

В 1815 году Жуковский жил в Дерпте. В это время жил там Александр Федорович Воейков, бывший там профессором русской словесности.

Об этом свидетельствуют его послание *Старцу Эверсу* (Густаву, дяде известного исследователя предметов русской истории) и примечание автора, в котором сказано: «Писано после праздника, данного студентами Дерптского университета». Из самого послания видно, что он был на этом празднике лично:

Там Эверс мне на братство руку дал:
Могу ль забыть священное мгновенье,
Когда, мой брат, к руке твоей святой
Я прикоснуть дерзнул уста с лобзаньем,
Когда стоял ты, старец, предо мной
С отеческим мне счастья желаньем.

Об этом же свидетельствует то, что в числе подписчиков на журнал В. В. Измайлова *Российский Музеум*, издававшийся в 1815 году, при имени Жуковского поставлено, что он подписался в *Дерпте*.

Написавши *Певца в стане русских воинов*, Жуковский прислал его в Петербург к Александру Ивановичу Тургеневу, который его тогда же и напечатал. В том же 1813 году *Певец* был напечатан и вторично. Вот история второго издания.

Императрица Мария Федоровна, восхищавшаяся *Певцом*, поручила Ивану Ивановичу Дмитриеву напечатать его вторым великолепным изданием на собственный ее счет и отослать от ее имени Жуковскому бриллиантовый перстень. Жуковский прислал к нему рукописного *Певца*, умноженного именами военных людей, которых в первом издании не было. Алексей Николаевич Оленин нарисовал три прекраснейшие виньетки, которые были отлично выгравированы; и в таком виде явилось в том же году 2-е издание. Оно у меня есть. По поручению Ивана Ивановича Дмитриева им занимался Дмитрий Васильевич Дашков, бывший впоследствии тоже министром юстиции. Два министра юстиции, настоящий и будущий, занимались изданием стихов молодого стихотворца. Дашков писал и примечания к *Певцу*, которые и доныне печатаются с буквами Д. Д. ...

Послание Жуковского к Батюшкову, начинающееся так:

Сын неги и веселья,
По Музе мне родной!
Приятность новоселья
Лечу вкусить с тобой!

было написано в ответ на послание Батюшкова, известное под названием *Мой Пенаты*.

Все послания Жуковского к Пушкину писаны не к Александру Сергеевичу, как некоторые нынче думают: автор *Руслана и Людмилы* был тогда еще в лице. Они писаны к дяде его, автору сатиры *Опасный сосед*, певцу Буянова, Василию Львовичу Пушкину.

Послание к к. Вяземскому и Пушкину (тоже Василию Львовичу), которое начинается так:

Друзья! Тот стихотворец-горе,
В ком без похвал восторга нет!

начиналось в рукописи так:

Ты, Вяземский, прямой поэт!
Ты, Пушкин, стихотворец-горе!

В то время, когда писана большая часть посланий Жуковского, мы находим множество посланий наших поэтов друг к другу. Жуковский, Батюшков, Воейков, к. Вяземский, В. Пушкин, Д. В. Давыдов, все менялись посланиями. Все они были в неразрывном союзе друг с другом; все ставили высоко поэзию, уважали один другого. Не было между ними ни зависти, ни партий. Молодые, только что начинавшие стихотворцы, понимая различие их талантов, смотрели, однако, на них, как на круг избранных. Как было не процветать в то время поэзии!..

Когда в последний раз Жуковский был в Москве в 1841 году, все московские поэты восторжеслись от радости, как будто с возвращением его в Москву возвратилось прежнее время светлого вдохновения. Его приезд был для всех занимающихся литературою истинным праздником. Некоторые из них вздумали почтить возвращение в Москву старейшего любимого поэта стихами. Все эти стихи вылились прямо из сердца и были выражением полного чувства любви и уважения и к поэту, и к человеку. Все эти стихи были собраны в один альбом, который я сам привез к Жуковскому. Надобно было видеть его чувство при взгляде на содержание этого альбома! На другой же день он поехал с благодарностию к Авдотье Павловне Глинке: она первая была свидетельницею, как подействовал на него этот скромный памятник любви и уважения. Этот альбом и после его кончины сохранялся у супруги Жуковского.

Немногие из наших поэтов действовали столь долго и постоянно на поприще литературы, как Жуковский. Его поэтические труды захватывают полстолетия, всю первую половину нынешнего века (с Греевой *элегии* 1802 и по его кончину 1852). Жуковский, как все великие поэты, не покорялся ни примерам предшественников, ни требованиям современников: он проложил путь собственный и вел читателей за собою.

И потому, мне кажется, неверно сказано в той же статье журнала, упомянутой мною выше: «И тот народ, который в начале столетия восхищался *элегиею* Грея, *Сельское кладбище*, в двадцать пятых годах этого столетия — (какие это *двадцать пятые годы*? В целом столетии всего один год двадцать пятый) — тот же народ захотел

уже познакомиться с *характером персидской поэзии*; а в половине столетия *вдруг* бросил эти мелкие игрушки, чтобы его достойно ознакомили с «Илиадою» и «Одиссеею».

Всё это фантазия критика! Ничего этого наш нечитающий народ не хотел и не хочет; у нас есть читатели, но эти читатели — не народ! Да и те нетребовательны, а хорошо, если бы они и то читали, что, не спрашиваясь их, напишут лучшие из наших писателей. Чтение большинства составляют у нас журналы и переводы романов; а в доказательство спросите в книжных лавках: много ли продано «Одиссеи» и «Илиады»? — Вам будут отвечать: «Не продается!» Зачем фантазировать, говоря о поэте, о литературе, о народе? Эти предметы требуют правдивой заметки истории, а не фантазии критика...

Я знал лично *Батюшкова*. Сколько грустных воспоминаний, когда обратишься к молодости! Сколько имен драгоценных, сколько талантов, сколько различных исходов судьбы, сколько потерь невознагражденных или вознагражденных доселе? Батюшков, когда я в первый раз писал эти *Мелочи*, был еще жив; но можно ли было назвать жизнью то состояние рассудка, в котором находился этот человек, бывший ума необыкновенного! Имя его уже повторялось редко. А в какой был он славе! Довольно сказать, что между литераторами он разделял эту славу с Жуковским, хотя в читающей публике и не имел столь всеобщей известности.

Все эти люди, о которых пишу теперь, кроме своих дарований отличались изяществом, носили на себе печать благородства и в мыслях, и в поступках, и в обращении; это были люди избранные: такими почитали их и литераторы, и общество, отдавая им полную справедливость. Ни один журнал не смел бы осмеять их и представить в карикатуре их сочинения, хотя можно все осмеять, можно из всего сделать карикатуру. Пушкин, который стоял всегда наравне с ними, а по мнению некоторых, был и выше, не избегнул, однако, придинок, превратных толкований и даже насмешек. Время было уже другое; уважение к высшим дарованиям в его время стало уже слабее; талант не защищал уже человека и оскорблял завистливую посредственность. Но Жуковский и Батюшков созревали и цвели под солнцем. Против Жуковского была

только одна выходка добродушного Мерзлякова, о которой я упомянул прежде. Да была еще в *Вестнике Европы* статья анонима, написанная Полевым, на которую он после сам же ссылаясь в своем *Телеграфе*, как на доказательство, что *Вестник Европы* всегда восставал против талантов!

Опишу наружность Батюшкова. Он росту ниже среднего, почти малого. Когда я знал его, волосы были у него светло-русые, почти белокурые. Он был необыкновенно скромн, молчалив и расчетлив в речах; в нем было что-то робкое, хотя известно, что он не был таков в огне сражения. Говоря немного, он всегда говорил умно и точно. По его скромной наружности никак нельзя было подозревать в нем сладострастного поэта: он был олицетворенная скромность. По рассказам о Богдановиче он напоминал мне его своим осторожным обращением, осторожным разговором и наблюдением приличий. Странно, что и Богданович в своей *Душеньке* тоже не отличался тою скромностью, которую показывал в своей наружности. Впрочем, все, знавшие Батюшкова короче, нежели я, утверждают, что эти сладострастные и роскошные картины, которые мы видим в его сочинениях, были только в воображении поэта, а не в жизни.

Батюшков был ума тонкого и образованного как основательным учением, так и обширным чтением. Он, как известно, воспитывался под руководством родственника своего, Михаила Никитича Муравьева: достаточная порука за просвещение! Зная языки латинский, итальянский, французский и немецкий, он воспользовался литературою всех этих языков, особенно же итальянскою, которую любил преимущественно и которая отразилась и в направлении, и в сладкозвучном языке собственных его сочинений.

Из всех итальянских поэтов он предпочитал Ариоста и Тасса: последнего любил преимущественно как поэта и как человека. Может быть, поэтому любимым его стихотворением, из собственных его произведений, была элегия на *смерть Тасса*, отличающаяся сладостию языка и тем унынием, которое редко встречается в других его стихотворениях. Странно, что это предпочтение как будто указывает на сходство судьбы двух поэтов и как будто

было ее предчувствием! Тасс, ослабший в умственных способностях и умирающий в монастыре Св. Онуфрия; и Батюшков, в таком же состоянии оканчивающий дни свои в отдалении от света, в Вологде, в забвении от людей: какое сближение!

С. П. Шевырев видел там Батюшкова; г. Берг срисовал сзади его фигуру, потому что не мог рисовать его спереди: он догадался бы и ушел. Это изображение помещено в книге, г. Шевырева: «Поездка в Белозерский монастырь». — Напоминаю об этом для того, что все-таки лучше напомнить, хотя я уверен, что эта книга всем известна.

Портрет Батюшкова, приложенный к одному тому «Образцовых стихотворений», изданных в Петербурге, не совсем похож: лицо слишком полно, фигура мешковата, и вообще этот портрет не выражает живости физиономии Батюшкова и его subtilной наружности.

Отчего произошло его помешательство? Многие приписывали это неудовлетворенному честолюбию; другие эпикуреизму, расстроившему органы. — Ни то, ни другое; — а последнее решительно несправедливо. Всех вернее, кажется, угадывал это мой дядя, Иван Иванович Дмитриев. Батюшков, как я сказал уже, был воспитан в доме Михаила Никитича Муравьева. С его сыновьями был он в связи дружественной. Очень вероятно, что они открывали ему свое известное предприятие. Батюшков, с одной стороны, не хотел изменить своему долгу; с другой, боялся обнаружить сыновей своего благодетеля. Эта борьба мучила его совесть, гнала его чистую поэтическую душу. С намерением убежать от этой тайны и от самого места, где готовилось преступное предприятие, убежать от самого себя, с этим намерением отпросился он и в Италию, к тамошней миссии, и везде носил с собою грызущего его червя. К этому могло присоединиться и то, что он был недоволен своею службою и посланником. По этой причине он должен был возвратиться в Россию; а там-то и грызла его роковая тайна.

Хотя это только догадка; но если она справедлива, то, может быть, поэтому-то он, в сумасшествии, и возненавидел всех прежних друзей своих, с виновными вместе и невинных. Известно, что он не мог слышать о них равно-

душно и прервал знакомство даже с Жуковским, которого девственная чистота души известна. Все смешались в его памяти, и все сделались ему равно чуждыми.

Несмотря на свою скромность и осторожность, Батюшков доказал свое остроумие и насмешливую сторону своего ума шутливым стихотворением *«Видение на берегах Леты»*, которое в наше время было напечатано, хотя с некоторыми пропусками, в *«Русской Беседе»*, изданной в пользу Смирдина в Петербурге, 1841 года.— Вероятно, издателю попалась неверно переписанная рукопись. Вот дополнение:

...По слову: стой!
Кивнула бледна тень главой
И вышла с кашлем из повозки,
«Кто ты? — спросил ее Минос,—
И кто сии?» — на сей вопрос:
«Мы все с Невы, поэты росски!» —
Сказала тень.— «Но кто сии
Несчастны, в клячей превращенны?» —
«Сочлены юные мои!
Любвью к славе вдохновенны,
Они Пожарского поют
И тянут старца Гермогена!
Их мысль на небеси вперенна,
Слова ж из старых книг берут!
Стихи их, хоть немного жестки,
Но истинно варяго-росски!» —
«Да кто ж ты сам?» — «Я также член!
Кургановым писать учен:
Известен стал не пустяками:
Терпеньем, потом и трудами;
Аз есмь зело Словенофил!» —
Сказал и книгу растворил.
При слове сем в блаженной сени
Поэтов приподнялись тени...

После стихов!

Тот книжку потопил в струях,
Тот целу книжицу с собою

педостает в печатном следующего продолжения:

Один, один Словенофил,
И то, повыбившись из сил,
За всю трудов своих громаду,
За твердый ум и за дела,
Вкусил бессмертия награду:
Поставлен с Тредьяковским к ряду.

Другая пародия Батюшкова была на «*Певца*» Жуковского под названием «Певец, или Певцы в Беседе Словенороссов, балладо-эпико-лиро-комическо-эпизодической гимн». — Здесь метил он на Державинскую беседу любителей Российского слова: а в заглавии на «Гимн лиро-эпической» Державина.

Здесь, между прочим, вместо Платова, представленного так мастерски в *Певце* Жуковского, он изобразил одного из старых поэтов, о котором я упоминал уже неоднократно. Чтобы видеть все смешное этой пародии, надобно напомнить куплет Жуковского. — Вот он:

Хвала, наш вихорь-атаман,
Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан
Гроза для сопостатов!
Орлом шумишь по облакам,
По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищешь;
Они лишь к лесу, ожил лес,
Деревья сыплют стрелы;
Они лишь к мосту — мост исчез;
Лишь к селам — пышут селы!

А вот, для сравнения, пародия Батюшкова:

Хвала, читателей тиран,
Хвостов неистощимый!
Стихи твои, как барабан,
Для слуха нестерпимы!
Везде с стихами — тут и там!
Везде ты волком рыщешь!
Пускаешь притчу в тыл врагам,
Стихами в уши свищешь!
Лишь за поэму — прочь идут;
За оду — засыпают;
Лишь за посланье — все бегут
И уши затыкают!

Это было какое-то особенно веселое и живое время для поэтов, и время пародий. Воейков тоже написал забавные и острые стихи под названием «*Сумасшедший дом*», которые были в свое время очень известны. Здесь не пощадил он и друзей своих Жуковского и Батюшкова; поместил в конце и себя, чтобы избежать упрёка.

Батюшков особенно любил и уважал Ломоносова. Об этом свидетельствует статья, помещённая в его сочине-

ниях под заглавием «О характере Ломоносова». — Я знаю, что ему очень хотелось написать жизнь Ломоносова; ибо он был недоволен сухим жизнеописанием этого великого человека, которое написал профессор Поповский и которое напечатано Академиею в полном издании его сочинений. Недостаток ли материалов или переезды Батюшкова, не знаю, что помешало исполнению этого намерения.

Знаю еще, что Батюшков перевел некоторые песни из Тассова «Освобожденного Иерусалима». — Где они? У меня есть одна песнь в рукописи, найденная мною в бумагах моего дяди; но не знаю: его ли это перевод, или кого другого. Слог не так плавлен и сладостен, как у Батюшкова...

Надпись «К цветам нашего Горация» написана Батюшковым к Ивану Ивановичу Дмитриеву, при посылке ему цветочных семян.

В 1818 году Батюшков был в Москве, в одно время с Жуковским. Оба были членами Московского общества любителей российской словесности. В последний раз я видел его перед отъездом его в Италию. Помню, что в это свидание, по прочтении моего перевода 7 сатиры Буало, он советовал мне писать сатиры.

Перед кончиною он пришел в себя и, говорят, спросил: возвратился ли государь из Вероны? Стало быть, с 1822 года (год Веронского конгресса) по июль 1855 года — все эти 33 года Батюшков совсем не принадлежал нашему миру и не жил с нами. Немаловажная задача психологии! — Он скончался в Вологде 7 июля 1855.

Александр Федорович Воейков, начавший писать в одно время с Жуковским и Батюшковым, некоторое время разделял с ними и славу. Я помню, когда приводили имена лучших литераторов того времени, их троих не разделяли; говорили: Жуковский, Батюшков и Воейков; как после стали говорить: Жуковский, Батюшков и Пушкин; как еще позже: Пушкин, Баратынский и Дельвиг.

Воейков сделался более известен своею сатирою «О благородстве», которая действительно прекрасна. Хотя она написана в подражание Буало, но он наполнил ее чертами, близкими к нашему русскому характеру. Она

была напечатана в первый раз в *Вестнике Европы* 1806 года. Она начинается так:

Эмилий! Друг людей, полезный гражда́йн,
Великий человек, хотя не дворянин!
Ты, славно победив людей несправедливость,
Собою посрамил и барство и кичливость;
Ты свой возвысил род: твой герб, твои чины
И слава — собственно тобой сотворены.

В «*Вестнике*» вместо имени «*Эмилий*» была напечатана буква «С...» — Объяснение этого то, что сатира была адресована им к *Сперанскому*. Его разумел он под именем Эмплия.

Другую сатиру написал он в виде послания под названием «*К моему старосте*». — Мысль к этой сатире подало тоже послание Буало: *A mon jardinier*. Но она отличается тоже чертами совершенно оригинальными. Эти две сатиры, особенно первая, смело могут идти наряду с немногими хорошими сатирами нашей литературы, хотя в последней и заметна некоторая небрежность слога. Жаль, что не напечатают вполне его стихотворений.

Сатирическое направление было, кажется, господствующим в таланте Воейкова. Я помню одно его послание «*К жене и друзьям*», которое было написано вольными стихами и в котором было описано его путешествие по России. В нем было много мест истинно сатирических, которые выставлялись тем более, что в некоторых местах они сменялись тоном элегии. Оно напечатано в 4 книжке *Сына Отечества* 1821 года, но не вполне, а с пропусками. Так пропущена насмешка над тогдашними словенофилами, которые видели во всем славянство:

Град *Вена* за княжной российской отдан в *вено*,
На *Сене* кашивал в петровки Рюрик *сено*,
В *Падуе* пироги *подовые* пекли!

Вообще он предпочитал дидактический род поэзии, в разных его видах. Одно из лучших его посланий «*К А. А. В.*». — В нем есть и теплое чувство, и стихи прекрасные. Например:

Ты — совесть, ангел мой и благотворный гений!
Благодарю тебя, что ты меня спасла
От низких склонностей, привычек, заблуждений
И в пристань тихую корабль мой привела;

Ты радость и печаль со мною разделяла;
Ты счастье дней моих цветами осыпала;
И в наш железный век, когда порок, разврат,
Из света делают не свет, но мрачный ад,
С тобою проводил я время золотое:
С тобой я не один, с тобой нас и не двое!

Главным трудом его в литературе был перевод Делилевой поэмы «*Сады*». — Она была издана (1816) в одно время с первым изданием стихотворений Жуковского, в тот же формат in 4^o и такой же печати, с четырьмя прекрасно гравированными видами. Тогда еще не было литографии, которая перепортила новейшие издания и унизила гравировальное искусство. Воейков переводил гексаметром Виргилиевы *Георгики*; но не кончил своего перевода. Из него известны некоторые отрывки, напечатанные в журналах. Впрочем, гексаметр Воейкова не мог сравняться не только с тем же стихом Жуковского, но даже Гнедича и Мерзлякова.

Здесь нелишне сказать о его гексаметре. Не принимая в соображение свойств русского языка, которого просодия основана единственно на ударениях, Воейков желал отыскать в ней длинные и короткие звуки, которых нет, и потому печатал иногда свои гексаметры, ставя на слогах *знак* слога долгого, посредством чего он находил и небывалый у нас *спондей*. Само собою разумеется, что такая неестественная натяжка, противная натуре языка, не могла ему удасться и произвести последователей.

Надобно сказать, что участь гексаметра у нас не очень счастлива. Первый начавший писать им Тредьяковский представил такие примеры, от которых этот размер всем опротивел, и долго никто не смел писать им. Один из первоклассных наших поэтов говорил, что все то гексаметр, в чем нет никакой меры. Воейков выковыл для него спондеи. Наконец, издатель *Раута* видит в нем только одно свойство, что он *длиннен*. Но после образцов Гнедича и Жуковского непростительно уже русскому литератору не признавать гексаметра укоренившимся в нашей метрике.

Впоследствии начал писать Воейков дидактическую поэму «*Искусства и Науки*», из которой несколько отрывков было напечатано в *Вестнике Европы* и в других по-

временных изданиях. Кажется, автор увидел наконец и сам, что предмет, столь обширный и неопределенный, не может составить дидактической поэмы, требующей точных пределов, полноты и целостности. Некоторые отрывки были очень замечательны; но поэма осталась неконченной.

Прочие труды его в литературе были следующие. Он перевел «Век Людовика XIV и Людовика XV» Вольтера. Издал «Образцовые сочинения в прозе», 5 частей (как продолжение издания Жуковского «Собрание русских стихотворений» 1811 года). Потом вместе с Жуковским и А. И. Тургеневым издал «Собрание образцовых сочинений в стихах и прозе», 12 частей 1815—1817. Потом один «Новое собрание образцовых сочинений и переводов, вышедших с 1816 по 1821», 4 части; и еще «Собрание новых русских сочинений и переводов, с 1821 по 1825», 4 ч.— С 1821 по март 1822 он издавал «Сын Отечества»; с 1821 по 1822 «Русский инвалид» и с 1822 по 1826 «Новости литературы», выходившие при *Инвалиде*.— Не худо бы было издать стихотворения Воейкова, в которых несравненно более ума, таланта и поэтического содержания, чем, например, в сочинениях Милонова, которые были недавно перепечатаны вторым изданием. Их надобно отыскивать в *Вестнике Европы*, *Сыне Отечества*, *Трудах общества любителей словесности*, в *Литературных прибавлениях к инвалиду*, и в других периодических изданиях его времени.

Упомянувши здесь о «Собрании русских стихотворений», изданных Жуковским, и об «Образцовых сочинениях в стихах и прозе», я нелишним почитаю обратить внимание на эти две книги. Кроме хорошего выбора, они в нынешнее время могут служить к напоминанию многих имен и произведений, которые были впоследствии забыты по тому случаю, что произведения некоторых авторов не были никогда собраны в одну книгу и изданы отдельно под их именем. Некоторые же из писателей, встречающихся в этих сборниках, или написали так мало, что не могли собрать своих сочинений в одну особую книгу; или из всего, написанного ими, отличились только немногими пиесами и только ими были в свое время достойны известности. Таковы были, например, сатирик *Марин* и. кн. Д. П. *Горчаков*, отец нынешнего генерала, командовавшего войсками против Турции. Имена их и многих

других найдутся в этих книгах вместе с лучшими их произведениями.

Александр Федорович Воейков был женат на Александре Андреевне Протасовой, которой Жуковский посвятил свою «Светлану» и которую он назвал *Светланой* в обращении к ней в конце баллады:

О не зпай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!

Гнедич в начале своего литературного поприща написал роман, ныне мало известный, под заглавием «*Дон Коррадо де Геррера, или Дух мщениа и варварства Гишпанцев, российское сочинение*», 2 части. Москва. В типографии Бекетова. 1803.— Этот роман можно вспомнить потому только, что он написан Гнедичем, переводчиком *Илиады*; но не должно забыть притом, что это — произведение его молодости. Он написан в роде тех ужасных романов, которые были тогда в моде, но не в подражание г-жи Радклиф, а более в роде романов немецких.

Вот окончание предисловия автора: «Горе же мне, если надежда обманет меня и труд мой останется напрасен, презрен! — презрен! Нет! Люди, умеющие прямо ценить знания и таланты — ценили уже и мои! — Ободри-ся, молодой автор! И если факиры будут шипеть позади тебя — презри их! Первое перо Вольтера, Шекспира и Шиллера, конечно, было не без слабостей; так почему ж не простить их молодому русскому автору — *Николаю Гнедичу?*»

Гнедич получил окончательное образование в Московском университете, но вскоре переехал в Петербург, где и провел всю жизнь свою. Он не примыкал к московской литературе, т. е. ни к лицам, ее составлявшим, ни к характеру ее произведений. Долго его путь был особый и не сопровождавшийся известностию, кроме перевода Вольтерова *Танкреда*, предпринятого им для актрисы г-жи Семеновой, которую он учил и чтению. Но чтение самого Гнедича было неприятно. Это было какое-то громозвучное, но глухое пение, почти заывание.— Полную известность получил он уже за перевод *Илиады*, достойно прославивший его имя. Ближайшее его знакомство было

между теми литераторами, которые составляли круг Алексея Николаевича Оленина. В числе их были самыми замечательными лицами Крылов и Гнедич.

Известно, что сначала Гнедич хотел продолжать перевод Кострова и перевел уже несколько песен *Илиады* шестистопными ямбами, с рифмами. Но когда было отыскано продолжение перевода Кострова, полторы песни *Илиады*, дотоле неизвестных, — тогда по совету А. Н. Оленина и С. С. Уварова он решился переводить *Илиаду* сначала, и уже гексаметром. Без этого важного труда, составляющего великую заслугу для нашей литературы, имя Гнедича, конечно, осталось бы неизвестным в потомстве.

Обращаюсь опять к тем писателям, которые примыкали к московской литературе, к Карамзину и Дмитриеву, печатали более в московских журналах, хотя и не жили постоянно в Москве, и которые принадлежали к дружескому кругу Жуковского, Батюшкова и других. Между ними должно считать и Дениса Васильевича *Давыдова*.

Давыдов до 1812 г. не был известен в числе записных поэтов, хотя в *Собрании русских стихотворений*, изданных Жуковским, и напечатаны некоторые из его стихов, помещенных прежде в журналах. Он сделался известен своими стихами в одно время с своими подвигами, т. е. в войне 1812 и 1813 годов. Началом его стихотворческой известности были стихи его *«Призывание на пуни»* и *«К Бурцеву»*. Последние начинаются так:

В дымном поле, на биваке,
Средь пылающих огней,
В благодетельном араке
Зрю спасителя людей.

Ныне печатаются они во всех изданиях сочинений Давыдова, но тогда распространялись в рукописи, помнились наизусть и были началом его поэтической славы. Потом, уже в 1815 году, он напечатал в *«Амфионе»*, журнале Мерзлякова, некоторые свои элегии, писанные отчасти в подражание Парни.

Эти страстные элегии, в которых дышит пламень чувства, были писаны для красавицы, которая была недоступна ни поэтической, ни гусарской славе, ни сердцу

поэта, именно к танцовщице Московского театра Ивановой, которая после вышла замуж за балетмейстера Глушковского. Она была действительно прекрасна собою, величественна и роскошна в своих позах, особенно в русской пляске, требующей от женщины скромной и величественной пантомимы.

Давыдов был не хорош собою; но умная, живая физиономия и блестящие, выразительные глаза — с первого раза привлекали внимание в его пользу. Голос он имел пискливый; нос необыкновенно мал; росту был среднего, но сложен крепко, и на коне, говорят, был как прикован к седлу. Наконец, он был черноволос и с белым клокком на одной стороне лба. Одно известное лицо, от которого могла зависеть судьба его, но которым он почитал себя вправе быть недовольным, спросил его однажды: «Давыдов! От чего у тебя этот седой клок?» — «C'est un bout de chagrin!» — отвечал, не задумавшись, смелый Давыдов.

Он был, как я сказал, приятель Жуковского и других лучших современных поэтов. К нему писали они послания и считали его по праву принадлежащим к их поэтическому созвездию, хотя, повторяю, он стихотворствовал только набегом и никогда не делал из стихотворства постоянного своего занятия. Я не много говорю о Давыдове, потому что мало знал его.

К тому же авторскому кругу, в котором был Жуковский, принадлежали Д. В. Дашков, Михаил Васильевич Милонов и Николай Федорович Грамматин. Все они были его современники, по воспитанию в Университетском Благородном пансионе.

Милонов известен в нашей литературе своими сатирами; а между современниками славился еще острыми ответами и беззаботною, разгульною своею жизнью, которою он отличался от всех упомянутых мною его товарищей по литературе. *Грамматин*, напротив, составлял совершенную противоположность с Милоновым: он был человек тихий, скромный, безобидный, медлительный.

Сатиры Милонова никогда не пользовались всеобщего известностью, а возбуждали внимание и говор более в кругу петербургских литераторов, журналистов и молодых

знакомых автора. В его сатирах есть сила укоризны, но не сила поэзии. Милонов был, по своей натуре, человек добродушный; а потому и та сатирическая сила, которую я ему приписываю, была более плодом мысли, чем убеждения и негодования. Почти все его сатиры писаны в подражание другим: Персию, Ювепалу, Буало; а одна взята даже из Виже. Что же произвело их временную известность? — Применения к некоторым известным лицам, не только к поэтам, но и к тогдашним вельможам; теперь, через сорок лет, эти применения уже незаметны, и временный интерес исчез с временем. Надобно признаться, что и тогда его портреты были очень далеки от подлинников: их находило близкими только желание видеть в сатире известные лица; одно оно видело в *Рубеллии* какого-нибудь современника. Иногда, конечно, нельзя было не заметить осмеянного автора, особенно, если сатирик выписывал какой-нибудь его стих. Например:

А Вадоркин, что ни день, то басня или ода;
А Вадоркин, нового произведя уroda,
Скропавши два стиха, надулся и кричит:
«О радость! О восторг! И я, и я пишу!»

Все знали, что это стих Василия Львовича Пушкина из перевода одной оды Горация. — Мудрено ли после этого сделаться известным в сатире? Но личность — не сатира.

Да позволено мне будет при этом случае сказать мое мнение вообще о сатире. Истинная сатира есть или та, в которой сам автор в стороне как в *Чужом толке* Дмитриева; или, когда поэт является шутливым и добродушным зрителем, как Гораций; или, наконец, когда он переводит на свой язык общее негодование своего времени, как Ювенал. Но сатира, в которой поэт хочет казаться злым, как Милонов, будучи, впрочем, очень добрым человеком, или в которой сатирик бранится, как Капнист в известной своей сатире: такая сатира или оставляет читателя холодным и равнодушным к изображению порока, или производит неприятное чувство, как при виде сердитого человека, который мало ли что наговорит в минуты личной досады.

Милонов служил при министерстве юстиции в то время, когда мой дядя был министром; он любил окружать себя людьми с талантом и никак не думал, чтобы склонность к поэзии мешала делу. Потом Милонов вступил в

службу по военному министерству, под начальство генерала Абакумова, который не только принял его, но и одел на свой счет. Милонов был беден, а беззаботная жизнь еще более погружала его в недостаток. Кажется, и тут остался он ненадолго. Но его добродушие заставляло всякого любить его.

Его неумеренность известна. После Кострова ни о ком из писателей не было столько анекдотов. Однажды, идучи по улице, он имел несчастье не сохранить равновесия и упал; товарищ хотел поднять его, но он отвечал стихом: *Земля — моя постель, а небо — мой покров.*

Грамматин начал писать стихи тоже с Университетского благородного пансиона, как и Милонов. Он был человек с познаниями, но в таланте поэзии уступал Милонову. Его стихотворения изданы были сперва в одной книжке, потом в двух больших томах. Главный труд его состоит в издании *«Слова о полку Игореве»* с двумя переводами: один прозою, другой стихами, с объяснениями. Еще издал он (1808—1817) Английско-русский словарь. Вот все, что я знаю о литературных трудах его.

Обоих их я узнал в 1813 году, когда оба они служили в министерстве юстиции. *Грамматин*, с тихими склонностями от природы и несколько не честолюбивый, предпочел впоследствии удалиться на свою родину в Кострому, где он получил место директора гимназии. Там-то занимался он исследованиями *Слова о полку Игореве*. Он был человек добродушный, степенный и с основательными сведениями.

О *Дмитрии Васильевиче Дашкове* я упоминал уже как об антагонисте *Шишкова*; там же сказано и о превосходной его книжке *«О легчайшем способе возражать на критику»*. Я знал его тоже с 1813 года, знал его как литератора и потом как министра. Это был человек большого ума, обширных сведений и великих достоинств.

В самой молодости между товарищами *Дашков* пользовался уже преимущественным уважением и к свосму лицу, и к своим мнениям. Он и тогда имел над ними какую-то моральную власть, которой они покорялись, признавая его превосходство перед собою. Его приговор литера-

турным их произведениям почитался важным и окончательным; его насмешка была метка и неотразима, хотя никогда не была оскорбительна. Милопов, а особенно Грамматин часто бывали предметом его верных замечаний и приятельских шуток; но плохие авторы испытывали всю силу его иронии.

Свойство ума Дашкова могло служить примером того, что глубокомыслие не противно шутке и веселости. Вопреки мнению людей, судящих по наружности, надобно вообще заметить, что важность, пренебрегающая веселостью и шуткою, бывает всегда признаком односторонности ума, и если не тупости, то, по крайней мере, ума, ограниченного недалекими пределами; а нередко важность есть признак и надутой глупости. Не таков был Дашков. Имея важную наружность от природы, он никогда не важничал, был разговорчив и охотно сообщал замечания светлого ума своего о предметах и важных и легких; но был тверд в своих мнениях: ибо мнения его были плодом зрелого убеждения. Он следил за всеми отраслями наук и литературы; он читал беспрестанно и проникал глубоко в историю народов и в политические происшествия своего времени. Русскую литературу знал во всех подробностях и ни одного произведения ее не оставлял без внимания даже и тогда, когда впоследствии занимал важные должности.

Вот одна черта его веселой иронии. Дашков был членом С.-Петербургского общества любителей словесности, наук и художеств. Предложили в почетные члены известного гр. Д. И. Хвостова. Дашков был против этого, но большинство голосов решило выбор; надобно было покориться. Дашков, уступив большинству, просил общество, по крайней мере, позволить ему сказать обычную приветственную речь новоизбранному члену; и общество, не подозревая никакой шутки, на это согласилось.

Дашков сказал речь, наполненную похвал, но вместе такой иронии, которая бросалась в глаза всякому и уничтожала все другие мнения в пользу поэзии нового члена. Это было в заседании общества 14 марта 1812 года. В первом издании *Мелочей* я выписал только два небольшие отрывка из этой речи; теперь, в конце книжки, прилагаю ее вполне.

В то время Дашков служил в департаменте министерства юстиции. Иван Иванович Дмитриев, бывший тогда министром, по преимуществу любил Дашкова и высоко ценил прямоту его характера и необыкновенные его способности. Но, узнавши об этой выходке, как ни смеялся, однако пожурил оратора, разумеется, не как подчиненного, а как молодого человека, в котором он принимал особенное участие и который сам был ему искренно предан.

Гр. Хвостов поступил, однако, с своей стороны хорошо; т. е. хорошо вышел из затруднения признаться в вытерпленной насмешке. На другой же день он прислал звать Дашкова обедать. Дашков пришел к Дмитриеву просить его совета, ехать ли ему на этот обед. Дмитриев сказал ему решительно: «Советую ехать, Дмитрий Васильевич. Знаю, что тебе будет неловко; но ты должен заплатить этим за свою неосторожность». — За обедом гр. Хвостов благодарил Дашкова и рассыпался в похвалах его достоинствам; но за кофеем, в стороне от других, сказал ему: «Неужели вы думаете, что я не понял вашей иронии? Конечно, ваша речь была очень забавна; но нехорошо, что вы подшутили так над стариком, который вам ничего дурного не сделал. Впрочем, я на вас не сержусь; оставайтесь знакомы по-прежнему». Иван Иванович, от которого я это слышал, находил, что это было очень хорошо и благородно со стороны оскорбленного стихотворца. Тем эта история и кончилась между ними. — Но Общество (это справедливо напомнил мне один мой критик) исключило Дашкова из своих членов.

В департаменте министерства юстиции поручаемы были Дашкову от министра все бумаги, требовавшие особенно обдуманного изложения, строгой точности и ясного, хорошего слога, качеств, из которых особенно два последние Дмитриев первый начал вводить в деловые бумаги этого министерства, истребляя прежний тяжелый канцелярский слог и прежние устарелые, окаменелые от времени формы речи. Дашков в этом отношении много способствовал к улучшению.

До 1812 года и лет десять после средоточием русской литературы была Москва. И те писатели, которые не жили в ней постоянно, например, Батюшков, Воейков, Давыдов, примыкали к ней же и печатали свои произведения больше

в московских изданиях: в *Аонидах* Карамзина, в *Вестнике Европы*; потом в *Амфионе*, в *Российском Музеуме* и прочее. В Москве же, в *Московском Зрителе*, 1806, были напечатаны, как я сказал уже, первые две басни Крылова. Там же, в *Музеуме* Измайлова, начали печатать первые свои стихи Пушкин и Дельвиг. Петербург имел тогда своих особенных поэтов и писателей, не без таланта, но далеко не равнявшихся с теми, которые принадлежали к школе Карамзина и Дмитриева, ни живостию поэтического чувства, ни красотой языка. Многие из них примыкали к Российской Академии и впоследствии к Державинской беседе любителей русского слова. Даровитые поэты начали группироваться в Петербурге, со времени появления альманахов, например, *«Северных Цветов»* Дельвига.

Между поэтами Державинской беседы не должен быть забытым кн. Сергей Александрович Шихматов, бывший потом иноком под именем Аникиты. Его *Песнь Сотворившему* вся исполнена картин великолепных, представленных языком звучным, ясным и соответствующим высоте предмета. У нас многое хорошее или не пользовалось в свое время известностью, потому что не подходило под общий тон своего времени, под направление господствующего вкуса; или забыто теперь, и его надобно отыскивать в куче прошлого. И потому я нахожу особенное удовольствие воздавать справедливость всему, чему не была она воздана в свое время...

Князь Шихматов отличался, между прочим, богатыми рифмами и тем, что избегал рифм на глаголы. А. Ф. Воейков говорил очень забавно, что он «у кн. Шихматова крадет иногда рифмы; но что у такого богача не грех и украсть»; а Батюшков в своей пародии *«Певца»* Жуковского назвал его *«Шихматов безглагольный»*, что значит просто: неупотребляющий рифм на глаголы. В приведенном мною выше отрывке Батюшкова из *«Видения на берегах Леты»* стих *«Они Пожарского поют»* и следующий за ним относятся тоже к поэме кн. Шихматова, которой заглавие я упомянул перед этим, исчисляя его сочинения.

Несмотря на беспристрастие тогдашней литературы, старое и новое направление отделялись резко: это разделение состояло более в различии внешней формы и языка. Те, которые держались прежних лирических форм, введен-

ных с Ломоносова, а в языке высоких выражений; те, которые не припали в слоге новейшей свободы, легкости и игривости выражения: те, несмотря на другие достоинства, стояли как бы на втором плане. Сперва это разделение обозначалось отклонением от языка Карамзина и Дмитриева; а потом от языка и новых форм поэзии Жуковского и Батюшкова. К числу последователей старой школы принадлежали и князь Шихматов, и Н. М. Шатров, которому Жуковский, я помню, отдавал справедливость как человеку с природным талантом; но в то же время находил, что его искусство заключалось только в том, чтобы *сказать известное и обыкновенное необыкновенным образом*. К этому можно бы прибавить: «Сказать сильно и красиво».

Правда, что Шатров в первых своих произведениях отличался не красотою слога, а только силою, на которую не только тогда, но и ныне мало обращают внимания. Было, однако, и для него время, если не полной славы, то, по крайней мере, известности. Эту известность дала ему песнь *Праздну Екатерины великой* (1805), хотя, впрочем, эта песнь имеет менее достоинств, чем его *Подражания Псалмам*.

Причиною малой известности Шатрова было то же, что я сказал о князе Шихматове; то же, что всегда у нас было: непринадлежность к господствующей школе. Кроме того, Шатров был еще и противником Карамзина. Я знал его с 1820 года, когда Карамзин издал уже свою *Историю*. Шатров и тогда видел в нем все еще автора *Бедной Лизы* и не отдавал ему должной справедливости. Он не получил никакого образования, только знал по-русски; но был человек умный и всем был обязан природному уму и природному таланту. Такие люди стойки в своих однажды принятых направлениях. Не имея широкого горизонта, они упрямо держатся в том кругу, который им доступен.

При выходе в свет книжки Карамзина *Мои безделки* Шатров приветствовал молодого автора следующей эпиграммою, которая тогда была всем известна:

Собрав свои творенья мелкие,
Русак немецкий написал:
«Мои безделки».
А ум, увидя их, сказал:
«Ни слова! Диво!
Лишь надпись справедлива!»

Он не заметил, что это были *безделки* только для Карамзина; но что в этих *безделках* скрывалось преобразование языка и открывалось уже избранным того времени. Иван Иванович Дмитриев возразил на эпиграмму следующими тремя стихами:

А я, хоть и не ум, но тож скажу два слова:
Коль будет разум наш во образе Шатрова,
Избави боже нас от разума такого!

Императорская российская академия в 1831 году издала стихотворения Шатрова; но многое, не знаю почему, не вошло в это издание, между прочим, превосходная его «*Ода*» на новый 1817 год, напечатанная в том же году в *Сыне Отечества*, и *Подражание Псалму 136-му*, тоже отличающееся силою...

Псалмы Шатрова замечательны не только яркостью картин, силою выражения и красотою языка, но и тем, что многие из них содержат применения к Отечественной войне 1812 года и к последующим великим событиям. В то время восторг и молитва выражались во всех формах. В *Псалмах* Шатрова высказаны многие библейские истины, близкие к тогдашним современным обстоятельствам: истина всех времен приходилась у поэта в пору по истине времени. — Замечательно еще его *Послание к моему соседу*, помещенное Жуковским в изданном им *Собрании русских стихотворений*, но которого не находится в собрании стихотворений Шатрова.

Надобно упомянуть, как об авторе, и о графе Федоре Васильевиче *Ростопчине*. Я узнал его в 1813 году, когда он был еще генерал-губернатором Москвы; я видал его в Москве по вечерам у моего дяди. Разговор его был всегда оригинален и занимателен. Это был один из тех умных людей, которые умеют сказать что-нибудь интересное даже и о погоде. Об остроумии его и говорить нечего: оно всем известно, по в последние годы, в отставке, когда фортуна двора от него несколько уже отступилась, он хотя и не упал духом, однако был уже не так весел, хотя веселость, природное его свойство, все-таки его не оставляла.

Известно, что он был любимцем императора Павла; известно, что за несколько времени до смерти Павла он пришел у него в немилость и послан был в Москву. Эта

немилость была некоторым образом произведена заговорщиками: потому что, если б Ростопчин находился безотлучно при Павле, очень вероятно, что заговорщики не успели бы в своем злодейском предприятии.

Многое слышал я от гр. Ростопчина самого, многое об нем. Расскажу, что вспомню. О нем много слышал я от Александра Павловича Протасова, который был сенатором. Он был двоюродный брат графине Ростопчиной, урожденной Протасовой, по родственной связи часто с ними видался и был с ними в коротких отношениях.

Однажды Протасов, служа еще при Московском военном генерал-губернаторе, приехал вечером к гр. Ростопчину, который был тогда уже в отставке и жил в Москве, хотя незабытым, но, как человек частный, уединенно.

Протасов, войдя в кабинет, застал его лежащим на диване. На столе горела одна свеча.

«Что делаешь, Александр Павлович? Чем занимаешься?» — спросил гр. Ростопчин.

— Служу, ваше сиятельство! Занимаюсь службой! (Протасов всегда употреблял титул.)

«Служи, служи, да дослуживайся до наших чинов».

— Чтобы дослужиться до вашего звания, — отвечал Протасов, — надобно иметь ваши великие способности, ваш гений!

Ростопчин встал с дивана, взял со стола свечу, поднес ее к лицу Протасова и сказал: «Я хотел посмотреть, не смеешься ли ты надо мною».

— Помилуйте! — возразил Протасов. — Смею ли я над вами смеяться!

«Вижу, вижу! Так, стало быть, ты и вправду думаешь, что у нас надобно иметь гений, чтобы дослужиться до знатных чинов? Очень жаль, что ты так думаешь! — Слушай же, я расскажу тебе, как я вышел в люди и чем дослужился».

Отец мой хотя был небогатый дворянин, но дал мне хорошее воспитание. — По тогдашнему обычаю, для окончательного образования молодого человека надобно было отправить его путешествовать в чужие края; и меня отец мой отправил. Я был тогда еще очень молод, но был уже поручиком.

В Берлине пристрастился я к картам и обыграл одного старого прусского майора. Майор отозвал меня в сторону

и говорит мне: «Herr Lieutenant! Мне заплатить вам нечем: у меня денег нет; но я честный человек. Прошу пожаловать завтра ко мне на квартиру. Я могу предложить вам некоторые вещи: может быть, они вам понравятся».

Я пришел к майору. Он привел меня в одну комнату, которой все стены были в шкафах. В этих шкафах, за стеклом, находились, в маленьком виде, всевозможные оружия и воинские одеяния: латы, шлемы, щиты, мундиры, шляпы, каски, кивера; одним словом, это было полное собрание оружий и воинских костюмов всех веков и народов, начиная с древности. Тут же стояли и воины, одетые в их современные костюмы.

Посередине комнаты стоял большой круглый стол, на котором тоже было расставлено войско. Майор тронул пружину, и они начали делать правильные построения и передвижения.

«Вот, — сказал майор, — все, что мне осталось после моего отца, который был страстен к военному ремеслу и всю жизнь собирал этот кабинет редкостей. Возьмите это вместо уплаты».

Я, после некоторых отговорок, согласился, — продолжал гр. Ростопчин; — уложил все это в ящики и отправил водой в Петербург. По возвращении в Россию я расставил все это на своей квартире, и офицеры гвардии ежедневно любовались моим собранием.

В одно утро приходит ко мне адъютант наследника (Павла Петровича) и говорит, что великий князь желает видеть мое собрание и для этого приехать ко мне. — Я натурально отвечал, что сам привезу это к его высочеству. Привез и расставил все мои игрушки.

Великий князь был в восхищении. «Как вы могли составить такое полное собрание в этом роде? — вскричал он в восторге: — Жизни человеческой мало, чтобы это исполнить».

«Ваше высочество, — отвечал я: — усердие к службе все преодолагает; военная служба моя страсть!»

С этого времени я пошел у него за знатока в военном деле.

Наконец, великий князь начал предлагать, чтобы я продал ему мою коллекцию. Я отвечал, что продать ее не могу; но почту за счастье, если он позволит мне поднести ее его высочеству.

Павел принял мой подарок, бросился обнимать меня; и с этой минуты я пошел за преданного ему человека.

«Так вот чем, любезный друг,— заключил гр. Ростопчин,— выходят в чины, а не талантом и не гением!»

Анненский орден до императора Павла не считали в числе русских. Это орден голштинский, который перешел к нам с Петром. Екатерина хотя жаловала этим орденом, по грамоты подписывал великий князь Павел Петрович, в качестве герцога Голштинского. И потому почти всегда доставался этот орден не тем, которым хотел бы дать его Павел, как герцог и гротмейстер ордена, что было ему очень досадно. Чрезвычайно хотелось ему пожаловать им кого-нибудь из своих любимцев; но им-то и не давала его Екатерина.

Наконец, придумал он вот что. Он призывает к себе Ростопчина и Свечина (который в одно время с Ростопчиным был любимцем Павла), подает им два анненских крестика с винтами и говорит: «Жалую вас обоих анненскими кавалерами; возьмите эти кресты и привинтите их к шпагам; только на заднюю чашку, чтобы не узнала императрица».

Свечин привинтил, хотя и со страхом. А Ростопчин, думая, что это будет плохая шутка, если узнает об этом императрица, решил сказать об этом Анне Степановне Протасовой, которая была ему родня по жене и была любима государыней.

Анна Степановна обещала сказать об этом Екатерине, чтобы узнать ее мнение; и, действительно, она передала это императрице, сказав, что Ростопчин очень опасается носить орден, а между тем боится оскорбить великого князя.

Императрица улыбнулась и промолвила: «Ах, он горбогатырь! И этого-то лучше не выдумал! Скажи Ростопчину, чтобы он послал свой орден и не боялся; а я не буду замечать». — Вот происхождение 4-й степени Анны.

После этого ответа Ростопчин смело привинтил свой орден не к задней, а к передней чашке шпаги и смело явился во дворец.

Павел заметил это, подходит к нему и говорит: — «Что ты делаешь! Я велел привинтить к задней чашке, а ты привинтил к передней! Императрица увидит!

— Милость вашего высочества так мне драгоценна,— отвечал Ростопчин,— что я не могу скрывать ее!

— Да ты себя погубишь!

— Готов погубить себя; но докажу этим преданность вашему высочеству.

Павел чрезвычайно удивился этой преданности и твердости, а Ростопчин остался при своем.

Вышло, что Свечин дрожал от страха за себя, Павел за себя и за обоих кавалеров, а Ростопчин остался героем твердости и преданности, и один без опасения.

У него было множество анекдотов об императоре Павле.— Один раз он говорит ему: «Ростопчин! Ростопчин! Пойдем походим по саду инкогнито!» — Это инкогнито состояло в том, что вместо мундира и он и его спутник надевали военный сюртук, по-тогдашнему юберрок...

Однажды Павел приказал послать фельдъегеря за одним отставным майором, который уже давно был в отставке и состарился в своей деревеньке. Майора привезли прямо во дворец и доложили Павлу.

«А! Ростопчин! Поди скажи, что я жалую его в подполковники!» — Ростопчин исполнил и возвратился в кабинет.

«Свечин! Поди скажи, что я жалую его в полковники». — И тот исполнил.

«Ростопчин! Поди скажи, что я жалую его в генерал-майоры».

«Свечин! Поди скажи, что я жалую ему анненскую ленту».

Таким образом, говорил гр. Ростопчин, мы ходим попеременно жаловать этого майора и сами не понимаем, что это значит; а майор, привезенный прямо во дворец фельдъегерем, стоит ни жив ни мертв!

После последнего пожалования Павел спросил: «Что! Я думаю, он очень удивляется! Что он говорит?» — «Ни слова, ваше величество!» — «Так позовите его в кабинет!» — Майор вошел.

«Поздравляю, ваше превосходительство, с монаршею милостию! Да! При вашем чине нужно иметь и соответственное состояние! Жалую вам столько-то душ (200 или 300). — Довольны ли вы, ваше превосходительство?» — Майор благодарит, как умеет, то сам себе не веря, что с ним делается, то припимая это за шутку.

«Как вы думаете: за что я вам так жалую?»

«Не знаю, ваше величество, и не понимаю, чем я заслужил».

«Так я вам объясню! Слушайте все.— Я, разбирая старинные послужные списки, нашел, что вы, при императрице Екатерине, были обойдены по службе. Так я хотел

доказать, что при мне и старая служба награждается! — Прощайте, ваше превосходительство! Грамоты на пожалованные вам милости будут к вам присланы на место вашего жительства».

Майора схватили и опять увезли в деревню. Старуха жена встретила его в страхе, со слезами и с вопросами: «Что такое? Что с тобою было?» — «И сам не понимаю, матушка! — отвечал старик: — думаю, что все это шутка!» — и рассказал ей все, что и как было.

Через несколько времени действительно прислали майору все документы на пожалованные милости.

Однако, когда его схватили и увезли в Петербург, старуха жена чуть не умерла с горя и с испуга.

Гр. Ростопчин и сам получил почти так же все свои чины, хотя и не с такой скоростью.

Император Павел, в первые дни своего восшествия на престол, говорит ему: «Ростопчин! Жалую тебя генерал-адъютантом, обер-камергером, генерал-аншефом, андреевским кавалером, графом; и жалую тебе столько-то тысяч душ! — Нет, постой! — Вдруг это будет слишком много! Я буду жаловать тебя через неделю!» — Так и жаловал, каждую неделю по одной милости, или по крайней мере вскоре одну за другою.

Известная история Верещагина, убитого в Москве народом, вероятно, теперь забыта. Я расскажу, что знаю.

Это было в Москве, в 1812 году. Я был еще в Университетском благородном пансионе и только что был произведен по экзамену 12 июня в студенты Университета; но в то же время, будучи давно уже записан в архив иностранной коллегии, по понедельникам я ездил в архив на службу. Однажды в архиве показывают мне в рукописи, в переводе на русский язык, прокламацию Наполеона, и мы все принялись читать ее. В ней были обещания русскому народу свободы, и прочее. В это время приезжает наш начальник (второй по Бантыш-Каменскому), Алексей Федорович Малиновский. Увидя нас, читающих бумагу, он спросил: «Что вы, господа, читаете? Верно, эту прокламацию? Не верьте ничему этому. Советую вам не читать ее и не переписывать: вы увидите, что из этого выйдет что-нибудь нехорошее и опасное».

После 12 июня, получивши звание студента, я уехал на вакансию в Симбирскую губернию. Вот что происходило

без меня, перед самым уже приближением французов к Москве.

Гр. Ростопчин велел сделать об этой прокламации розыскание, тем более, что такого рода бумага, напечатанная в иностранной газете, не могла пройти через газетную цензуру: этот номер был бы запрещен.

Оказалось, что эту бумагу переводил купеческий сын Верещагин и что он получил эти газеты от сына московского почт-директора Федора Петровича Ключарева. Когда надобно было взять Верещагина к допросу, оказалось, что он укрывается в доме почтамта на Мясницкой.

Гр. Ростопчин послал туда полицейского чиновника; но почт-директор Верещагина не выдал, отвечая, что полиция не имеет права входить в ведомство почтамта и что у них есть своя полиция. Гр. Ростопчин на это послал сказать почт-директору: «А ежели бы мне надобно было взять под стражу самого вас, ваше превосходительство, кого бы я послал с этим поручением, когда я не имею права послать к вам полицию?» (Последствия доказали, что эти слова были пророческие; может быть, гр. Ростопчин знал уже кое-что и пророчествовал наверное. Об этом я упомяну после).— Как бы то ни было, но Верещагина взяли. Известно, что гр. Ростопчин, перед самым выездом своим из Москвы, отдал его народу и что народ растерзал его. Но как это было, и Ростопчин ли его предал, или сам народ отбил его и замучил, это оставалось тайною; мнения и слухи были разные, а теперь и совсем это забыто: прошло почти уже полвека.

Вскоре после французов (1813) я ехал на извозчике мимо дома гр. Ростопчина, бывшего на Лубянке, почти против церкви Введения. Дом этот принадлежит ныне (1853) графу Орлову-Денисову. Извозчик, указывая кнутом на дом, сказал мне: «Вот здесь, барин, убили Верещагина!» — Я спросил: «Разве ты знаешь?» Он отвечал мне: «Как же! При мне и было! Граф вывел его на крыльцо и сам вышел. Народу было на дворе видимо-невидимо! Вот он и сказал народу: «Народ православный! Вот вам изменник; делайте с ним, что хотите!» Сказавши это, он дал знак рукой казаку. Казак ударил его саблей, по голове ли, по плечу ли, и разрубил; а потом его и бросили с крыльца народу.— Граф ушел, и двери за ним затворились; а народ бросился на Верещагина и тут же разорвал его живого на части. Я сам это видел!» — Вот свидетельство очевидца.

Другое свидетельство, тоже очевидца, рассказанное не мне, а Дмитрию Николаевичу Свербееву, родственником его Василием Александровичем Обрезковым, который был впоследствии, в конце царствования Александра и в начале царствования Николая, московским полицмейстером. В 1812 году он был адъютантом гр. Ростопчина. Он рассказывал то же: гр. Ростопчин вышел на крыльцо в сопровождении своих адъютантов, в числе которых был и сам Обрезков. Верещагин был заранее истребован из острога; перед домом было скопище народа. Гр. Ростопчин, указав народу на Верещагина и сказав, что он изменник, велел полицейскому драгуну (а не казаку, как говорил извозчик) рубить его; драгун не скоро повиновался, но, по второму строгому приказанию, вынул саблю и начал. Прочее то же, что мне рассказывал извозчик. Как скоро бросили Верещагина народу, гр. Ростопчин ушел; двери за ним затворились; а он тотчас же сел на дрожки и с заднего крыльца уехал из Москвы вслед за армией. Это было 2 сентября, утром.

Но я имею в руках подлинное отношение графа Ростопчина к моему дяде, который был тогда министром юстиции. Это отношение от 13 октября, 1812 года, за № 5-м, из Владимира. Из него видно, что дядя мой спрашивал гр. Ростопчина, во-первых, куда и как размещены присутственные места после разорения Москвы неприятелем; а, во-вторых, о судимости Верещагина.

Гр. Ростопчин уведомляет его о присутственных местах, что они находятся частью в Нижнем Новгороде, частью в Муроме; что в самый этот день (13 октября) получено во Владимире первое известие о *опорожнении* Москвы неприятелем, а в конце отношения своего пишет слово в слово так: «Что ж касается до Верещагина, то изменник сей и государственный преступник был, перед самым вшествием злодеев наших в Москву, предан мною столпившемуся пред ним народу, который, видя в нем глас Наполеона и предсказателя своих несчастий, сделал из него жертву справедливой своей ярости». — Это есть уже свидетельство истории, основанное на подлинном документе того времени.

Что касается до почт-директора, тайного советника Федора Петровича Ключарева и до его сына, то обоих их, по повелению государя, отослали на жительство, кажется, в Вологду. Я видел их в Москве, по возвращении их оттуда. Старик не роптал; а на вопрос об этом моего дяди со слеза-

ми на глазах взглянул на небо: в этом взгляде ясно была видна покорность воле божией.

Федор Петрович Ключарев был старинный масон, еще повиковской школы. Гр. Ростопчин терпеть не мог масонов, как и все, не имеющие об них никакого понятия. Гр. Ростопчин вообще не отличался религиозностью и часто насмехался над их набожностью и обрядами. Он был рад всякому случаю представить их в карикатуре; а до карикатур он был большой охотник, до насмешек тоже.

После французов он велел обыскать дом другого масона, где была ложа Нептуна, дом сенатора и попечителя Московского университета Павла Ивановича Голенищева-Кутузова. Там нашли гроб, который употребляется при приеме в третью степень. Гр. Ростопчин велел перевезти этот гроб в свой дом, поставил его в сенях и всем показывал, говоря со вздохом: «Гроб Павла Ивановича!»

Граф Ростопчин никогда не думал быть автором. Первое сочинение его было *Плуг и соха*, с эпиграфом: *отцы наши не глупее нас были*. В издании Смирдина сочинений графа Ростопчина это сочинение совсем пропущено. Здесь восстает он против введения у нас иностранного земледелия и доказывает примерами и расчетами, что улучшенное земледелие по старой русской методе несравненно выгоднее иностранных нововведений. Этой мысли не должно приписывать невежеству и бессмысленному обскурантизму: эти упреки нейдут к просвещенному гр. Ростопчину. А надобно взять в соображение, во-первых, тогдашнее несовершенное знание дела между теми, которые хотели вводить тогда иностранное хозяйство, не рационально, а по одному подражанию; во-вторых, надобно взвесить и нынешнее рациональное хозяйство и потом определить беспристрастно — рационально ли применяется оно к нашей почве, к нашему короткому лету, к нашей обширности полей, к нашему плохому сбыту полевых произведений, к нашим расстояниям провоза, а, наконец, и к нашему мужику? В свое время граф Ростопчин был прав совершенно; может быть, и нынче, в глазах беспристрастного рассудка и при отсутствии хвастовства и шарлатанства он показался бы не совсем неправым.

Гр. Ростопчин, несмотря на свое воспитание, принадлежавшее тому времени, когда все были очарованы француза-

ми, ненавидел Наполеона и французов. Образованность его была блестящая, светская; но дух и речь в его сочинениях были вполне русские. Никто так, как он, не опровергал своим примером нападок Шишкова на французский язык, и никто так не доказал, как он, что, и зная хорошо французский язык, можно быть совершенно русским; хотя, впрочем, и он восставал против этой жалкой и вредной моды говорить преимущественно на чужом языке.

В 1807 году гр. Ростопчин написал *Мысли вслух на Красном крыльце, ефремовского помещика Силы Андреевича Богатырева*. Эта тетрадка разошлась по Москве в рукописи. Книгопродавец Глазунов напечатал ее с неисправного списка. Тогда гр. Ростопчин решился сам издать ее в лучшей тогдашней типографии Платона Петровича Бекедова, с прибавлением *письма* Силы Андреевича.

Эта книжка прошла всю Россию; ее читали с восторгом! Голос правды, ненависть к французам, насмешки над ними и над русскими их подражателями, русская простая речь, поговорки, — все это нашло отголосок в целой России, тем более что все здравомыслящие люди и самый народ давно уже ненавидели напущенную галломанию. Ростопчин был в этой книжке голосом народа; не мудрено, что он был понят всеми русскими. Оно же было и вовремя!

Надобно сказать и то, что вместе с ненавистью к французам он соединил в ней столько забавного и в мыслях и в выражениях, что это — маленькое совершенство в своем роде! Сколько ни писали против нашей галломании и Шишков, и С. Н. Глинка (с 1808 года), это небольшое произведение гр. Ростопчина одно было сильнее и толстых книг первого, и журнала последнего! — А русский язык во всей простоте безыскусственной разговорной народной речи доходит в этой книжке до неподражаемого, оригинального совершенства! — Оригинальность была одним из отличительных свойств гр. Ростопчина.

В Смирдинском издании сочинений графа Ростопчина напечатаны еще *Мысли не вслух у деревянного дворца Петра Великого*. Нужным считаю заметить для библиографов, что эта статья написана совсем не графом Ростопчиным. Это произведение автора, мне неизвестного, но не гр. Ростопчина. Когда Глазунов напечатал *Мысли вслух*, то, видя необыкновенный успех этой брошюры и, вероят-

по, желая тем воспользоваться, он напечатал вскоре и другую: *Мысли не вслух*. По сходству названия и она пошла в книжной торговле за произведение того же автора. Это была коммерческая уловка. А Смирдин, или тот, кто издавал под его именем сочинения гр. Ростопчина, не справясь с современниками, поместил и ее в его же сочинениях. Между тем он пропустил в них повесть, кажется, под названием *Ой, французы*, которая несколько лет тому назад была напечатана в *Отечественных Записках*.

В 1809 году гр. Ростопчин написал комедию *Вести, или Убитый живой*. Здесь другая сторона той же цели: истребить предубеждение к французам и пустые слухи и толки, которых много было в Москве в предшествовавшую войну с французами. Одно действующее лицо то же: Сила Андреевич Богатырев. Все другие лица — верные копии с тогдашних вестовщиков и вестовщиц. Современники узнавали в Маремьяне Бобровне Набатовой, в Горюнове и других — лица, всем знакомые. Ростопчин не пощадил даже известного издателя *«Друга детей»*, автора драм *«Лиза, или Торжество благодарности»*, *«Рекрутский набор»* и многих других, Н. И. Ильина, которого впоследствии, будучи уже генерал-губернатором Москвы, он взял в правители своей канцелярии. И он был изображен в этой комедии, и его узнали под именем Николая Ивановича Пустякова. Успех этой комедии, появившейся впору, кстати, ко времени, был необыкновенный; но Москва обиделась личностями. Впоследствии, смотря на *Горе от ума* Грибоедова, она уже не обижалась: другие времена, другие нравы!

Здесь кстати заметить, что паша комедия всегда любила личности. Таковы, например, были две комедии Веревкина: *Так и должно* и другая *Точь-в-точь*, сочиненная в Симбирске, что означено на ее заглавии. Дядя мой помнил еще воеводу и секретаря, изображенных в последней. Комедия кн. Дашковой *Господин Тоисёков* была тоже копиею с лица известного. О комедии Лукина *Мот, любовию исправленный* говорит Новиков в своем словаре писателей, что «сочинитель ввел в свою комедию два смешные *подлинника*, которых представлявшие актеры *сесъма искусным и живым подражанием*, выговором, ужимками и телодвижением, *также и сходственным к тому платьем*, зрителей весьма много сместили». Комедия

Крылова *Проказники* была написана на семейство Княжнина. Комедии князя Шаховского *Новый Стерн* и *Липецкие воды* возбудили негодование многих современников тоже за намерение изобразить известные лица. Многим памяты еще эпиграммы, которые во всех журналах посыпались тогда на автора. В *Горе от ума* Грибоедова тоже узнавали в Москве людей известных и в Фамусове Алексея Федоровича Грибоедова, дядю сочинителя. Этою аристофановскою вольностью воспользовался и гр. Ростопчин в своей комедии.

В 1812 году, перед вступлением в Москву неприятеля, гр. Ростопчин прославился своими афишками. Это тоже мастерская, неподражаемая вещь в своем роде! Никогда еще лицо правительственное не говорило таким языком к народу! Притом эти афишки были вполне ко времени. Они производили на народ московский огненное, непреодолимое действие! — А что за язык! Один гр. Ростопчин умел говорить им! Его тогда выписали в публике: и афишки казались хвастовством, и язык их казался неприличным! Но они были вполне согласны с его прочими действиями; они много способствовали и к возбуждению народа против Наполеона и французов, и к сохранению спокойствия Москвы. Кто другой, кроме гр. Ростопчина, мог бы успокоить народ в таких трудных обстоятельствах? — Будем благодарны и скажем, что гр. Ростопчин был именно человеком необходимым в эти затруднительные минуты; что он много содействовал к гибели врагов и что ему принадлежит вечная слава, как гениальному человеку, появившему свое время! Он один из последних, оставшихся в памяти народа.

В одной из этих афишек говорится о каком-то воздушном шаре. Они все известны и были неоднократно перепечатаны. Вот подлинные слова: «Здесь мне поручено было от государя сделать большой шар, на котором пятьдесят человек полетят, куда захотят, и по ветру, и против ветра. Если погода будет хороша, то завтра, или послезавтра, ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтоб вы, увидя его, не подумали, что это от злодея: а он сделан к его вреду и гибели».

Об этом шаре толковали много, тем более, что он все был пущен. Одни говорили, что был проект какого-то иностранца пустить с высоты зажигательные материи на

армию Наполеона; другие полагали, что этот шар предназначен для обозрения с высоты его армий. Видно, это предприятие не удалось. Но что этот шар действительно делали, это я знаю достоверно от дяди моего Платона Петровича Бекетова. Шар готовили на казенном дворе в Тюфелевой роще, близ Симонова монастыря, где была дача Бекетова. Далее, знаю я еще из самого достоверного источника, что этот шар делал иностранец Шмидт, что ему было отведено назначенное место, под предлогом будто бы частной его надобности, и что это поручение и самые работы велено было содержать в тайне.

Вот что я узнал от Д. Н. Свербеева, родного племянника Николая Васильевича Обрезкова, бывшего в 1812 году московским гражданским губернатором. Свербеев видел подлинные два письма императора Александра к Обрезкову, писанные из Вильны.

В одном писал государь, что посылается в Москву иностранец Шмидт, которому отвести место в окрестностях Москвы, под каким-либо предлогом, будто для частной его потребности; что ему поручено сделать воздухоплавательный шар, но содержать это поручение и самые его работы в тайне не только от жителей Москвы, но и от самого главнокомандующего Москвы (так назывались еще тогда московские генерал-губернаторы). Тогда был еще главнокомандующим граф Иван Васильевич Гудович. Граф Ростопчин сменил его перед самым нашествием на Москву неприятеля.

В другом письме, писанном уже во время графа Ростопчина, государь поручает Обрезкову сообщить это гр. Ростопчину и содействовать, совокупно с ним, предприятию Шмидта.

Есть еще одна книга, которая в свое время приписывалась то гр. Ростопчину, то А. Я. Булгакову. Это *Русские и Наполеон Бонапарте*. Ее было два издания. Слог не похож на слог Ростопчина; впрочем, с предметом изменяется и слог. Здесь не было уже шуток; здесь были размышления политика. Эта книжка имела два издания, оба с планом Москвы, на котором места, уцелевшие от пожара, были означены розовой краской; а места сгоревшие — черной. Во втором же издании прибавлена картинка, изображающая пожар Москвы, и виньетка, представляющая орла, который щиплет петуха, т. е. Галла (gallus).

В одну из иллюминаций, бывших в Москве в 1813 году, я помню, что у двух флигелей, или беседок, стоящих и ныне по обеим сторонам ворот у дома, принадлежавшего тогда графу Ростопчину, и где он жил, бывши генерал-губернатором, были выставлены прозрачные картины. На одной из них было изображено то же, что на упомянутой мной виньетке. Это было прежде издания той книги. Дом был на Лубянке; ныне принадлежит он графу Орлову-Денисову.

Веселость гр. Ростопчина была неистощима! — В чем иногда этот умный человек находил удовольствие, почти непостижимо! Когда он был еще генерал-губернатором Москвы, в 1813 году, почти всякий вечер являлся к нему какой-то московский шут, которого имя я позабыл. В кабинете, на столе, против самых дверей, за которым шел прямой ряд комнат, ставили казачью шапку, на которую клали целковый. Один кабинет был освещен, а все прочие комнаты оставались в потемках. Этот шутник должен был разбежаться из самой дальней комнаты и со всего разбегу схватить зубами целковый. Если схватит, то целковый его! Случалось, что бегун растянется на полу или ударится об стол; случалось, что целковый и схватит! — Это графа Ростопчина чрезвычайно забавляло.

Когда после гр. Ростопчина сделали генерал-губернатором Москвы графа Александра Петровича Тормасова, граф Ростопчин сказал: «Москву *подтормозили!* Видно, прытко шла!» — Гр. Тормасов, услышав об этом каламбуре, отвечал: «Ничуть не прытко: она, напротив, была совсем *растоптана!*»

По приказанию ли графа Ростопчина была зажжена Москва и русскими ли была сожжена Москва, или французами, это доселе осталось неизвестным. Тогда многие были уверены, что ее зажигали сами русские, как афиняне сожгли свой город, чтоб он не достался персам; другие обвиняли в зажигательстве французов. Иные сперва винили гр. Ростопчина, потом ставили этот пожар в честь ему и русским. Но брошюрка гр. Ростопчина *La vérité sur l'incendie de Moscou* удивила всех. Вдруг одним почерком пера, по прошествии долгого времени, когда уже перестали винить его, когда за русскими утвердилось слава этой жертвы, он разрушил наше убеждение и приписал

сожжение Москвы самим неприятелем. Для русских чтение этой брошюры осталось и неразгаданным и неприятным. Нельзя подумать, чтобы гр. Ростопчин отказывался от славы пожертвования, которая уже утвердилась за русскими; нельзя подумать, чтоб он боялся упреков, которые тогда уже умолкли; нельзя подумать и того, чтоб он хотел упрекнуть французов, между которыми он жил тогда в Париже. Не побудили ли его к этому сами французы, которые даже издали его портрет с надписью: *L'incendiaire Rostopchine!* — Не хотел ли он отплатить им?

Впрочем, в 1813 году вышла одна небольшая книжка под названием *Московские небылицы в лицах*, которая очень замечательна по этому нерешенному вопросу. Если вспомнишь, что она напечатана еще при гр. Ростопчине, и сравнишь ее с книжкою *La vérité sur l'incendie de Moscou*, то увидишь, что с самого начала гр. Ростопчин отрицался от славы сожжения Москвы. Хотя это было, конечно, в то время, когда эта слава была не по сердцу русским; однако, тем правдоподобнее делается его последующее, собственное отрицание. Эта книжка замечательна вообще, как современный памятник о духе того времени.

Известно, что при приближении французов к Москве он сжег свой великолепный дом в селе Воронове, оставив на пожарище надпись, что он зажег его собственными руками, чтобы он не достался французам и не был осквернен злодеями. Не всякий решился бы на такой поступок!

После своего генерал-губернаторства гр. Ростопчин жил недолго в Москве. Он путешествовал в чужих краях; он жил и в Париже, где французы, ротозеи от природы, жадничали смотреть его, как зажигателя Москвы, как людоеда. — Ничего нет легче французу, как поверить всякой небылице и из всего сделать себе спектакль! Они, повторяю, гравировали его портреты, с надписью: *le féroce, l'incendiaire Rostopchine*; а кончили тем, что дивились его остротам и каламбурам. А он смеялся над ними и доказал, что не хуже их умеет владеть французским оружием шуток и насмешки, именно тем, что они называют *le persiflage!* — Его удаление в Париж невольно напоминает Фемистокла, удалившегося к первым врагам своим, персам. Это, впрочем, не значит, чтобы я сравнивал Ростоп-

чина с Фемистоклом. Всякому свое; но и роль гр. Ростопчина в нашей истории не последняя!

В последние годы, живучи в Москве, в отставке, он хотя и не упал духом, но был уже не так весел: фортуна двора несколько от него отворотилась, хотя это и не имело влияния на личное к нему уважение. В это время был вылитографирован его портрет, на котором он представлен с поджатыми руками и с надписью, им самим сочиненною: «Без дела и без скуки сижу сложивши руки!»

Гр. Ростопчин умер в Москве, как обыкновенно умирают в России великие люди, в немилости, как умер и Ермолов, т. е. его похоронили с военными почестями, по его чину, и потом его забыли. В газетах было напечатано о его кончине и погребении коротко и сухо, как ныне пишут в петербургских газетах о смерти всякой почетной гражданки или какой-нибудь богатой купчихи первой гильдии Распекаевой! — О, Русь!

Гр. Ростопчин оставил после себя записки, которые должны быть очень любопытны и из которых я знаю только один отрывок о кончине императрицы Екатерины и о первых днях царствования императора Павла. Эти записки представлены были покойному государю Николаю Павловичу; а копии с них не было. Таким образом, этот драгоценный документ правдивой истории, без сомнения, хранится и поныне; но у наследников Ростопчина его уже нет.

Возвращаюсь к литературе. Все, о чем я упоминал доселе, было в первой четверти нынешнего столетия. С того времени и литература и читатели много переменились. Не скажу, чтобы в читателях было тогда более вкуса; но они состояли из другого, образованнейшего класса. Переменился не вкус; переменились читатели. Прежде сами авторы образовывали вкус читающей публики; ныне они сами применяются ко вкусу читающих. Нынешняя наша литература богаче числом произведений и читателей; но каких? А прежняя хотя была беднее числом и тех и других, но она была изящнее, разборчивее в цели и в средствах, метила на образованнейший круг читателей, и действительно класс читателей был образованнее нынешнего.

Прежде журналы были служителями литературы; ныне они над ней господствуют. Прежде не они, а писатели давали направление литературе; ныне сами писатели подчинены направлению журналов. И потому прежде литература наша была в руках *всех* писателей; ныне в руках двух-трех лиц, т. е. журналистов. А так как ныне она приняла еще характер торговый; то позволительно и сравнить ее с торговлей: монополия вредна для торговли; вредна и для литературы. И потому, при всем обилии произведений, которое привело время и пример литературных образцов Европы, она не может не быть несколько одностороннею: т. е. хотя род и форма произведений могут изменяться через несколько времени, прогрессивно, но в одно и то же время все они бывают ныне одного и того же рода и вида. Например, было время, когда требовалось исторических романов по образцу Вальтер-Скотта; ныне требуется домашних, семейственных романов, на манер английских. Одним словом: прежде всякий писал по-своему; публика и журналы разбирали только то, что хорошо, что худо; ныне требуется, чтоб всякий писал только то, что в ходу, и писал бы так, как все пишут в его время. Если б появилась ныне классическая ода, как бы она ни была превосходна, ее осудили бы непременно; или бы, по крайней мере, о ней умолчали, и то в таком случае, когда предмет ее не позволяет осуждений; а тогда появилась вдруг первая баллада Жуковского, и ее приняли с восторгом, несмотря на то, что так не писали в то время. Итак, мы стали богаче произведениями литературы; но не подвинулись несколько вперед в чистых понятиях о литературе: они нынче у нас условные, подчиненные времени, как мода. Поэзия совсем упала.

В домах светских, в домах высшего общества, редко увидишь ныне русские журналы. А где нельзя было найти *«Московского журнала»* и *«Вестника Европы»* Карамзина, или того же *Вестника* до 1814 года, или *«Сына Отечества»*, который после войны обратился тоже к литературе? — Зато этих журналов нельзя было найти у лавочников или по трактирам, где, как я слышал, нынешние пользуются известностью. Конечно, и нынешние журналы не все наследовали читателей *«Благонамеренного»*, о котором сказал Пушкин:

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски. Право, страх!

Могу ли их себе представить
С *Благонамеренным* в руках?

однако у которых есть читатели этого рода, то уже гораздо в большем количестве, чем у *Благонамеренного*.— Это не значит, чтоб я сравнивал с ним нынешние журналы. Они, без всякого сомнения, выше, и по литературе, и по статьям о науках, которые и в лучших журналах прежнего времени появлялись редко и которые составляют лучшую сторону нынешних. Я не сравниваю, а говорю, что было и что есть.

При первом издании моих *Мелочей* в одном петербургском журнале похвалили их; но не хвалят моих *мнений*: не нравятся мои замечания; не нравится, зачем я рассуждаю о литературе. Я отвечал и то же повторяю ныне, что рассуждаю совсем не для журналистов, а для читателей. Первым, может быть, неприятно, что я краткими моими замечаниями говорю невыгодную правду; а из последних некоторые, может быть, довольные, что я навожу их на прямую точку зрения. Я хочу показать читателям, особенно иногородним, что не все же принимают направление журналов за законодательство в литературе.

Сим заключаю до времени мои *Мелочи*. Если буду продолжать их, то мне останется писать уже о тех литераторах, с которыми я имел ближайшее и долговременное знакомство. Им намерен я посвятить каждому статью отдельную. Но будет ли это исполнено, не обещаю. О людях, недавно живших между нами, говорить трудно; к ним примыкают еще наши пристрастия, наши выгоды, наша дружба и ненависть.



Примечания

Тексты произведений М. А. Дмитриева даются по следующим изданиям:

Дмитриев М. А. Стихотворения Михайла Дмитриева. Ч. I—II. М., 1830.

Дмитриев М. А. Московские элегии. М., 1858.

Дмитриев М. А. Стихотворения Михайла Александровича Дмитриева. Ч. I—II. М., 1865.

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти М. А. Дмитриева. Вторым тиснением, с значительными дополнениями по рукописи автора. М., 1869.

Вольная русская поэзия второй половины XIX века. Л., 1959. (Библиотека поэта. Большая серия.)

Поэты 1820—1830-х годов. Т. 2. Л., 1972. (Библиотека поэта. Большая серия.)

Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX века. Л., 1975. (Библиотека поэта. Большая серия.)

Голоса из России. Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Вып. 2. М.: Наука, 1975.

Русская басня XVIII—XIX веков. Л., 1977. (Библиотека поэта. Большая серия.)

В циклах «Московские элегии» и «Деревенские элегии» опущены некоторые не представляющие большого интереса стихотворения. Также подверглись сокращению в «Мелочах из запаса моей памяти» малозначительные, не имеющие отношения к литературной жизни эпизоды.

СТИХОТВОРЕНИЯ

К Фантазии. Анакреон (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик; в его творчестве особенно сильны мотивы наслаждения радостями жизни; в русской поэзии XVIII — начала XIX века переводы и подражания Анакреону получили очень ши-

роекое распространение и имелись почти у всех русских поэтов от М. В. Ломоносова до А. С. Пушкина.

Совет. Лафонтен, Жан де (1621—1695) — известный французский писатель, баснописец. Настоящая басня Дмитриева является переделкой басни Лафонтена «Купец, дворянин, пастух и царский сын».

Плющ и Фиалка. Сюжет басни заимствован у Флориана Ж.-П. (1755—1794) — французского поэта-сентименталиста.

Беглец от любви. Коцебу Август (1761—1819) — немецкий писатель-сентименталист, один из создателей мещанского романа и мещанской драмы; был популярен в России начала XIX века; по политическим взглядам монархист и реакционер, убит К. Зандом (1795—1820) — студентом, членом радикальной немецкой студенческой организации — буршеншафт.

Равнодушие. Как и следующее стихотворение «Весна», посвящено памяти первой жены М. А. Дмитриева, скончавшейся в 1821 году через несколько месяцев после свадьбы. О ней же поэт вспоминает в стихотворении «Песня» («Сын бедный природы») и в цикле «Дорога».

Ученый царь. Сюжет заимствован из басни Флориана «Король Альфонс». Басня опубликована в собрании стихотворений Дмитриева в 1830 году, но написана, видимо, раньше, в двадцатые годы и содержит в себе намек на увлечение царя Александра I после Отечественной войны 1812 года делами западноевропейских государств в ущерб России.

Сухой цветок. Он — Александр I. ...и он последний раз во гробе свою империю прошел. — Александр I умер в Таганроге, и его тело было доставлено для похорон в Петербург. Вен — венок. В XIX веке наряду с уменьшительной формой «веночек» употреблялась полная «вен».

К. К. Павловой. Обронный (устарелое) — мастерски чеканный по металлу. Эол — в древнегреческой мифологии бог ветра.

Проданный дом. Шувалов И. И. (1727—1797) — русский государственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, просвещенный вельможа, покровительствовал М. В. Ломоносову, был первым куратором Московского университета. Мелисико И. И. (1718—1795) — русский государственный деятель, куратор Московского университета в 1770-х годах, при нем в 1771 году учрежден при университете Московский благородный пансион. ...тот старец — имеется в виду А. А. Прокопович-Антонский.

Полный месяц. Зыково — село и местность под Москвой, ныне вошло в черту города, район нынешнего стадиона «Динамо». В Зыково Дмитриев выезжал на лето на дачу.

Ответ Аксакову на стихотворение «Петр Великий». Дмитриев неточно называет стихотворение К. С. Аксакова, у автора оно называется «Петру». Долгорукий Я. Ф. (1639—1720) — сподвижник Петра I, участник Азовских походов, ближайший помощник Петра I по созданию регулярной армии. Валтасар (ум. 539 до н. э.) — последний царь Вавилона. В библейской легенде расска-

ывается, что во время пира на стене появились огненные слова, пророчащие ему гибель. Погиб при взятии Вавилона войсками персов.

МОСКОВСКИЕ ЭЛЕГИИ

8. Пикники. ...добрый князь — князь И. М. Долгоруков. А п е м о н а — так И. М. Долгоруков называл в стихах воспитанницу своей сестры Аграфену Федоровну Любавскую. На д и р — имя пескольных персидских шахов. ...где и все мы со временем будем. — А. Ф. Любавская умерла за несколько лет до написания стихотворения.

10. Домик в предместьи. ...граф Витгенштейн П. Х. (1769—1843) — генерал-фельдмаршал, участник Отечественной войны 1812 года. Т а л ь о н и М. (1804—1884) — известная итальянская балерина.

15. Старый дом. М и л о с л а в с к и е — родственники первой жены царя Алексея Михайловича; боярин И. М. Милославский был одним из руководителей стрелецкого заговора 1682 года в Москве.

16. Семисотлетняя Москва. ...на Басманной, ввозили б а с м у. — Дмитриев производит название улицы от басмы — металлической пластинки с надписью, выдававшейся татаро-монгольскими ханами в XIII—XV веках в качестве верительной грамоты своим послам и чиновникам. В действительности название улицы, а прежде слободы происходит от названия ремесленников — серебряных дел мастеров — басманников. С у с а н н а — под этим именем была пострижена в монахини царевна Софья.

21. Ополчение 1812 года. А в г у с т и н (1766—1819) — в 1814 году — епископ Дмитровский, управлял Московской епархией, духовный писатель и проповедник, известный как талантливый оратор.

22. Бал. В е р ч е н о — печенье из особо приготовленного теста. П р я ж е н о — жареное в масле. Т о к — женский головной убор, шляпа.

25. Карты. ...начальник Москвы — Голицын Д. В. (1771—1844) — князь, участник суворовских походов, Отечественной войны 1812 года, в 1820—1843 годах московский генерал-губернатор.

30. Язык поэзии. ...пел во стане певец вдохновленный — Жуковский В. А., имеется в виду его стихотворение «Певец во стане русских воинов», написанное в 1812 году.

38. В память к.и.м.д. К. И. М. Д. — князь Иван Михайлович Долгоруков. В стихотворении «Завещание» Долгоруков высказал желание быть похороненным на загородном кладбище, «что под Филиппом за Москвой», но похоронен был в родовой усыпальнице в Донском монастыре. М. А. Дмитриев в книге «Князь Иван Михайлович Долгорукой и его сочинения» пишет: «Это желание быть погребенным на Филипп было в нем, кажется, не одною стихотворческою мыслию. Как часто заставлял я его в летний вечер, сидящего уныло на своей террасе, обращенной к саду, из-за которого видны были окрестности Москвы, и смотрящего на Филипп, на кладбище. Это так осталось у меня в памяти, что я выразил эту картину в одной из моих «Московских элегий».

42. Новинское. ...шатер с символической елкой.— В конце XVIII — первой половине XIX века в России над дверью питейного заведения как вывеску вешали еловую ветку.

47. Чиновники. Д'Абрантес, Луиза, герцогиня (1784—1838) — французская писательница, автор записок, изображающих высший свет. Деяния Петра — многотомный труд И. И. Голицына (1735—1801) «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам». Тома 1—12. М., 1788—1789; не вошедший в основной текст материал был издан под названием «Дополнения к Деяниям Петра Великого» в 18 томах (1790—1797).

В память Н. М. Языкову. Воззвал он тень Карамзина — имеется в виду стихотворение Н. М. Языкова «Стихи на объявление памятника историографу Н. М. Карамзину», приветствующее сооружение памятника Н. М. Карамзину в Симбирске.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЭЛЕГИИ

III. «Сад снегом занесло; метелица и вьюга!..» О родина святая! Чье сердце не дрожит, тебя благословляя! — неточная цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов».

XI. «Вот наконец весна! — Тепло, и солнце снова!..» Клейст Э. - Х. (1715—1759) — немецкий поэт, автор очень популярной в Европе поэмы «Весна».

Ф. Б. Миллеру. Миллер Ф. Б. (1818—1881) — поэт, переводчик, сотрудник «Москвитянина».

Мономах. Мономах (греч.) — единоборец. Мой предок — Владимир Мономах (1053—1125) — великий князь киевский; прозвание «Мономах» унаследовал от матери — дочери византийского императора Константина Мономаха; боролся за единство Руси против феодальных междоусобиц. Его потомок — Александр Невский (XIV в.) — смоленский князь, при захвате Смоленских земель Литвой ушел в Германию, затем вернулся в Россию и вступил в службу «под руку» князя Московского Ивана Калиты. Мой пращур — Дмитриев С. К. (XVII — начало XVIII вв.) — стрелецкий полковник, во время заговора царевны Софьи 1681 года встал на сторону царевичей Петра и Ивана, скрывавшихся в подмосковном Троице-Сергиевом монастыре. Мой дед — Дмитриев И. (ум. 1818). Отец мой — Дмитриев А. И. (ум. 1798) — офицер Семёновского полка, участник русско-шведской войны 1788—1790 годов.

С. Т. Аксакову. Оксия — в древнерусской орфографии надстрочный знак, обозначающий ударение. Вария — в древнерусской орфографии заимствованный из греческой надстрочный знак над конечной гласной, означающий ее качество. Юнейший наш приятель — Веневитинов Д. В. (1805—1827). ...гимн окрыленный Хомякова — стихотворение А. С. Хомякова «России». ...союз на Русь — имеется в виду союз Англии, Франции и Турции, выступавших вместе против России в Крымской войне 1853—1856 годов.

МЕЛОЧИ ИЗ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯТИ

С. 142. J'ai pris la plume pour écrire. Sur qui està propos de quoi? Je l'ignore. *Chateau briand (франц.)*— Я взял перо, чтобы писать. Для кого и по какому поводу? Не знаю. *Шатобриан*.

...а б о в о (лат.) — с самого начала (букв. «от яйца»). Тредьяковский Василий Кириллович (1703—1768) — русский поэт, ученый, филолог, первый русский академик (1745), ввел в русское стихосложение силлабо-тоническую систему. Бекетов Платон Петрович (1761—1836) — двоюродный брат И. И. Дмитриева, друг Н. М. Карамзина, один из образованнейших людей своего времени, литератор, историк, особенно значительна его деятельность как издателя-просветителя, им издапы сочинения А. Н. Радищева, М. М. Хераскова, В. А. Жуковского и других писателей конца XVIII — начала XIX века. Анна Ивановна (1693—1740) — дочь царя Ивана Алексеевича — брата Петра I, русская императрица с 1730 г. Лажечников... изобразил его и его характер очень верно. — Утверждение М. А. Дмитриева ошибочно; А. С. Пушкин об этом романе писал Лажечникову: «Истина историческая в нем не соблюдена... За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях». Крафт Георг-Вольфганг (1701—1754) — математик, в 1731—1744 гг. служил в Петербургской академии, возглавляя кафедру теоретической и опытной физики, исполнял «научные» поручения двора: описывал празднества, составлял астрологические гороскопы. Иван Аптонovich (1740—1764) — правнук царя Ивана Алексеевича, сын принца Антона Брауншвейгского; после смерти Анны Ивановны ее фаворит Бироп провозгласил его императором России. В 1741 г. свергнут Елизаветой Петровной, заключен в тюрьму, где провел всю жизнь, убит при попытке заговорщиков освободить его. Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — русский поэт, драматург, критик, крупнейший деятель классицизма. Бекетов Никита Афанасьевич (1729—1794) — военный и государственный деятель, экономист, литератор, актер; его игра в любительском спектакле на сцене Кадетского корпуса произвела такое глубокое впечатление на купеческого сына Ф. В. Волкова, что он решил посвятить себя театральной деятельности и стал основателем русского профессионального театра. Короткое время был фаворитом императрицы Елизаветы. Орловы Григорий (1734—1783), Алексой (1737—1807) Григорьевичи — гвардейские офицеры; в 1762 г. — главные деятели дворцового переворота, в результате которого на русский престол взошла Екатерина II.

С. 144. Гернгутеры, или моравские братья — религиозная секта, возникшая в XV веке в Богемии, преследовалась католической церковью, часть гернгутеров эмигрировала в не католические государства, в том числе в Россию. Цорндорфское сражение — одно из крупных и ожесточенных сражений Семилетней войны 1756—1763 гг., произошедшее возле селения Цорн-

дорф (на территории тогдашней Пруссии) между русской армией и войсками Фридриха II.

С. 146. ...до разрыва с Англией — т. е. до заключения Тильзитского мира с Наполеоном.

С. 146. ...до межевания — первое генеральное межевание в России относится к концу 1760-х гг.

С. 149. ...по открытии губерний — разделение России на губернии было произведено в 1782 г.

С. 151. ...а u nature (франц.) — в натуральном виде.

С. 152. Указ 1809 года 6 августа — в целях борьбы с невежеством чиновничества предписывал производить в чин 8-го класса (коллежского асессора) и выше только по представлении документа об окончании университета или после специального экзамена в университете. ...u n peu d'histoire et de géographie (франц.) — немного истории и географии.

С. 154. Богданович Ипполит Федорович (1743—1803) — поэт, автор поэмы «Душенька» — вольного переложения романа Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона», в свою очередь основанного на античном мифе.

С. 155. Дашкова Екатерина Романовна (1744—1810) — княгиня, подруга Екатерины II, принимала участие в перевороте 1762 г., писательница, деятель культуры, автор мемуаров.

С. 156. Петров Василий Петрович (1736—1799) — поэт, одописец, современники называли его «вторым Ломоносовым», по происхождению — сын бедного священника. К о с т р о в Ермил Иванович (ок. 1750—1796) — поэт и переводчик, происходил из крестьян, учился в Московском университете, его сочинения — замечательные образцы классицизма, автор первого русского перевода «Песен Оссiana».

С. 156. Малиновский Алексей Федорович (1762—1840) — историк, начальник Московского архива Министерства иностранных дел, археограф, участвовал в подготовке первого издания «Слова о полку Игореве».

С. 159. Майков Василий Иванович (1728—1778) — поэт, просветитель, был близок к кружку Н. И. Новикова, автор пользовавшихся большой известностью пародийных поэм.

С. 160. Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — поэт, выдающийся деятель просвещения, куратор Московского университета; в конце XVIII — начале XIX века его дом был литературным центром Москвы, который посещали все московские литераторы; автор самых значительных произведений русского классицизма — эпических поэм «Россиада» и «Владимир возрожденный». Лагарпов «Лицей» — Лагарп Франсуа (1739—1803) — французский писатель-просветитель, автор историко-литературного труда в 16 томах «Лицей, или Курс древней и новой литературы».

С. 162. Капнист Василий Васильевич (1758—1823) — поэт кружка Г. Р. Державина, автор сатирической комедии «Ябеда» и антикрепостнической «Оды на рабство».

С. 163. Штелин Якоб (1712—1785) — немецкий филолог и художник, в России жил с 1735 г. до конца жизни, служил в Академии наук, был профессором элоквенции и поэзии. Ададуров Василий Евдокимович (1709—1780) — математик, литератор, первый русский адъюнкт Петербургской академии наук (1733). Шлецер Август-Людвиг (1735—1809) — немецкий историк, в 1761—1767 гг. служил в Петербургской академии наук, автор работ по русской истории, основное сочинение «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке». Строев Павел Михайлович (1796—1876) — историк, археограф, с 1849 г. академик. Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — поэт, литературный теоретик и критик, профессор Московского университета.

С. 165. Зубов Платон Александрович (1767—1822) — последний фаворит императрицы Екатерины II. Попов Василий Степанович (1745—1822) — государственный деятель, в последнее десятилетие царствования Екатерины II был ее секретарем.

С. 166. Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826) — граф, государственный деятель, в 1812 году — московский генерал-губернатор; писатель. Оленин Алексей Николаевич (1763—1843) — археолог, историк, искусствовед, президент Академии художеств, директор Петербургской публичной библиотеки; его дом был одним из центров культурной жизни Петербурга 1820—1830-х гг. Львов Николай Александрович (1751—1803) — культурный и общественный деятель, архитектор, художник, поэт, экономист. Вельяминов Петр Лукич (ум. 1804) — поэт, переводчик, близкий друг Г. Р. Державина, отличался веселостью и жизнерадостностью.

С. 167. Хемницер Иван Иванович (1745—1784) — поэт-баснописец, близкий друг Державина, в 1782 г. был назначен русским консулом в Смирну (Турция), теперешнее название — Измир.

С. 169. Гудович Иван Васильевич (1741—1820) — граф, генерал-фельдмаршал, крупнейший военный и административный деятель царствования Екатерины II. Безбородко Александр Андреевич (1747—1799) — князь, выдающийся политический деятель и дипломат царствования Екатерины II.

С. 170. Николев Николай Петрович (1758—1815) — поэт, драматург, воспитанник кн. Е. Р. Дашковой, получил превосходное образование, в двадцатилетнем возрасте с ним случилось несчастье — он ослеп; произведения Николева представляют собой порочное явление от классицизма к сентиментализму.

С. 171. Милтон Джон (1608—1674) — великий английский поэт, в конце жизни ослеп и, уже будучи слепым, создал свое основное произведение — философскую эпическую поэму «Потерянный и возвращенный рай». ...*l'aveugle clairvoyant (франц.)* — ясновидящий слепец. Княжнин Яков Борисович (1742—1791) — поэт, драматург, один из виднейших представителей классицизма в русской литературе.

С. 172. Воейков Александр Федорович (1777—1839) — поэт, журналист, издатель; общей известностью пользовалась его сатира «Дом сумасшедших», в которой он изобразил многих современников-литераторов.

С. 175. «Русалка» — популярная в 1800—1820-е гг. опера «Леста, днепровская русалка».

С. 176. Ours (франц.) — медведь. Нострадамус Михаил (1505—1566) — врач, астролог, ему принадлежит книга предсказаний о судьбах народов, конце света и т. п.; предсказания изложены очень туманно и неопределенно, что позволяет истолковывать их в любом, нужном для толкователя, смысле.

С. 180. Шишков Александр Семенович (1754—1841) — военный и государственный деятель, адмирал, министр, писатель, автор сочинения «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», в котором отдает предпочтение «старому слогу»; основная идея «Рассуждения» — защита языка от проникновения в него иностранных слов и тем самым сохранение его самобытности.

С. 181. ...особенно в 9-м томе — в 9-м томе «Истории государства Российского» содержится описание царствования Ивана Грозного.

С. 183. Тургенев Иван Петрович (1752—1807) — просветитель, член кружка М. И. Новикова, директор Московского университета.

С. 188. Станевич Евстафий Иванович (1775—1835) — поэт, писатель, сторонник Шишкова. Анастасевич Василий Григорьевич (1775—1845) — поэт, переводчик, библиограф. Политковский Николай Романович (1763—1830) — поэт, переводчик, ему принадлежит перевод сочинений А. Смита.

С. 187. Дашков Дмитрий Васильевич (1788—1839) — государственный деятель, министр, литератор, один из основателей литературного общества «Арзамас». ...trésor (франц.) — сокровище; thesaurus (лат.) — сокровищница, кладовая; trèс (франц.) — очень; ог (франц.) — золото.

С. 193. Макаров Петр Иванович (1765—1804) — писатель, автор нескольких повестей и описания своего заграничного путешествия. Ниноп Ланкло (1615—1705) — французская куртизанка, известная своей красотой и литературным салоном, который посещали крупнейшие литераторы, ученые и высшая знать.

С. 194. ...к р о а т к и — Кроация — немецкое название Хорватии.

С. 196. С. П. Ж. — Степан Петрович Жихарев. Д. Н. Б. — Дмитрий Николаевич Блудов. Д. П. С. — Дмитрий Петрович Северин.

С. 196. Хвостов Дмитрий Иванович (1756—1835) — поэт, в литературных кругах его считали бездарным графоманом, что не соответствовало действительности.

С. 197. Кокошкин Федор Федорович (1773—1838) — драматург, переводчик, театральный деятель.

С. 198. Измайлов Алексей Ефимович (1779—1831) — поэт, баснописец, издатель журнала «Благонамеренный». Буало Никола́ (1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма. Шателье́ Жюль (1595—1674) — французский поэт, автор поэмы о Жанне д'Арк, на которую Буало написал ряд эпиграмм.

С. 199. Шаховской Александр Александрович (1777—1846) — драматург, театральный деятель, член «Беседы любителей русского слова». С. С. У.— Сергей Семенович Уваров.

С. 201. Репье́ Матюрен (1573—1613) — французский поэт-сатирик.

С. 202. Тальма Франсуа-Жозеф (1763—1826) — известный французский актер-трагик.

С. 203. Невзоров Максим Иванович (1762—1827) — поэт, публицист, доктор медицины, входил в кружок Н. И. Новикова. Шаликов Петр Иванович (1768—1852) — поэт-сентименталист.

С. 204. ...к. В.— князь П. А. Вяземский.

С. 205. ...ce vétéran—voltigeur et ses campagnes à la rose (*франц.*) — этого ветерана-искусника и его амурные похождения. Измайлов Владимир Васильевич (1773—1830) — писатель, издатель ряда журналов, в его журнале «Вестник Европы» в 1814 г. впервые выступил в печати А. С. Пушкин.

С. 207. ...крупными буквами — так печаталось имя царствующего монарха Александра I.

С. 208. Глинка Сергей Николаевич (1775—1847) — поэт, публицист, участник войн против Наполеона. Ангальт Федор Федорович (ум. 1794) — директор сухопутного Шляхетского корпуса в Петербурге, выдающийся педагог.

С. 209. ...«именем государя развязываю вам язык и руки» — перед войной 1812 г. за критические отзывы о Наполеоне и его политике Глинке было запрещено (по просьбе Наполеона) касаться этих тем. Глогау — город и крепость в Пруссии.

С. 212. М. П.— Михаил Погодин. Теплова Надежда Сергеевна (в замужестве Терюхина) (1814—1848) — поэтесса, о ее произведениях положительно отзывался В. Г. Белинский.

С. 214. Надеждин Николай Иванович (1804—1856) — журналист, литературный критик, издатель журнала «Телескоп».

С. 214. Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — поэт, романист, драматург.

С. 215. *Le chef de la conjuration (франц.)* — глава заговора.

С. 221. Тончи Сальватор (1756—1844) — итальянский художник, с 1800 г. работал в России, написал ряд портретов выдающихся русских деятелей конца XVIII — начала XIX века.

С. 222. *...le sublime du galimatias (франц.)* — величайшая галиматья.

С. 224. *...кроме...* кн. Одоевского — имеется в виду кн. В. Ф. Одоевский.

С. 229. Ивацин-Писарев Николай Дмитриевич (1790—1849) — поэт, прозаик карамзинской школы.

С. 230. *La conjuration de Venis, par Saint-Réal (франц.)* — «Заговор Вены» Сен-Реаля. Архров Николай Петрович (1742—1814) — обер-полицмейстер, затем губернатор Москвы, в 1790-е гг. — генерал-губернатор Петербурга.

С. 232. Завадовский Петр Васильевич (1739—1812) — граф, государственный деятель, министр, недолгое время — фаворит Екатерины II. Балашов Александр Дмитриевич (1770—1837) — государственный деятель, министр полиции, генерал-губернатор ряда губерний. Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — русский государственный деятель, ближайший советник Александра I, в начале XIX века сторонник либеральных преобразований.

С. 233. *...бумага под названием Концерт* — далее цитируются строчки из популярных в начале XIX века песен.

С. 237. «Вивлиофика» Новикова — сборники исторических документов «Древняя российская вивлиофика», издававшиеся Н. И. Новиковым в 1773—1775 гг. *...кепки* — теплая обувь, валяная, меховая или кожаная, без голенищ. *...взял с собой Мишу* — сын М. А. Дмитриева.

С. 241. Авл Геллий (II в. н. э.) — древнеримский писатель. *...non docenti magis, quam admonendi gratia scribo (лат.)* — не столько поучаю, сколько с благодарностью напоминаю. Саларев Сергей Гаврилович (1792—1820) — писатель, поэт. Давыдов Иван Иванович (1794—1863) — профессор Московского университета, разносторонне образованный человек: математик, физик, историк, философ, словесник. Родзянко Аркадий Гаврилович (1793—1846) — поэт, сотрудник альманахов «Полярная звезда», «Невский альманах», автор лирических стихотворений, а также сатир, распространявшихся в списках.

С. 243. Иванов Федор Федорович (1777—1816) — поэт, драматург.

С. 249. Болдырев Алексей Васильевич (1780—1842) — ориенталист, профессор, ректор Московского университета. Восток

Александр Христофорович (1781—1864) — академик, филолог, поэт. Качеповский Михаил Трофимович (1775—1842) — историк, критик, ректор Московского университета, редактор журнала «Вестник Европы».

С. 251. Писарев Александр Александрович (1780—1848) — писатель, государственный деятель, попечитель Московского университета.

С. 252. Львова-Сипецкая Мария Дмитриевна (1795—1875) — драматическая актриса, служила в московском театре, для ее бенефиса А. С. Грибоедовым и П. А. Вяземским написан водевиль «Кто брат, кто сестра».

С. 253. ...младший Мочалов — Павел Степанович (1800—1848) — знаменитый актер-трагик.

С. 254. Марин Сергей Никифорович (1776—1813) — поэт-сатирик. Милюнов Михаил Васильевич (1792—1821) — поэт-сатирик.

С. 255. Сушков Николай Васильевич (1796—1871) — поэт, драматург.

С. 256. *Pindarum quisquis, studet aemulare* (лат.) — кто бы ни был, следуй Пиндару.

С. 258. Д. Н. Б-в — Дмитрий Николаевич Блудов. Тургенев Андрей Иванович (1781—1803) — поэт, романтик.

С. 268. Муравьев Михаил Никитич (1757—1807) — поэт, прозаик, куратор Московского университета.

С. 269. ...известное предприятие — имеется в виду тайное общество декабристов.

С. 270. Кургановым писать учен — Курганов Николай Гаврилович (ок. 1725—1796) — просветитель, автор «Письмовника» (1769) — руководства по русской грамматике и стилистике, служившего учебником в течение нескольких десятилетий.

С. 272. Поповский Николай Никитич (1730—1760) — профессор Московского университета, литературовед, философ, поэт; ученик М. В. Ломоносова.

С. 273. *A mon jardinier* (франц.) — моему садовнику. А. А. В. — Александра Андреевна Воейкова, жена А. Ф. Воейкова.

С. 274. ...издатель «Раута» — Н. В. Сушков.

С. 275. Горчаков Дмитрий Петрович (1758—1824) — поэт-сатирик.

С. 276. Семёнова Екатерина Семёновна (1789—1849) — русская трагическая актриса.

С. 278. «C'est un bout de chagrin!» (*франц.*) — это след огорчения. Грамматин Николай Федорович (1786—1827) — поэт, ученый, филолог, специалист по древнерусской литературе.

С. 279. Применения к некоторым известным лицам — наиболее известно из подобных произведений стихотворение К. Ф. Рылеева «К временщику».

С. 284. Шатров Николай Михайлович (1767—1841) — поэт, близкий друг Н. П. Николаева, наибольшей популярностью пользовались его переложения псалмов и стихотворения, посвященные Отечественной войне 1812 г.

С. 290. Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1788—1850) — историк, археограф, автор «Словаря достопамятных людей Русской земли».

С. 292. Свербеев Дмитрий Николаевич (1799—1874) — дипломат, литератор, автор «Записок», в его салоне в Москве бывали А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. И. Тургенев, П. Я. Чаадаев и другие.

С. 295. Веревкин Михаил Иванович (1732—1795) — драматург. Комедия кн. Дашковой «Господин Тоисёков» — в комедии изображен Лев Александрович Нарышкин (1733—1799) — вельможа, близкий к Екатерине II, обер-штабмейстер. Лукин Владимир Игнатьевич (1737—1794) — драматург, переводчик.

С. 297. Булгаков Александр Яковлевич (1781—1863) — директор Московского почтамта, был дружен со многими литераторами-арзамасцами: В. А. Жуковским, П. А. Вяземским и другими; его обширная переписка с родными содержит большой и ценный материал об общественной и культурной жизни Москвы.

С. 298. La vérité sur l'incendie de Moscou (*франц.*) — правда о пожаре Москвы.

С. 299. L'incendiaire Rostopchine (*франц.*) — поджигатель Ростопчин. ...le féros (*франц.*) — свирепый. ...le persiflage (*франц.*) — зубоскальство.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вл. Муравьев. Беспокойный антикварий . . .</i>	3
---	---

СТИХОТВОРЕНИЯ

Мир фантазии	24
Наталье	25
Совет	25
Плющ и Фиалка	27
Беглец от любви (<i>Из Коцебу</i>)	27
К стихам моим	28
Предчувствия любви	30
Равнодушие	31
Весна	32
К неправедным судням	33
Лес	33
Песня	35
Недоверчивость	36
Признание	36
В альбом	37
Игра в вопросы	38
Две феи	40
Вязанье	44
Каиша	45
Ученый царь	46
Тайна эпиграммы	47

Эпитафия кому угодно	47
Лето в столице	48
Где тот край благословенный	49
Следа я в мире не оставил	49
Поэт и люди	51
Сухой цветок	53
К. К. Павловой	55
Проданный дом	57
Полный месяц (<i>В Зыкове</i>)	59
Вечер в лесу (<i>В Зыкове</i>)	60
Орел	61
Голоса природы	62
Ответ Аксакову на стихотворение «Петр Вели- кий»	63
Московские элегии	
1. Дума	66
2. Семейные пиры	67
4. Воспоминания молодости	68
5. Гегелисты	69
6. Правосудие	70
7. Взятки	71
8. Пикники	71
9. Кремль	72
10. Домик в предместьи	73
11. Ваганьковó кладбище	74
12. Московская жизнь	75
13. Всадница	76
14. Купцы на гулянье	77
15. Старый дом	78
16. Семисотлетняя Москва	79
17. Сухарева башня	80
18. Поклонная гора	81
20. Древние стены	81
21. Ополчение 1812 года	82
22. Бал	83
24. Купецкая свадьба	84
25. Карты	85

26. Пресненские пруды	86
27. Дворцовый сад	87
28. Парк	88
29. Слушатели поэта	89
30. Язык поэзии	90
32. Маленький вечер	91
33. Купцы в роще	91
35. Москва-река	92
36. Грустная мысль	93
37. Молва и сплетни	93
38. В память к. И.М.Д.	94
42. Новинское	95
44. Вавилонские нравы	95
45. К европейцам	96
46. Угощение	96
47. Чиновники	97
48. Марьяна роща	98
49. Разные вкусы	98
50. Заключение	99
В память Н. М. Языкову	101
Москва	102
Нашим порицателям	104
Подводный город	104
За все благодарю я бога	106
«Как пернатые рассвета...»	107
Дорога	108
Мир всем	111
Деревенские элегии	114
Ф. Б. Миллеру	124
Мономах	125
«Когда наш Новгород великий...»	126
Кнут	126
С. Т. Аксакову	127
Старик	134
Поток	139
МЕЛОЧИ ИЗ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯТИ	141
Примечания	303

ИБ № 2838

Михаил Александрович Дмитриев

МОСКОВСКИЕ ЭЛЕГИИ

Стихотворения

Мелочи из запаса моей памяти

Составитель

Владимир Брониславович
Муравьев

Заведующая редакцией

Л. Сурова

Редактор

Н. Никишин

Художественный редактор

Э. Розен

Технический редактор

Г. Бессонова

Корректоры

Т. Сёмочкина, Т. Горячева

Сдано в набор 24.07.84. Подписано к печати 14.12.84.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага *газетная*. Гарни-
тура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл.
печ. л. 16,90. Усл. кр.-отт. 17,32. Уч.-изд. л. 16,43. Ти-
раж 100 000 экз. Заказ 4716. Цена 1 р. 50 к. Ордена
Трудового Красного Знамени издательство «Москов-
ский рабочий». 101854, ГСП, Москва, Центр, Чисто-
прудный бульвар, 8. Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Крас-
нопролетарская, 16.

Д53 **Дмитриев М. А.**
Московские элегии: Стихотворения. Мелочи из
запаса моей памяти / Сост., предисл. и примеч.
Вл. Б. Муравьева. — М.: Моск. рабочий, 1985. —
317 с. — (Московский Парнас).

В сборник Михаила Александровича Дмитриева (1796—1866)
«Московские элегии» вошли избранные стихотворения, а также
автобиографическая проза поэта, где повествуется и о его совре-
менниках — Н. М. Карамзине, В. А. Жуковском, К. Н. Батюшкове,
и др.

Д $\frac{4701020100-123}{M172(03)-85}$ 202—85

Р1

**«МОСКОВСКИЙ ПАРНАС» —
новая серия
издательства «Московский рабочий»,
которая охватывает
трехсотлетний период
истории московской поэзии:
XVII — XX вв.**

**В 1985—1986 гг.
в этой серии выйдут
избранные произведения
А. С. ПУШКИНА,
В. А. ЖУКОВСКОГО,
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА,
В. А. ЛУГОВСКОГО.**